

ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ

ПОВЕСТЬ
О ПОЛКАХ
БОГУНСКОМ и
ТАРАЩАНСКОМ



-
- ПРОЛОГ
 - ПОЕЗД НА УКРАИНУ
 - НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА
 - ПУШКА
 - ТАРАЩАНСКОЕ ВОССТАНИЕ
 - ПЕРЕХОД НА ЗОНУ
 - ТАРАЩАНЦЫ НА ЗОНЕ
 - ГРЕБЕНКОВА КАША
 - «ГАСЛО»
 - КАБУЛИНЫ КОНИ
 - ПОХОД
 - ЗАДЕРЖКА ПОХОДА
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 - «ЛИМОНЫ»
 - БАТЬКО БОЖЕНКО
 - РАЗГОВОРЫ «ПО ДУШАМ»
 - ОРУЖИЕ
 - В ГОРОДНЕ
 - ЧАЕПИТИЕ У БАТЬКА БОЖЕНКО
 - ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
 - ШПИОН
 - БОИ НА «ЗАЛИЗНИЦЕ»
 - ОККУПАНТЫ БЕГУТ
 - НА ЧЕРНИГОВ
 - ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
 - ВОЙ ПОД СЕДНЕВОМ
 - ШКИЛИНДЕЙ
 - КРОВОПУСК
 - КНЫР
 - ПРАВОФЛАНГОВЫЙ ОБХОД
 - КОЧУБЕЙ НА ОСТРЕ
 - В КОЗЕЛЬЦЕ
 - НА КИЕВ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 - ПЕРВАЯ БАНДА
 - БАНДУРИСТ
 - ХРИН

- [ГОСТЬ И ХОЗЯИН](#)
- [В ЯРОСЛАВЦЕ](#)
- [УТРО](#)
- [К ТЫДНЮ](#)
- [«БОГА НЕМА ТАЙ НЕ ПРЕДВЫДЫЦЯ»](#)
- [ГАЙДА](#)
- [КОНЕЦ АНАРХИИ](#)
- [ПРИЕЗД АРТАМОНОВА](#)
- [БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ](#)
- [ПЕТРО И ТЫДЕНЬ](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [В КИЕВЕ](#)
 - [ПЕРВАЯ КРОВЬ](#)
 - [«ПИШЛИ ЛЯХИ НА ТРИ ШЛЯХИ»](#)
 - [АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КУМ](#)
 - [ЗЕЛЕНЫЙ НА АРКАНЕ](#)
 - [«МАМАША»](#)
 - [«ХЛЕБ-СОЛЬ»](#)
 - [БАТЬКО В ЖМЕРИНКЕ](#)
 - [КОННАЯ ГРУППА](#)
 - [«ЗАВАРУШКА»](#)
 - [БОИ ПОД БЕРДИЧЕВОМ](#)
 - [«ТО ЕСТЬ АГИТАЦИЯ!»](#)
 - [ЩОРС ПОД БЕРДИЧЕВОМ](#)
 - [РАЗГРОМ АРМИИ ОСКИЛКО](#)
 - [ЧУДЕСНАЯ СКРИПКА](#)
 - [РЫЖИЙ](#)
 - [ТРОФЕИ](#)
 - [ПОД ШЕПЕТОВКОЙ](#)
 - [КАЛИНИН В БЕДЕ](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ВЕСТНИК БЕДЫ](#)
 - [ГОРЕ](#)
 - [«УДАРИВСЯ СТАРЫЙ БОНДАР ОБ СТИНЬ ГОЛОВОЮ»](#)[37]
 - [«ИМЕНЕМ И ЗНАМЕНЕМ»](#)
 - [ГОРЛОПАН](#)
 - [СВАТОВСТВО](#)
 - [БРОДЫ](#)
 - [СТОП МАШИНАМ](#)

- [СВАТОВСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ](#)
- [ЖЕНИТЬБА](#)
- [«ИНСПЕКЦИЯ»](#)
- [БАТЬКОВ СОВЕТ](#)
- [ГАНДЗЯ](#)
- [БОЙ ПОД ПРОСКУРОВОМ](#)
- [БАТЬКО](#)
- [ЛЕВИЦКИЙ](#)
- [В КИЕВЕ](#)
- [РАЗОРУЖЕНИЕ НЕЖИНЦЕВ](#)
- [ОТРАВЛЕНИЕ](#)
- [СМЕРТЬ БАТЬКА БОЖЕНКО](#)
- [ПОХОРОНЫ](#)
- [БЕССМЕРТНЫЙ БАТЬКО](#)
- [ПРЕДАТЕЛИ И АВАНТЮРИСТЫ](#)
- [СМЕНА КОМАНДОВАНИЯ](#)
- [ПРИЕЗД НОВОГО КОМАНДОВАНИЯ](#)
- [СМЕРТЬ ЩОРСА](#)
- [ВЕСТЬ](#)
- [ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ЩОРСА](#)
- [«НАЕШЬ КИЕВ!»](#)
- [ЗАХАРИЙ КОЛБАСА](#)
- [В КИЕВЕ](#)
- [ВПЕРЕД, ТОЛЬКО ВПЕРЕД!](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)

Посвящается моей жене Л. Е. Петровской и сыну Михаилу

ПРОЛОГ



ПОЕЗД НА УКРАИНУ

Было это в середине декабря 1917 года.

Денис Кочубей ехал к себе на родину, на Украину, после недавно отгремевших октябрьских боев, участником которых он был в обеих столицах: в Петрограде — как боец отряда Александровских паровозных железнодорожных мастерских, и затем, после взятия Зимнего дворца, со вспомогательным питерским отрядом матросов и железнодорожников, переброшенным в Москву, принимал участие и во взятии почтамта, и в боях у Никитских ворот, и в штурме Алексеевского училища, и во взятии самого Кремля.

Боевое октябрьское революционное крещение окрылило его опытом участия в великом действии классового единства, которое воплощал в себе гений Ленина.

Еще в ушах Дениса звучало величественное эхо от залпа «Авроры» на Неве, оповестившего наступление социалистической революции — полтора месяца тому назад, — еще он видел перед собой пожар подожженных снарядами с Воробьевых гор ларьков вокруг Китайгородской стены и пожар аптеки у Никитских ворот, у которых белые соорудили баррикадный заслон на подступах к Алексеевскому училищу на Арбате и к Троицким воротам Кремля; он участвовал в этом штурме...

Еще он чувствует на своей груди голову раненого и бредящего в жару о свободе дружка-бойца, по имени Ваня Казанок. Раненый не захотел уходить в лазарет и вместе со всеми, кто участвовал днем в штурме почтамта, идет ночевать на битком набитый народом вокзал, опираясь на плечо Дениса Кочубея, отлично понимающего, что расстаться с товарищами в такую великую минуту бойцу революции, пока еще он хоть малость держится на ногах, — невозможно.

Устроившись с неразлучным дружком на полу в уголке замызганного сапогами и семечковой лузгой старого деревянного, барачного типа вокзала, Денис попросил товарищей, пришедших на ночь отдохнуть и отоспаться после нескольких бессонных боевых октябрьских ночей, сесть впереди заслоном, чтобы невзначай не задавили в углу раненого Казанка. И Казанок, склонившись ему на грудь, как младенец к матери, головой, всю ночь бормотал в бреду.

На рассвете санитарный обход с носилками, появившийся на вокзале, забрал уснувшего Ивана Казанка, и Денис, кинувшийся после взятия

Кремля на поиски друга в Каланчевский привокзальный приемный покой, узнал, что он сбежал из больницы, куда его направили, через двое суток и как в воду канул.

— Ну, он где-нибудь обязательно объявится, такой человек не пропадет! — говорили солдаты, едущие с Денисом в вагоне и обступившие его, чтобы послушать рассказ об октябрьских боях и в Петрограде и в Москве, участником которых он был. Все едущие фронтовики душевно разделяли сетования Дениса на то, что он бесследно потерял кровного друга, октябрьского боевого товарища.

— А ты об Казанке не жалкуй, товарищ, сказал один из бойцов. — По всем приметам, это, должно, наш Ваня Казанок — моего селения, значит, Воронки. Воронежской мы губернии. Ты не заметил, годок, не артиллерист он, случаем, был?

— Точно, артиллерист, — отвечал Кочубей. — Я с ним при орудии состоял. Я за командира, он за наводчика взялся,

— Ну вот, знать, как есть это мой сосед и будет, Иван Гаврилович Казанок. Он и годок мой к тому ж мы с ним в одну партию призывались, и его — как он парень смекалистый и видный собой — в артиллерию зачислили. Я его с того дня, правда, вовсе не видал; ну, по письмам из дому, от дружков-сельчан своих, слыхивал, что он живой и состоит в крепостной артиллерии наводчиком где-то на западном фронте. Георгиевский кавалер, притом — двух степеней.

— Вот это точно, — ответил Кочубей, — он мне так и рекомендовался: что, дескать, я артиллерист кованный — орудовал, мол, в самой крепости Ковеле..»

— Ну вот, я и еду сейчас домой на побывку, — отвечал солдат, опознавший по приметам Денисова боевого товарища, — в Воронки еду. И обязательно там его повстречаю, потому — куда ж ему с разбитой головой-то и приклониться теперь, как не к дому родному. Не сильно, видно, был раненный, коль через два дня отлежался. Значит, живой найдется. Вот я ему все это, что ты нам поведал, расскажу, как будто сказку такую слыхивал, так, между прочим, а коль он откликнется на этот разговор, тут я ему твой адресок по дружбе и предъявлю. Ну, давай-ка свой адрес на всякий случай; отписывай на бумаге, а я в шапку заткну и тебе с ним связь установлю беспременно, раз вы по боевому крещению, выходит, теперь как братья родные, октябрьские.

И Денис написал Казанковому земляку свой адрес.

— Да, брат, солдатская дружба — дело кровное и нераздельное, а пролетарская наша революция — еще того кровней. Это ничего, что он

русский, а ты, как по всему видать, украинец. Нашего народа не разделить. Он от века один. И когда в стародавние времена польские паны попробовали его отделить от русского да сесть на шею — лет триста тому назад, — Богдан Хмельницкий добре дал им по хребту и навеки связал Украину с Москвою; с тех пор никакая мазепа не могла нас разъединить и никогда не разделит. Вон еще видны из окошка сейчас, как будем ехать мимо Батурина, разбитые Мазепины зубы, руины под Батурином, следы Полтавской битвы.

— Видно, что вы с Казанком друг друга найдете и боевые дела свершать вам еще вместе доведется, утешали Дениса солдаты, чувствуя по его рассказу, что не случайно Денис об этом дружке октябрьских дней рассказывал: видно, коль он у него из головы не шел, больно по сердцу ему пришелся.

Рассказывал Денис Кочубей и о том, как после штурма и взятия Кремля ночевал он несколько ночей в Кавалерской палате Кремля на ворохе сорванных офицерских и кадетских погон, потому что не на что было лечь в пустой, без всякой мебели, холодной палате. Но все окружили его стеной, когда он обмолвился, что сам видел Ильича.

— Вот это ты нам расскажи в подробностях, братец-товарищ! И чего ж ты досель молчал про это самое главное! — упрекали солдаты Дениса.

— Я тоже Ленина у Финляндского вокзала видел, — отозвался бородатый солдат из другого отсека вагона, — как он еще только-только на родную землю соступил.

— Видал его, братцы, и я там же и даже сопровождал, был в матросской команде, приветствовавшей рапортом приезд нашего вождя революции, — отозвался оттуда же матрос и тоже подошел к отсеку, где рассказывал свою октябрьскую повесть Денис Кочубей.

И все разом раздвинулись, уступая место еще двум, лично видевшим Ленина.

— Я видал Ильича, — рассказывал Кочубей, — на конспиративной квартире в Лесном, когда он вернулся перед октябрьскими днями из Финляндии. Видал его начисто выбритого. А уж потом видел только издали в Смольном. Тут как будто бородка у него чуть уже отросла, но не совсем как на портрете.

— Давай, браток, рассказывай про Ленина: каков он собой... Ведь вот он-то для нас главный, самый дорогой человек, какой когда-нибудь рождался на свете...

— Это ты верно, братишка, и в самую точку говоришь, — сказал, весь разом посветлев лицом, матрос. — Самый дорогой для трудового народа

человек, какой когда-нибудь рождался на свете.

— А ты, часом, не балтиец, братишка? — спросили его.

— Балтиец, точно. Хотя я не с «Авроры», но к «Авроре» был, как у нас по-флотски говорится, «пришвартован». Я с миноносца «Прозорливого».

— Ну?.. Расскажи...

— Да что сказывать-то? Всего рассказать нет возможности. А коротко, должно, уже вы, братки, сами все знаете: газеты читали.

Ну, расскажи. Слыхано-то слыхано, а все ж быль, как говорится, лучше сказки.

— Ну, тогда слушайте, не перебивайте.

РАССКАЗ НАУМА ТОЧЕНОГО, МАТРОСА С МИНОНОСЦА «ПРОЗОРЛИВЫЙ»

— Был я делегатом Центробалта с «Прозорливого» на «Авроре» с рапортом, и как есть в тот час, когда «Аврора» дала свой боевой залп — сигнал к штурму.

А до того в тот же день был с докладом и в Смольном, и с Ильичем встретился; до этого видал его в апреле месяце, когда он из-за границы вернулся (об этом я уже вам сказывал), — ну, тогда он был с бородой и усами, а тут вдруг бритый. Товарищ вот верно тут его наружность обрисовывал. И встретился я с ним в коридоре Смольного; я к нему — а он мне навстречь сам идет. «Где тут, говорю, комната товарища Ленина?» Я в первый-то момент его и не узнал самого.

«А вот пойдёмте, товарищ, со мной, вы, верно, ко мне с Центробалта?» (А у меня на рукаве нашивки с буквами «ЦБ».)

Зашли в комнату. «Ну, говорит, докладывайте: с чем к нам?»

Я ему доложил, что, мол, все корабли Центробалта на Неву прибыли в полном боевом порядке и благополучно пришвартовались, отрапортовали командному кораблю «Аврора» и ждем дальнейших ваших личных указаний.

«Подтвердите комиссару «Авроры»: в девять часов ждать светового сигнала с Петропавловской крепости. Цвет сигнала знаете?» — спросил.

«Так точно, красный», — отвечаю.

«Да, красный, — говорит, сощурился на меня и улыбнулся, букву «р» он как-то мягко выговаривает. Ну, а залп штурму холостой, конечно.

Остальное в зависимости от обстоятельств».

Живой из живых человек. Это видать по всему: что ни скажет он, слушаешь, и все в точку бьет. В самую что ни есть нужную точку. Как есть отец родной. Весь народ понимает, как сквозь нашинское общее сердце прошел...

— Как в моем ночевал! — отозвался какой-то кудрявый солдатик, да так важнецки лукаво прищурился и блеснул огоньком в глазу, что Денису на миг показалось в этой его лукавой усмешке что-то схожее даже с самим Ильичем. Вот, гляди, сейчас он подмигнет: мол, знай наших, русских людей!

— Революция свое дело для народа выполнит сполна. Ведь кто нас ведет-то? Ленин. Человек, словом, нашего всенародного ума, в целый океан простором мысли. Недаром он к нам, морякам, к первым обратился. Ведь первый-то удар пролетарской революции с «Авроры» был, — скрепил свое мнение матрос, широко поведя рукой.

— Ну, вот я вам, братки, все и обрисовал. А бить нашим кораблям прямой наводкой так и не пришлось по берегу. Махнул этот самый «главноуговаривающий» белой юбкой сестры милосердия: переоделся, слышь ты, в дамочку с пенсне на носу, да и скрылся, как крыса, в подземном подвале, — так мы его и не нашли после штурма в Зимнем. Я сам видел всех временных этих министров, восемь человек лично в Петропавловку под замок в рavelин доставил; но этой «главной насекомой на солдатских шинелях», как его на фронте ваш брат солдат звал, так мы и не нашли! Смылся.

— Уползла вошь будто за солдатский воротник. Подь поищи теперича!

— Она еще непременно где-нибудь объявится — эта гадалка-трепалка, зуда навязчивая...

— Ну, где уж ей, — отозвались другие в отсеке. — После бани да еще с веником — не заест!

— Заест не заест, а на чей-нибудь собачий хвост репьем вцепится и, где ни есть, чудой-юдой продажной обернется!..

— Это верно, что собачьих хвостов еще промежду людей хватает.

— Ну и как же, командор ты наш «прозорливый», дело чем кончилось? — спросил бородач моряка.

— А полной победой, товарищ, — усмехнулся тот, — сам знаешь.

— Да это вестимо, что победой. Как иначе? А вот ты насчет штурма нам рассказывай все в подробностях.

Ведь как ни победа, а без штурма с врагом победу, как говорится, не добудешь. Вот ты и рассказывай нам: как вы, братцы-флотцы балтийцы, с

Невы на крутой берег выбрались? Я ведь тоже, дарма что в пехотной шинели, а по природе водяной. Кто с Волги-реки — морякам земляки!

— По делегатскому поручению мотался я с корабля на берег да с берега опять на корабль; и в штурм попал, как говорится, по нечаянности: призадержался малость на берегу. А мне было поручено досмотреть, чтоб все министры временные в целости были взяты и на руки сданы под замок, как небитая посуда. Вот я все гадал-догадывал, как в Зимний ворвались: кто тут гад да кто нам не рад.

Общий хохот одобрил острым словом сдобренную речь моряка.

— Я все насчет того «пенсне» интересовался; мне этого самого «главноуговаривающего» хотелось за воротник самому, слышь, взять. Ну, по секрету признаюсь: угадай я его — я б ему это пенснишко меж скул навек вдавил. Не попался. Я его физиономию добре изучил. Да, вишь ты, на сестер милосердия при штурме не имел сердечного желания засматриваться. Может, он мимо меня гофрированной милкою и шмыгнул где в коридоре: ведь комнат-то одних в Зимнем этом дворце точный счет точь-в-точь «тысяча и одна ночь». А в последней комнате и голова с тебя прочь!

Опять звонкий хохот одобрил шутку моряка.

— Ну, это к сказке присказка, а быль-то будет, знать, покороче. Штурмом с берега с бортовым повреждением взяли Зимний. Одна «Аврора» подала шестидюймовым залпом голос, а прочие корабли промолчали. Кабы дали они со всех бортов, на берегу и города бы не осталось! А имущество ведь — все дворцы да торцы в городе Петрограде трудом-потом народным сложены и мощены еще со времен Петра-шкипера, у нас в Кронштадте памятник ему стоит. К чему ж без нужды огород разорять: на нем еще и наша народная овощь вырастет. Для себя мостили-строили, как знали, — не иначе.

— Это конечно! — поддержали слушатели рассказчика. — А все-таки поковыряли кой-какую царскую мебелишку?

По возможности не трогали. Один морячок, чудак-то, царю безносому на портрете штыком в пузо ковырнул. Ну, его тут же одернули: оставь, мол, сделай милость, детям для смеха, не сымай этого шута с портрета! Он и застыдился.

— Коли живому буржую в живот — не промазывай! А что ж полотно рвать!

— Так-то, братья. Пошумели, и годи. Мне скоро тут слезать с корабля по имени-прозванию «Гаврила». И разговор скоро пойдет опять серьезный. Короче говоря, вот она начинается, Украина, где не хочет Рада нас за

родных детей принимать. Ну, мы ей дома — мачехе— кочергою горб вправим! Мы теперь с родною матушкой, ленинской свободой, навек родные стали.

— А ты, значит, аврорец, с Украины сам? Что-то тебя по говору не приметно.

— Говор мой самый обыкновенный, русский. А ведь какую эти дармоеды, живоглоты, подбрехачи промеж нашего брата еще на фронте сразу, скажем, с первых дней революции, агитацию повели. Украинцев стали в отдельные полки формировать, отзывать с русских полков. Полный раскол производить. Ну, к чему бы это? Будто мы не одной земли нашей русской матери пахари, ею рождены, вспоены, вскормлены? Испокон веку вместе против набежчика, врага, чужака свою великую землю отстаивали — и отстояли, до свободы дошли. Вот товарищ Кочубей про Богдана Хмельницкого сказывал: ведь пока Богдан с Москвой навек не побратался, лет триста турки, татары да польская шляхта нашей матери Украине из груди душу вырывали, жен и детей басурманили. Как в песне нашей стародавней поется:

Султани турецькі
да пани шляхетські
звеліли
ще й гірше кувати
кайдани...

Чи не нимецьки?.. А? Ну к чему же теперь этот раздел затевать?

— А ты погляди хорошенько: кто его затевает? Пань? Пань, которые ни по-русски, ни по-украински говорить-то не умеют. И ни украинского, ни русского они мужика и слушать не слушали и понимать не понимали. Отколе ж им знать, какое у нас настроение и чего мужику надоть? Разве я, што ли— хоть я вот с Волги, — сам не пою хохлацких песен с душой? Или вот он, скажем, украинец, балтиец, наших волжских лихих песен не затейник петь? Нет, брат, это все разорение народного единства — так надо полагать. Вот в чем она — эта самая Рада-зраднянська шкура запродаанська!

— Так точно, товарищ-друг — отозвался балтиец, — У нас на флоте Балтийском, прямо скажу, немалая часть украинцы, а ведь и наша доля в революцию русскую уже вложена. С кого ж теперь нам отдачу при случае получать? С вас, волгарей, понятно, спросим.

— А мы со всем удовольствием и сполна революционный народный

долг в отдачу отдадим, браток. Это ты не сомневайся. Русский народ своего брата украинца в беде одного не оставит, и задачу свою всеобщую он понимает.

— Не оставит! Никакой между нами границы не должно быть. Там, где разум и сердце в одно стоят, там разгородки не сделаешь.

— Вот спасибо за эти речи, — ответил матрос. — Да недолго вам ждать с той брехнею, браты, и встречи. Я вот сейчас сойду в Бахмаче, а вам еще придется эту самую границу на пузе переползать. Вот там вы, дружки, себя и покажете: за какое братство и дружбу русский стоит! Кто действительно так себя в единстве по-трудовому, народному, понимает, — тот и клади на гайдамацком черепе крепкую зарубку.

— Вот именно: этот выродок, что себя теперь гайдамаком тут зовет, он и есть тот самый запроданец, собака, что за буржуйской телегой собачьим хвостом стелется. Вот какое, браты, при прощанье-расставанье даю я в вашем лице про русское братство завещание: шагай вперед, браток, и положишься на нас. Так и передай землякам своим украинцам: что, мол, русский народ, добывший себе великую свободу, этой самой свободой, как своею душой, с ним, с трудовым братом украинцем, как солдат с солдатом, чем ни есть с котелка поделится, и притом — жизни своей не пожалеет. Коль ум-душа у нас одна, так и свобода у нашего народа одна. Вот так-то, брат!

И матрос, сорвав с себя бескозырку, махнул ею в ответ на такую дружную общую речь спутников по вагону, фронтовиков, добрая половина которых были русские люди: и волгари, и сибиряки-приамурцы, и из центральных разных губерний.

— Так-то, солдаты! Значит, теперича, с Октября мы за Лениным к своему берегу пришвартовались. Все в полном порядке и спокойствии — без суматохи, но и не без этого! Во! Коротко говоря! — На всякий случай матрос показал свой сжатый кулак и, поправив на голове покрепче бескозырку, стал собирать вещи к выходу.

Поезд начинал замедлять ход.

— Вот газеты свежие, питерские, последние. Я их целую пачку с собой везу, — сказал матрос. — Тут вот в двух газетах есть статьи товарища Сталина по нашему украинскому вопросу. Вот тут от пятнадцатого числа декабря, стало быть, «Правда» позавчерашняя, как есть вот об Украинской Раде — «Что такое Украинская Рада?» Так вы почитайте, — сказал матрос. И он при этом поправил ремни на правом плече. — Ну, вот и стоп машина! Бахмач! Мне здесь слезать.

Матрос, свернул в широкий брезентовый портплед кучу газет и

брошюр, но кое-какие из них тут же роздал на прощанье далее едущим солдатам и, еще пожав руку Кочубею, в этот раз более многозначительно, тряхнул ее крепко-накрепко: мол, знай-понимай нашего брата, сунул ему что-то тщательно завернутое в газету, как потом оказалось — милсовскую бомбу.

И Кочубей, давно уже проглядывавший втихомолку оставленные газеты, принялся вслух читать сталинскую статью, напечатанную в «Правде» от 15 декабря 1917 года, — «Что такое Украинская Рада?»

Другая газета оказалась украинская, киевская. И в этой газете извещалось, что Рада разорвала дипломатические отношения с РСФСР, — между РСФСР и Украинской «народной республикой» устанавливается Радой «граница». Эшелон шел в сторону названной границы. В той же газете объявлялся и набор «вильных козаків» и «гайдамаків» вольнонаемной армии Рады — для борьбы с Советами.

И тут же Денис возвысил голос за то, чтобы не дать устанавливать Раде границу:

— Как это — чтоб Украине с Советами рвать?

— Неужто Россия — советская, а Украина кадетская будет! — хлопнул волгарь широкой ладонью по газете. — Уж мы как-нибудь да Украине подмогнем.

— Эх, как он, товарищ Сталин-то, буржуев рассортировал, — сказал другой солдат, просматривая еще раз газету. — Выходит, что эта Рада — буржуазная гада. А мы и не ждали, как она нас, Рада, порадует!

— Народ наш расколоть метят.

— Запродала, значит, иудина Рада Украину Каледину, и мы теперь не домой, а прямо к гадам едем! Антантовому буржеглоту запродали родину.

— Вот Рада каким боком к нам пути-дороги поворачивает!

— Ну, на этом пути мы Раде той и рельсы скрутим.

Каждый солдат подавал свое красное словцо, как сухой хворост в горящий костер, и костер общего гнева полыхал, как будто раздуваемый ветром во мчащемся по многострадальной Украине поезде, по земле, прямо из-под ног у народа продаваемой заморскому капиталу при помощи «мягкостелюющих» буржуазных националистических болтунов.

Денис понимал, что кому-то тут же надо возглавить это возмущение народа и дать ему надлежащее русло, чтобы не расплескалось оно, и тут же предложил — организовать и, доехав до намечаемой Радой границы, начать действовать.

Не дать устанавливать Раде границу.

А как — это будет видно по ходу дела.

Так на том и порешили.

А поезд, погромыхая, неся к искусственно создаваемому контрреволюцией «водоразделу» украинской границы, границы для затора разливающейся с пролетарского севера октябрьской революционной народной лавы, первым валом которой и шел этот Кочубеев эшелон, в котором он неожиданно волею обстоятельств становился командиром, чтобы отсюда же с места в карьер и стать партизанским вожаком. Революционная волна подбросила его, как птицу, взмахнувшую крыльями в далекий полет, как борца за светлое будущее.

— Не давать разрывать с Россией! — кричали солдаты. И стали проверять, какое у кого было с собой оружие: ехали с фронта.

На станции Сновская ^[1] менялся паровоз. Падал снежок. На перроне стояло человек пятьдесят дебелих красномордых «добродиев»^[2], наряженных в разноцветные шелковые жупаны и в шаровары «с целое синее море», в серых и черных смушковых шапках с желто-блакитными^[3] шлыками; да сверх всего еще из-под шапок нависали у некоторых и «оселедци» — чубы.

Казалось, что то была оперная труппа, переезжающая на другую станцию не разгримировавшись. Однако ж на «добродиях» было полное вооружение. На перроне стояли два пулемета. Это и были новоиспеченные «гайдамаки», или «вильни козаки» Центральной Рады, о которых объявлялось в газете.

Кочубей не выдержал и расхохотался, глядя на них, взявшись за бока, а вслед за ним принялись хохотать и другие, соскочившие из вагонов.

Гайдамаки глядели, выпучив глаза, и не знали, что же им предпринять.

Наконец они вышли из оцепенения, и самый пузатый и чубатый из них направился к Денису, стоявшему впереди всех и бывшему как бы заправилкой «смехачей», и схватил его за рукав.

— Ты хто такой? Чого ты иржешь, як жеребець?

— От жеребца слышу! — ответил Денис толстопузому. — Это что — труппа, выгнанная из театра?

— Хто ты такой, я тебе запитую? — кричал толстопузый, напирая на Дениса, которого уже тесным кольцом окружили «вильни козаки».

— Я большевик, — отвечал Кочубей.

— А! Значит, босяк? Взять его!

— Кого берешь? Не трожь! Эй вы, буржуи, отвались! — кричали эшелонцы.

Но Дениса уже схватили и поволокли на вокзал. Эшелонцы бегали

вдоль поезда и выкрикали товарищей на выручку Дениса.

В это время на перроне появился какой-то голубоглазый стройный человек в шапке набочок и прокричал, что на границе уже стоят большевики. Гайдамаки бросили Дениса и, мигом отцепив паровоз от прибывшего эшелона, погрузились на него с пулеметами и уехали по направлению к Гомелю.

Голубоглазый подошел к Денису, ругавшему на чем свет стоит товарищей по эшелону:

— Запечные мамы вы, а не бойцы! Вот теперь и угнали паровоз!

— Да мы не сразу раскумекали — за что братья: за тебя или за паровоз. Суматоха получилась, как это они тебя сразу застопорили. Сейчас во всем разберемся, — говорили смущенные справедливым упреком фронтовики.

— Коль в дружбе клялись, то так и держись! — отвечал Кочубей. — Ну, выходи, кто вооружен, живо!

— Да ты не кипятись, сейчас эшелон пойдет, — обнадеживал Дениса голубоглазый.

— Гони скорее эшелон, — говорил ему Денис, — если ты тут командир.

— Сейчас погоним. Ребята, кто с оружием — вылезай на тендер!

Вывалило человек пятьдесят вооруженных. Голубоглазый усадил их на тендер поданного к эшелону нового паровоза, и эшелон пошел вдогонку за гайдамаками.

На разъезде за станцией Хоробичи, у границы, все, кто был вооружен, выгрузились, а эшелон с остальными отошел назад. Паровоз с тендером, на котором прикатили всполошенные гайдамаки устанавливать границу, стоял у моста через Терюху. Гайдамаки ушли разведать мост, и на тендере остались лишь пулеметчики с двумя пулеметами.

Эшелонцы тут же их ссадили и, подъехав к мосту на гайдамацком паровозе, счистили с моста в Терюху и всю маскарадную партию первых «вильных козакив».

А самого толстопузого командира нашли зарывшимся в снегу. При допросе командир этот оказался сыном миллионера-сахарозаводчика Терещенко.

Голубоглазый командир поехал на Гомель с эшелоном, а Кочубей вернулся назад к Хоробичам, на родину. И при расставании с русскими товарищами, уезжающими дальше, к себе на север и запад, пожали крепко друг другу руки на вечную боевую революционную дружбу русские и украинцы.

И довелось Денису Кочубею видеть своего избавителя в следующий раз только спустя три месяца, в конце февраля 1918 года, в момент отступления из Гомеля, когда последним эшелоном он угонял брошенное Новобелицким отрядом оружие на не занятую еще оккупантами городнянскую территорию.

Голубоглазый: появился так же неожиданно, одетый в солдатский ватник, с котомкой за плечами:

— Еще раз: здравствуй, Кочубей! Думаешь держаться?. Ну, а не выйдет, отходи к границе, свяжись с Семеновкой: я там командую, фамилия моя Щорс. Борьба затянется надолго. Так помни же: Новозыбков, Семеновка, Щорс.

Этот адрес пограничной с РСФСР полосы в 1948 году стал боевым адресом для украинских партизан. А человек тот — их боевым организатором и командиром..

Борьба с оккупантами затянулась действительно надолго, чуть не на год. Хоть Денис и поглядел в ту минуту на Щорса косо, но пришлось впоследствии не раз вспомнить его слова.

Лето 1918 года было самым героическим и самым трудным для молодой республики Советов.

Враги революции не довольствовались открытой войной против революционного народа.

Не могли они успокоиться и на интервенции иностранных империалистических государств. И нанятый чужеземный солдат мог заразиться отважным свободолюбием русского народа. Или же могло произойти то, что случилось с немецким солдатом на Украине, где он если и не сделался революционным, оставаясь в большинстве своем верен вкорененной в него психологии прусского ландскнехта, то все же разлагался как солдат от длительного, чуть не годового паразитизма, и лишался дисциплинированности, начиная понимать в конце концов всю безнадежность интервенции, предпринятой против несокрушимого в своем единстве трудового русского народа, впервые осознавшего силу своего братского классового единства.

Врат довольно быстро стали понимать всю бесплодность вмешательства нанятых иноземных войск, в качестве пожарников явившихся с дырявыми брандспойтами тушить великий пожар революции, неугасимо охвативший от края и до края всю великую страну.

И они обратились тогда к давно испытанному ими и привычному для всех паразитов на свете, не имеющих человеческой морали, двужало-

змеиному иудину предательству — к отравленной чаше лжи и к коварному кинжалу в спину.

Они вначале втайне объявили этот белый террор и попробовали начать с наглых и демонстративных убийств.

Августовский выстрел в Ильича — выстрел гнусного выродка, вскормленного эсерами и империалистическими шпионами. Во всей истории не было акта более гнусного и чудовищного, чем этот иудин акт покушения эсеров на жизнь Ильича,

Мерзавцам не удалось погубить Ильича, но они убили Урицкого, Володарского. Они пытались уничтожить всех, кого выдвинул и за кем пошел трудовой народ.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА

В середине августа 1918 года — еще когда закордонный повстанческий комитет большевиков Украины находился в бродах и был «на колесах»: то в Гомеле, то в Брянске, то в Унече — человек геркулесовского сложения, в кожаной потертой куртке, громким голосом расспрашивал о нем в вагонах и на вокзалах.

Этот человек разыскал наконец комитет на станции Брянск, Риго-Орловской.

— Вы, товарищ, здесь организатор? — обратился он к сидевшему за отдельным столиком человеку в темном пенсне и в смушковой рыжей шапке набекрень,

— Я. А что?

— Моя фамилия Хомиченко, — заявил гигант, — я старый артиллерист и большевик. Не могу ли я быть полезен? Ищу вас уже целый месяц.

— Сейчас как артиллерист — ничем, а как большевик... У вас есть какой-нибудь документ, товарищ?

— Документ? — удивился Хомиченко. — Мой документ — я сам весь с ног до головы: мой кулак — для врагов, мое слово — для друзей.

— Так что же вы хотите нам предложить?

— Я имею на примете в одном месте немецкую пушку. Если ее починить, она будет годиться. Только бы она стреляла, а насчет наводки — хоть воробья на колокольне сшибу.

— Хорошо. Ну, так что же?

— Так вот, я и думаю, что с этого нам надо начинать. Вокруг орудия я сколочу боевой кулак, которым мы и будем грозить с границы гетманчукам и оккупантам. Я полагаю, что вы намерены использовать нейтральную зону для военно-революционных целей, — продолжал он. — Там столько скопилось ушедшего с Украины боевого революционного народа, что из него можно набрать целые полки — и бедовые полки. Ими никто не руководит, они слоняются — в лучшем случае грызут семечки и плюют в непроходимую пограничную Десну или «грызут» шпионов, под видом спекулянтов пробирающихся через границу с сахаром и барахлишком.

— Гм... Это дельно! — мигнул человек в пенсне своим двум товарищам, из которых один, с синими, как васильки, глазами, был в военной фуражке фельдшерского образца.

Хомиченко в него долго вглядывался и вдруг воскликнул:

— Щорс! Что же ты не признаешься? Старый товарищ мортирец! Бородку отрастил — и не узнать!

— Слежу, брат, за тобой с удовольствием. Оно очень интересно — со стороны наблюдать прежнего товарища. Ты все такой же озорник, каким был и в армии.

— Здорово, брат, здорово! — жал его руку Хомиченко. — Ну, как же ты думаешь? Ты что, в комитете?

— Нет. Я, как и ты, с предложением. Мечтаю создать украинский полк на демаркационной линии. И твое предложение совпадает с моими намерениями. О какой пушке только ты говоришь? Где ты ее выкопал и что с ней?

— Пустяки — нет колеса и бойка в замке. Плюнуть раз — и готово! Снаряды давай для трехдюймовки, Коля! — загудел он.

— Я, видишь ли, намерен на этот раз опереться на штык, — сказал Щорс. — Да не гуди ты так: вон сколько народу собралось! Садись.

— Пусть собирается: «нам народ нужен».

А люди слушали речи артиллериста и ожидающе смотрели на человека в темном пенсне. Наконец тот простился и ушел, сказав:

— Организуйтесь, я доложу главному. Армия-освободительница Украине необходима.

Щорса и Хомиченко облепили люди в шинелях и кожанках и наперебой требовали тотчас же зачислить их в несуществующий еще щорсовский полк и в несуществующую Хомиченкову батарею.

— Мы украинские большевики, — заявляли эти люди, — и мы ваши, то есть вы — наши. Мы в общем — свои. И даешь полк и батарею!

ПУШКА

На рассвете по поселку Унече весенними лужами пробирались двое людей. Один из них нес в руках небольшую корзинку, которая сильно зыбилась от груза.

Это были Щорс и Хомиченко.

На пороге кузницы, к которой они подходили, сидел сухощавый человек. Его русые кудри с сединой были так мягки, что ветерок шевелил их и свивал в кольца. Его наклоненная голова с затылка напоминала головку ребенка.

— Здравствуй, Сережа! — окликнул его Хомиченко,

Сухощавый поднял голову.

— Здравствуй, Антоша. С чем пришел? Самовар, что ли, там у тебя?

Хомиченко торжественно поставил корзиночку на землю и вытащил никелированный кочан.

— Комнатная наковальня?

— Какой тебе шут комнатная наковальня!..

— А-а, это другое дело! — протянул Сергей, беря в руки стальной кочан, оказавшийся артиллерийским замком. — Хорошо. Что же тебе тут — шпильку? Бойка нет, вижу...

— Сделаешь? — взволнованно спросил Хомиченко.

— Илюшка! Илья!.. — закричал, оборотясь, Сергей.

На зов его из кузницы выбежал русокудрый мальчик,

— Займись паяльником! Да дай мне там коробку с гвоздями. Вот эта стальная шпилька подойдет, — сказал он, разгребая ящик со ржавыми гвоздями и доставая толстую машинную шпильку.

Он примерил ее, и Щорс заметил, как ласково его тонкие, словно у музыканта, руки держали и поглаживали сталь замка.

Хомиченко, затаив дыхание, с нежностью, неожиданною в грузном человеке, присел рядом и так бережно дотрагивался до полированной поверхности замка, как мать бы дотрагивалась до своего ребенка.

— Готово! — передал ему Сергей артиллерийский замок. — Ключ на здоровье! — прибавил он, глядя, как нянчил его в руках Хомиченко. — А сточится — принеси, новый вправлю, Только думаю, что долго клевать будет: я ему крепкий носик приправил.

Щорс со спутником зашагали обратно. Хомиченко шел танцующей походкой. Щорс, остановившись, дал ему уйти немного вперед, потом

громко расхохотался.,

— Какой же ты мальчишка! Тебя, Антон, за пьяного можно принять. Танцуешь! Признайс — я выпил?

— Что ты, Коля, по такому делу шел! Да и где взять? Зайдем, угостишь чайком. Эх, надо было Серегу прихватить, самовар поставить, — вспомнил он. — Погоди-ка, я за ним слетаю.

И Хомиченко собрался было идти обратно.

— Успеешь! — удержал его Щорс. — Да ты прежде попробуй.

— Ну нет, брат, Серега не промахнет: у него и глаз и рука такие, что ему бы алмазы гранить! Ты видел, какая у него рука? Музыкант! Он- тебе глаз вынет, вставит, и будешь видеть как ни в чем не бывало.

Через час окрестность огласилась оглушительным пушечным выстрелом.

У батареи, то есть у единственного орудия, стоял Хомиченко, румяный, пыхтящий, как самовар.

— Что, ребята, слышали?

— Н-дда-а! Берет! — крикали ребята — Слыхали!

Артиллерийская присяга принялась впрягать лошадей.

На реке показались четыре плота и двенадцать лодок. То переходил с Украины на Зону партизанский полк из недавно восставших таращанцев. С той стороны оккупанты садили по плоту из орудий. Хомиченко ответил им с этого берега, по звуку выстрелов отыскивая и снимая огневые точки врага и прикрывая переправу таращанцев.

ТАРАЩАНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Таращанцы насчитывали двести сабель при стольких же карабинах, кроме того, двести винтовок у пехоты, с двумя пулеметами, и четыре орудия.

Патроны у них были считаны: едва приходилось по четыре обоймы на ствол; не лучше обстояло дело и с остальным снаряжением.

Таращанцы приняли бои с наступающими немецкими гренадерскими оккупантскими полками, высланными из Киева, да с гайдамацкой кавалерией сабель в шестьсот.

Однако ж наступление было отбито, и дорога к Таращце была устелена трупами разгромленного неприятеля.

Вечером после боя командир полка Гребенко велел подсчитать снаряды и, увидев, что их очень мало, решил догнать уходившего неприятеля и, хотя бы ценою потерь, добыть оружие и снаряды.

Помощи ниоткуда не приходило; посланные для связи с Таращей, Нежином, Каневом и другими местами не возвращались.

И Гребенко пустил конницу вдогонку за неприятелем,

— Поскорее возвращайтесь! — кричали им вслед; остающиеся.

Вернулись к рассвету. Но Тараща не спала: она прислушивалась к тому, что делается кругом.

Ушло из Таращи двести всадников, вернулось сто пятьдесят. Они пригнали обоз. Тут были тачанки, нагруженные патронами, тачанки с пулеметами, тачанки со снарядами и две арбы, нагруженные военной амуницией. Снаряды трехдюймовые, какие и требовались для захваченных ранее пушек. Кавалеристы привезли с собой восемь замков от орудий; самих орудий они не могли захватить из-за быстроты маневра.

Таращанцы торжествовали. А назавтра стало известно, что восстали и Нежин и Канев. Вздрыбились восстаниями Украина. Задрожала гетманская власть.

Таращанцы передохнули.

Однако уже через неделю стало известно о разгроме нежинцев, а потом и каневцев гетманско-немецкими войсками. Оазисом свободы оставалась одна Тараща. Ясное дело, что и ей угрожала та же участь, которая постигла Нежин и Канев.

Гребенко собрал народ.

— Нас извещают нежинцы, — говорил он, — что они уходят на

нейтральную зону, за Десну. Идут туда каневцы. Ушли уже и новгород-северцы. Остается и нам уходить туда же. А уже оттуда, организовавшись в большие полки, мы придем вас выручать. Мы вернемся скоро. Скажите врагам: «Кто воевал, те ушли». А если найдется предатель среди вас, то все знают, что надо с ним делать! Так соберите же нам хлеба в дорогу, мы ночью выходим.

Ночью выступило из Таращи партизанское войско и пошло на северо-восток, к Десне.

«А что, братцы-товарищи, надолго ведь дозволим мы этой нашей земле, этим нашим полям родным, пашням и лесам стонать под пятою самозванцев.

Мы, трудовые хозяева, — истинные сыновья этой земли и обороним ее для себя, для вольного труда на ней и для того, чтобы впредь уже из поколения в поколение здесь свободно ходил плуг и свободно гуляла коса и свободные голоса пели бы свободные песни, прославляя труд и свободу!»

Такова была дума, которую думали таращанцы, что ехали и шли, подобно запорожцам и черному люду когда-то на клич Богдана Хмельницкого с Переяславской Рады, на великое братство с русским народом, на нейтральную зону.

Попробовали гайдамаки и немцы преградить им путь, да получили по скулам.

Но вот уже стали догонять их лазутчики с вестями из Таращи.

— Что же делается в Тараще?

— А вот что делается там... Карают проклятые гайдамаки безоружное население.

— Ну, стойте же вы, гады, — мы вернемся!

ПЕРЕХОД НА ЗОНУ

Как только разлетелся слух, что восставшие таращанцы оставили город, в Таращу снова прибыл известный каратель — гайдамак Вишневский, ведя с собою и оккупантские полки — те самые, что пострадали от кавалерийской вылазки и кипели теперь мстью.

Этим войскам, без боя занявшим Таращу, вольно было теперь бесчинствовать над беззащитными.

Насилиям, истязаниям, грабежу не было границ. Начались аресты и расстрелы семейств ушедших на Зону бойцов.

Но никто не упрекнул, ушедших, зная, что, лишь соединившись с другими, сообща они могли бы нанести сокрушительный удар врагу.

Болели сердца у бойцов. Не один отец и не одна мать были оскорблены, и не у одного малолетний брат взят как заложник.

И повстанцы, слыша день за день приносимые вслед им страшные новости, двигались вперед, на спасительную «нейтральную зону», зная, что там получают помощь от великого русского народа, найдут таких же, как они, и, спаявшись в одну боевую семью, зажмут в стальное кольцо контрреволюционную гадину и задушат ее в боевом смертельном зажатье.

Так думали повстанцы, подвигаясь день и ночь к Десне.

Прежде, соблюдая осторожность, они шли лишь ночью и обходили людные места лесами, избегая лишних столкновений. Теперь же, позабыв об этой предосторожности, шли бесстрашно и днем и ночью; Гребенко провел на своей карте красным карандашом прямую до точки «Унеча» ^[4] и вел уже по прямой, обходя только болота, ни перед кем не сворачивая.

Так два раза пришлось таращанцам принять бой с оккупантами и гайдамаками.

В результате этих боев численность партизан возросла, к ним присоединялись отдельные группы новых повстанцев, прибавлялось оружие, отбитое у врагов.

Героизм этого похода привлекал всюду, где проходили партизаны, сочувствие населения, уже пробудившегося к борьбе повсеместно.

Гребенко стал уже и побаиваться этой популярности, опасаясь, как бы не окружили их где-нибудь враги.

Однако громоздкость снаряжения таращанских партизан, в особенности артиллерии, вынуждала идти всем табором вместе.

Гребенко стал рассылать дозоры и разведки. Он все время знал, что

делается на тридцать километров кругом.

Немало сел, через которые они двигались, встречали партизан хлебом-солью, хоть и знали, что за это потом их постигнет кара от временно прятавшихся по щелям полицейских и от предателей-куркулей^[5], которые опекались гетманским правительством не хуже прежних дворян.

Поход таращанцев прогремел, громкою славой по всей Украине. Партизаны прошли свой путь от Таращи до Унечи, сокрушая все препятствия на пути. Но когда достигли они: граничащей со свободным краем речки, враги окружили их и решили не выпустить — потопить, ударив артиллерией по плотам.

ТАРАЩАНЦЫ НА ЗОНЕ

Мирно спят казаки возле своих коней, спокойно жующих накошенный на вражеском берегу золотой овес. На горизонте показывается солнце. То там, то сям появляются женщины, чтобы задать корм домашним животным или выгнать со двора скот в стадо, идущее на пастбище.

Подхватываются и казаки.

— Что ж ты, брат, всю кожанку на себя стащил? — упрекает соседа продрогший в утренней прохладе спавший во дворе рядом с товарищем казак.

— Хорошо, что не коханку! — отвечает тот.

Бегут казаки к колодцу, чтобы перекинуться с девушками задорным словом. А девушки спрашивают:

— Можно ли, не опасаясь, хоть сегодня выгонять скотину на пастбище, не вздумают ли опять казаки дразнить «врагобережных»^[6]?

Сентябрьское солнце, ясное и чистое, светит, как в хрустале, в осеннем воздухе, и кажется, что каждая вещь способна разложить на спектр его лучи, — так все свежо, чисто и прозрачно.

Свежи и чисты человеческие голоса, свеж свист птиц, и даже шелест камыша можно отличить от шелеста стрекозьих крылышек, который тоже слышен в утреннем воздухе, не мешаясь с другими звуками, столь же чистыми и четкими,

Кто-то точит шашку, и слышен треск, сопровождающийся брызгами искр от прикосновения стали к камню.

Вдруг эту чуткую, упругую чистоту утра пронизывает грохот разрыва артиллерийского снаряда, отдающийся перекатом по реке.

— Ну, вот тебе и давай бог ноги! — говорят дивчата, загоняя скотину обратно во дворы.

— Народ, народ! Мало вам войны было! Когда вы по домам разойдетесь? — укоризненно, но вместе с тем ласково говорят девушки казакам. — Вам все только бы казаковать!

— Ведем окончательную классовую борьбу, товарищи дивчата, — отвечают казаки.

Тут подошли гребенковцы к Десне.

И враги ударили им в спину.

Но об этом еще не знают казаки и не понимают, что бы означал выстрел.

Батько Боженко показался в дверях полуодетый и, потягиваясь, говорит вестовому:

— Катай к Щорсу — узнай, в чем дело!

Казаки умываются прямо на улице, у крыльца, на котором, сняв рубашку, стоит батько Боженко, ожидая своей очереди и растирая ладонями волосатую грудь.

Молодой казак сливает воду из ведра на лысую опущенную голову пожилого товарища и приговаривает:

— Росту, явир^[7], на болоти, а волосья — на голоти!

Боженко хохочет от всей души над этой шуткой, а облитый казак, раздраженный, гонится за убежавшим приятелем, который не подпускает его к себе, угрожая опять окатить водой из ведра.

Вскоре вестовой прискакал обратно и прокричал, что с того берега плывут на плотках таращанцы и враги громят их артиллерией.

Действительно, с коня было видно через огороды движение плотов по Десне и дымки разрывов над ними. Большое войско конных и пеших грузилось на паромы, ожидая своей очереди под артиллерийским обстрелом врага.

— По коням! — мигом скомандовал батько и помчался выручать земляков.

Прибытие таращанцев не было неожиданностью для Зоны. Здесь ожидали их со дня на день, но думали, что они задержатся дольше в столкновениях с врагом и придут на неделю позже.

Слава таращанского боя заставила неприятеля остерегаться таращанцев.

И только когда погрузил Гребенко свое войско на плоты и челны, чтоб перейти границу, немцы открыли артиллерийский обстрел по уходящему противнику, оказавшемуся на зыбкой поверхности реки.

И в эту минуту ослабела воля жожака, молодого Гребенко, контуженного и сброшенного снарядом с челна в волю: отнесенный течением, он выплыл на дальнем берегу и бросился в проходящий поезд, идущий в Москву, так как ему казалось, что все, кто были на плоту, погибли во время переправы.

Однако старик, отец Гребенко, не растерялся: он вывел людей на берег и передал их Щорсу и Боженко. А про молодого Гребенко, жожака восстания, поначалу решили, что он утонул. Лишь через месяц Гребенко вернулся в полк.

Жажущие свободы люди уходили с Украины на нейтральную зону, к освободившемуся русскому народу.

И целое лето это боевое партизанское племя разжигало «на границе» костры и скрипело обозами, пело и маршировало, организуемое Щорсом, Боженко и другими вожаками-коммунистами, подчиненными общей задаче — создать Украинскую Красную Армию из повстанцев.

Босое, недетое, рваное, загорелое, голодное, злое, доброе и отважное революционное племя росло в колыбели боев под собственные песни. Жило и умирало, обессмертив себя силою революционной воли и подвига.

Пламенные речи Щорса, бывшего военного фельдшера, родом из местечка Сновск, ставшего пламенным революционным трибуном, грозным командиром, и революционный пыл батька Боженко, киевского арсенальского столяра и таращанского уроженца, пережигали и плавили, как сталь в горниле, буйных, непокойных повстанцев, организуя из них первые украинские революционные полки — великую, стойкую большевистскую Красную гвардию.

ГРЕБЕНКОВА КАША

Э-э-э, брат Гребенко, — сказал батько Боженко, раскуривая трубку над костром, отражавшимся в Десне, — вот устроили мы с тобой хорошую мишень для немцев па том берегу. Я думаю, что помереть с кашею во рту было бы для нас обидно, хоть и смешно. И одно дело — воевать, а другое — маевать. Давай перенесем все это заведение вон за тот млын^[8]. Крылья будут вертеться и с нас с тобой комаров отгонять, да и дым не будет так внос лезть.

— Верно, давай! — быстро согласился старый Гребенко, но не приподнялся с места.

— Что же ты? — спросил Боженко, уже опершись одной рукой о землю, для того чтобы подняться.

Но, видно, не хотелось ему сделать это первому и показать Гребенко, что он боится пули.

А впрочем, работая на пасеке в Тараще, когда-то еще в детстве, убедился Боженко в том, что торопливые движения или движения испуга раздражающе действуют на пчел; пчелы каким-то образом ассоциировались у него с пулями, поэтому и к пулям относился он спокойно, как к пчелам.

— А ты? — спросил Гребенко, прутиком помешивая в люльке дотлевший табак.

— Да вставай же ты, ирод! Для того ли ты прошел от Таращи до Почепа двести верст и потерял сотню человек в воде, да и собственного сына к тому же, чтобы, приведя сюда остальных, лишить их тотчас же, по дурости своей, головы!

И батько Боженко, не раздумывая больше, встал и отнял у Гребенко трубку. Тот покосился на трубку, покачал головой и тоже встал.

И только что встал, сел опять, а вдалеке, на том берегу, раздались в это время несколько выстрелов, отдавшихся перекатом по реке.

— Что же ты опять сел, старая дубина. крикнул на него отошедший было на несколько шагов Боженко.

— Стой! Чобот^[9] сниму, — отвечал Гребенко, — что-то так укусило, что аж печет. Не жарина^[10] ли за холяву^[11] завалилась?

Боженко уже догадался, какая жарина.

— Не снимай, хуже будет. Идем за млын. Там я тебе чобот сниму. Это к тебе немецкая жарина запала.

И батько Боженко, вернувшись назад, стал притаптывать костер сапогом.

В это время к ним из темноты подошел высокий статный человек.

Он как-то по-особому горделиво прямился, напоминая молодого резвого коня. И когда засмеялся, вынувши трубку изо рта, то зубы у него оказались крупными и белыми.

— Чого ты, лошак, смеешься! — сказал ему батько. — Подними старика да дай ему дойти со мною до того млына. Там с нами и каши поешь.

— Идет. А за кашу спасибо! — улыбнулся подошедший, сверкнув ослепительно белыми зубами.

И, подойдя, помог он Гребенко подняться и тихонько повел его. Гребенко волочил ногу, кряхтел и хмыкал, стараясь ничем другим не выдавать адской боли в ноге и как-нибудь преодолеть ее.

Они спрятались за млын и стали было разводить костер. Партизаны — народ упорный, и раз решили кашу варить, так хоть убей, а сварят. Разводил костер подошедший статный человек, а Боженко тем временем, сняв осторожно сапог с Гребенко, делал ему перевязку, приговаривая:

— До кости не дошло, нога не ломается.

Только что запылал костер, вдруг поднялась такая стрельба с того берега, что и Боженко понял, что теперь уже не до каши.

Он подосадовал, что каша останется недоваренной, да потом сообразил, что Гребенко — раненый, идти теперь не может, значит он и будет досматривать кашу, — и каша не пропадет, а будет-таки сварена.

— Ну, ты сиди тут да мешай кашу, Гребенюк, — назвал он товарища ласково, по-земляцки, растрогавшись его положением, — а мы, того, пойдем посмотрим. Айда, хлопче, — мигнул он незнакомцу. — Как твоя фамилия?

Кабула, отвечал тот, приветливо улыбаясь батьку.

Они скрылись оба в ночной темноте.

Тут только, оставшись один, Гребенко дал себе волю и немного постонал; кость была, видно, все-таки повреждена неприятельской пулей. Но большей этой боли была потеря сына.

А на Десне заваривалась другая «каша».

Матросы разведывательного комендантского отряда, разруганные батьком за то, что не достали немецкого «языка», как было им приказано, получивши хороший урок, решили постараться.

— Колесо! — сказал один.

— Колесо! — отвечал другой.

Матросский отряд (считавшийся комендантским отрядом при организуемых на Зоне полках) вечером перевалил на челне на ту сторону и, спрятав челн в камышах, пошел раздобывать «языка».

Скоро немецкий дозорный был завязан в мешок и лежал под охраной одного караульного в долбленном дубе^[12].

Но этого расходившимся матросам казалось мало. Выполнить только урок — это значит быть просто школьниками. Надо превзойти ожидания, не иначе!

И, перемигнувшись и перешушукнувшись, матросы полезли камышами к главному неприятельскому посту в двадцать человек, захватив для какой-то надобности тросы (всякая птица свою солому тащит).

Пост в это время как раз открыл огонь по боженковскому костру и поранил Гребенко.

В ту же минуту матросы прыгнули из камышей на вражеских дозорных, и началась перепалка.

Боженко собрал всех, кто оказался на берегу, усадил на два длинных рыбацких челна, а сам, захватив с собой ручной пулемет, ударил на противоположный берег.

Бой завязался с пустяков, а разгорелся не на шутку,

Гайдамаки и оккупанты подоспели на выстрелы из ближайшей деревни к месту боя. Боженко высадил «десант» и вступил с ними в бой.

Дрались целую ночь. Не выдержал и Щорс и перекинулся тоже на запретный вражеский берег в помощь Боженко. И в результате сотни полторы гайдамаков и оккупантов были перебиты в бою, а остальные бежали в панике. Щорс же и Боженко вернулись под покровом ночи назад.

А Гребенко так и сидел над кашей, прикованный своим досадным ранением к месту, куря трубку за трубкой и ругаясь, что не судьба ему участвовать в таком праздничном бою.

Проклятая каша!..

Батько не забыл о Гребенко и пришел его проведать,

И каша остыла, да и Гребенко спал.

«ГАСЛО»

Нейтральная зона напоминала муравейник, кишмя кишачий боевым народом.

Все это войско предпочитало жить бивуачной жизнью, привыкнув за время войны спать под открытой небесной кровлей. Особенно притягательным примером для остальных явились таращанцы.

Они привели с собой немалый обоз, запряженный волами. Кроме того, пригнали еще и целое стадо волов. Эти волы не только служили украшением табора своим величавым видом, но являлись его опорой, служа и для обоза и кормом.

История волов, пригнанных таращанцами, отличалась живой поэзией. Волы этих партизанам дарило население тех мест, через которые они проходили. И вечерами, при прохождении через людные села, старик Гребенко приказывал погонщикам-партизанам прилеплять к рогам волов восковые свечи, купленные нарочно для этой цели у пасечника по пути, и зажигать их. Проходя через села походом, партизаны зажигали свечи на рогах волов.

Население, пораженное зрелищем, высыпало из хат. Начинались расспросы.

А старый Гребенко отвечал, что в старые времена — во время Сечи Запорожской и так называемой «Руины» — запорожцы таким способом сигнализировали о народном восстании. Прогнанные со свечами на рогах по Украине волы являлись священным призывом к угнетенному панством населению выступить на защиту своих поправленных прав с оружием в руках.

Называется такой способ «гаслом».

Села, взволнованные торжественным зрелищем этого похода, присоединяли к стаду волов, а к войску — новых бойцов и коней.

И какие же кони были у таращанцев!

КАБУЛИНЫ КОНИ

У Щорса, что называется, глаза чесались от зависти при взгляде на тарашанскую кавалерию, приведенную Гребенко и бывшую теперь под командой Калинина и Кабулы.

На луг, что на том берегу, переплывали не только одни шальные Кабулины кони, но и калининские казаки; у коней же, как известно, неистребимая привычка к потравам — такие уж непоседливые они, тянутся к сену и к траве, и ничего не поделаешь...

Боевое самолюбие Щорса страдало, когда он видел, как целый стог сена переплывал реку на плоту, причем людей на плоту не было видно: видно, лошади сами и отстреливались от неприятеля! Это были не кони, а клад. Вот какие были кони у Калинина и Кабулы.

Кавалеристы говорили, что кони, мол, сами, пасясь на лугу, переплывают на ту сторону; там трава не вытоптана, как здесь, ибо ее охраняют неприятельские дозоры. А уж вслед за конями плывут кавалеристы. Там-то и происходит у них, естественно, драка с оккупантами из-за сена. Кони же, как их ни путай путами, чуют сочную траву и «нейтральных» доводов не знают.

— Счастливы эти Калинин да Кабула! А вот мы!.. Что, Антоша, как ты думаешь? — говорил Щорс Хомиченко. — Не можем ли мы сослаться на твое орудие, — ведь оно захвачено у немцев: захотела, мол, на побывку к своим и пошла «Груша» вечером на тот берег за колбасами? Или: как услышит, мол, родной запах колбас с того берега, так и чихает «Груша»: будьте, мол, здоровы, наш кашель вам в кашу! А оттуда отвечают, и завязывается драка.

Наконец надумали.

— Давай и мы заведем кавалерию! Пехотному полку все же полагается конная разведка.

— Правильно. Вот дело! Но где достать коней?

— Да у немцев же? — невозмутимо отвечал Хомиченко. — А то где же еще?

И на завтра эскадрон богунцев в сто двадцать сабель прогарцевал перед калининской квартирой.

ПОХОД

Если верно, что мечта о солнце родится во тьме, как солнце родит себе черного двойника в колодце, то верно и то, что чем непогодливее и чернее становились дни на Зоне, падая к последним числам октября, тем ярче мерещилось продрогшему на нейтральном берегу войску солнце свободы.

И речи Щорса разгорались, как костер. Но всех неистовее становился батько Боженко, принявший команду над Таращанским полком.

В конце октября в Москве шел II съезд украинцев-большевиков, и делегаты «нейтральцев» уехали туда, пообещав остающимся добиться у съезда санкций на боевые действия.

Каждый день вокруг поезда с московскими газетами вскипали муравейником партизаны, и один голос перекрикивал другой:

— А что, что в Москве? Разрешили?..

На съезде мнения разошлись: за и против наступления на Украину.

И «нейтральцы», прослышав про то, не удержались. Древними брянскими лесами повели Щорс, Боженко и Тимофей Черняк с Дедова и Мишкальцев на Картушин и Стародуб красные войска. Проводником шел девяностолетий старик, которого, все время идя с ним рядом, Щорс угощал ландринном, приговаривая:

— Сахар полезен, старик, а зубов тебе не жалко — их нет. Ешь побольше да гляди в оба — смотри, не ошибись, отец!

Старик только хмурил седые брови, гордо косясь на Щорса: мол, не беспокойся, сынок, не подведу, знаю, кого веду, знаю, куда веду. Через непролазное картушинское болото вывел он войска обходной тропой, и к рассвету полки обложили Картушин.

Щорс велел Хомиченко открыть артиллерийский огонь. Сначала «Груша» зажгла мельницу, потом нашу-пала и самый гайдамацкий штаб.

Картушин откликнулся артиллерией.

Заработали пулеметы, и гайдамаки пошли п контратаку.

Этого только и надо было «нейтральцам», Они давно мечтали встретиться грудь с грудью с врагом в открытом бою, и контратака гайдамаков была отбита с огромными для них потерями.

Победителям достались трофеи: восемь орудии, две сотни коней и обоз со всевозможным довольствием.

Взятые орудия были немедленно пущены в ход Хомиченко.

Под сильным огнем артиллерии Стародуб сдался без боя: гайдамаки

подняли белый флаг.

А Щорс, приняв сдавшийся Стародуб, немедленно сообщил об этом съезду телеграммой.

Резолюция съезда была в пользу наступления.

Съезд обратился к рабочим и крестьянам Украины с призывом: «Бьет час решительного боя: организуйте свои силы, чтобы нанести врагу сокрушительный смелый удар! Этот же удар готовит нашему врагу Советская Россия... Общая задача у нас с рабочими и крестьянами России, общей будет и наша борьба за восстановление Советской власти на Украине».

Красная Армия имела уже достаточно сил, чтобы прийти на помощь украинскому народу. Ленин говорил в это время на объединенном заседании ВЦИК:

«Перед нами главная задача — борьба с империализмом, и в этой борьбе мы должны победить. Мы указываем на всю трудность и опасность этой борьбы. Мы знаем, что перелом в сознании Красной Армии наступил, она начала побеждать, она выдвигает из своей среды тысячи офицеров, которые прошли курс в новых пролетарских военных школах, и тысячи других офицеров, которые никаких курсов не проходили, кроме жестокого курса войны. Поэтому мы нисколько не преувеличиваем, сознавая опасность, но теперь мы говорим, что армия у нас есть; и эта армия создала дисциплину, стала боеспособной»^[13].

ЗАДЕРЖКА ПОХОДА

Восставшие против гетмана и оккупантов села Черниговщины присылали на демаркационную линию (к Щорсу и Боженко) связных с просьбой поскорее двинуться в поход, чтобы своевременно поддержать успешно начатые партизанами боевые действия и чтобы не дать возможности авантюристу и шовинисту, предателю Петлюре обманными «универсалами» привлечь на свою сторону антиоккупационно настроенное население.

Щорс отлично понимал, что момент задержки и промедления смерти подобен, по октябрьскому выражению Ильича, и старался добиться от штаба дивизии приказа к немедленному открытию похода.

Срок уже истекал, а приказа о наступлении от Главного командования (ставка которого находилась в Воронеже) Щорс все еще не получал.

А между тем восстание на Украине разрасталось. Щорса беспокоили сообщения от городнянских земляков — братьев Кочубеев, уже поднявших восстание на Городнянщине и окруженных карателями, сжигавшими целые деревни и распинавшими на кладбищенских крестах пойманных боевиков-партизан. До Городниже было сто с лишним километров пути, четырехдневный переход полка на марше.

Батько Боженко в свою очередь получал сигналы и из Таращи и из Киева от своих товарищей арсенальцев, торопивших его к немедленному выступлению.

Партизанский Глуховский, так называемый Дубовицкий полк, недавно перешедший демаркационную линию для формирования в район дислокации дивизии, получил тревожное сообщение из расположенных недалеко пограничных сел Глуховщины, что оккупанты и гайдамаки чинят кровавые бесчинства и насилия над их семьями. Дубовицкий полк, не дождавшись приказа о походе, самовольно снялся ночью и перешел Десну у села Воробьевка. Пятаков поспешил к переправе вместе с недавно назначенным по его рекомендации командиром дивизии, неким полковником Храпивницким, и, задержав не успевшую еще переправиться на плоту батарею, расстрелял самолично, тут же на берегу, без всякого суда, отважного командира батареи товарища Графа и перевозчиков-плотогонов, взявшихся перевезти партизан,

Батько Боженко не выдержал и прискакал лично к Щорсу для переговоров о создающемся напряженном положении в его Таращанском

полку. Полк стремился перейти границу вслед за дубовлянами.

Старик слез со взмыленного коня и, взволнованный, вошел к Щорсу.

— Отвечай мени, Микола, — це хто такий там у штаби дивизии сидить, шо йде против ленинского приказа? Кажи, бо в мене сердце розирветься... Та и не тилько в мене. Ты ж сам мени ленинский приказ посылав ще на тому тыждни: в десятидневный срок начать наступление для поддержания восставших рабочих и крестьян Украины. А ось що пишуть мени из Киева арсенальцы:

«Може, в тебе боки вже перестали болить, Василю, а у нас уси ребра перебиты гайдамацькими плетюганями та немецькими шомполами. Швидче, як можешь, поспишай из бригадою Микола Щорса до Киева. Бо за тыждень-два тут якийсь Петлюра знов «гетьманом» сяде...»

— Знаю, знаю, Василий Назарович, «чую, батьку», як Остапови ребра гайдамаки ломають! — отвечал старику Щорс. — Только ты успокойся и слушай, что я тебе скажу. Десятидневный срок, указанный Лениным, действительно вчера истек, и я послал своего начштаба в По-чеп, в штаб дивизии, он оттуда еще сам не вернулся, но вот его личное письмо, слушай:

«Командование и штаб ставки, хоть и получили категорические указания Ленина, однако ж остаются пока при своем мнении и считают, что активные военные действия на Украине начинать сейчас несвоевременно».

— Як это несвоевременно?! Хто ж таки воны, щоб не слухаться вождя революции Ленина?! Що, може, в штаби дивизии чи в Главковерхе какой «вождь» распре-мудрый объявился, це, може, той самый «иудушка» распроклятый, що ще в Октябре против ленинского приказа подымав голос, что «несвоевременно» еще подымать восстание пролетариата за освобождение от угнетателей-буржуев и за власть Советов? Вождь Ленин тогда отвечал через его плюгаву голову, обращаясь с письмом к членам ЦК: «Промедление в восстании смерти подобно». Этот ленинский завет вот где он у меня, Микола, в моем сердце. Що в Ленина — вождя революции: що в нас сердце одно ж, воно знае свий час, бо недарма народ каже: «Поки сонце зийде — роса очи выисть!» Та що скажешь, Микола? Це, може, той самый «иудушка» знов каверзуе^[14]: хоче «повременить»? Тай кинуть нас годовою в воду, як Пятаков Графа?

— Подожди, успокойся, не горячись, Василий Назарович, я и сам горячий, и сердце, у меня, ты знаешь, из того же самого состава, что и у тебя, — тут дело сейчас не в сердце. Ты, значит, уже слышал про историю с расстрелом товарища Графа у переправы на границе. Попробуй теперь верни ушедших дубовлян. назад в строй! Организуй их!.. Что ж, по-твоему, и нам:, следом за ними: их примеру последовать? Да?.. Для. чего ж мы

организовались? Подожди же, садись — рассудим. Главкомовский аргумент: в том, что активные военные действия на Украине начинать сейчас нельзя — несвоевременно, что украинские советские войска, сформированные в нейтральной зоне, не представляют серьезной боевой силы, а на помощь украинских повстанцев (крестьянства) надеяться не следует, так как они в большинстве идут за Петлюрой. Понятно? Это мнение Троцкого, главкома Вацетиса и всех ихних генштабистов. Этого же мнения держится вместе с ними и Пятаков.

Щорс протянул Боженко письмо своего начштаба...

— Так я и знав! — опустил отяжелевшую от тоски голову Беженка. — От распрокляты ироды! Там уси це ж не пролетарии! Ни, це не бильшовики, буржуяки вони, мабуть! Микола! Це ж зрадник!^[15]

— Однако мы подчиняемся непосредственному военному командованию Реввоенсовета и Временному Украинскому правительству, батько, и поэтому не шуми. Мы не партизаны в лесу: мы регулярная армия. Но это положение далеко не безвыходное. Мы обратимся к самому Ленину. Но для того чтобы Ленин нас выслушал и признал нашу правоту и чтобы он мог защитить нас в этот момент от происков всяческих недотяп или проходимцев, мы должны, наперекор нашему крайнему возмущению, держаться спокойно. Не поддаваться на провокацию, рассчитанную на то, что мы проявим себя так же анархически, как дубовляне, и тем самым дадим противникам с ихними провокационными доводами полный козырь в руки: дескать, вот полюбуйте-ка вы на них — вашу организованную дивизию! Они ведь даже о простой воинской дисциплине понятия не имеют и никакой субординации не признают, да это же просто «партизанская банда», а не армия. Они ждут, что мы не выдержим этого испытания — и дело кончено. Нас расформируют и подчинят любой другой армии на другом участке фронта, а Украина в этот важнейший момент борьбы достанется на произвол уже объявившимся в действиях петлюровским бандам, возникшим на правом берегу не без участия галичан, направляемых, конечно, Антантой. Одного оккупанта сбыли — другой начинается.

— Розумный ты хлопець, Микола! Звав бы тебе синком, як бы ты не був розумниший за мене, хоть и молодший, — сказал батько. — Ясный розум — це дар народный. Ну и мени, як то кажут, «розуму ципком не отбыто». Я теперь сам бачу з твоих речей, що на то вона и провокация, щоб нас схвилювати та сбита с пути. Тильки не одкладай же, Микола, ни одного часу. Зараз пиши до Ленина. Вони ж знают добре, у чому наша задача. И меня оповести скорейше. А зараз мени треба поспишати до хлопцев як

мога швидче, щоб, як то кажуть, у людей «жданки не лопнули»... Ну, бувай здоров, Микола! Мы с тобою завжди як брати рідні. — И Боженко вскочил на своего неутомимого коня, и только пыль за ним закружилась: понесся батько к своему полку, щоб успокоить скорее не на шутку разволновавшихся в ожидании опаздывающего приказа о походе горячих бойцов-таращанцев.

А мнение батька было для них неоспоримо, и он разом успокоил их, сказав, что они вместе со Щорсом написали письмо Ленину, прося его дать приказ о немедленном освободительном походе на истерзанную Украину.

— Мы з дядьком Миколою Щорсом до Ленина написали насчет скорости похода, то и подождемо, сынки, що скажет вождь всего пролетариата!

И бойцы, как ни были они взволнованы неизвестностью насчет похода, тотчас же успокоились. И весть о том, что батько Боженко та дядько Микола Щорс, лично знакомый с Лениным, до него запрос написали, разнеслась уже через пять минут по всему Таращанскому полку — в том числе и в самом нетерпеливом Втором конном гребенковском полку, состоявшем тоже по преимуществу из таращанцев, каневцев и полтавцев, перешедших на нейтральную зону знаменитым летним походом и пополненных такими же лихими городнянцами.

Труднее всех пришлось, конечно, самому Щорсу, взявшему на себя в эту напряженную минуту великую ответственность посредника между двумя уже явно ставшими враждебными за эти решающие дни сторонами: между рвущейся в бой за освобождение родной Украины дивизией (то есть единственной ее армией-освободительницей), ее опорой и надеждой, и — как это ни странно — с другой стороны, Главным командованием — Вацетисом и главою Временного правительства Советской Украины Пятаковым.

Стоит назвать имя Троцкого — главного вдохновителя всех «задержек» развития революции, — и станет понятно, откуда могла возникнуть «нелепость» позиции главкома в отношении задержки похода на Украину ее Первой дивизии в нужнейший момент. Щорс имел случай наблюдать «странные» действия главковерха Троцкого на Восточном фронте, где он работал в фронтовой контрразведке. Он помнил свияжскую трагедию и расстрел Троцким фронтовых комиссаров, спровоцированных его же нелепыми распоряжениями. Тем более он имел основания волноваться сейчас за исход вверенного ему Лениным и доверенного ему народом дела, то есть фронта, который он если не фактически, то морально возглавлял, будучи здесь самым популярным командиром.

С болью думал об этом Щорс, сидевший у растворенного настежь окна, в которое видно ему было ночное пространство, освещаемое время от времени, подобно молниям, светом ракет, зажигаемых сторожевым богунским пикетом на железнодорожной линии, по которой двигались пропускаемые через границу и проверяемые богунской комендантской ротой немецкие эшелоны.

Оккупантские эшелоны уходят. Их тени уползают, провожаемые вспыхнувшим уже светом свободы. Таким же ракетным — и сверх того боевым — огнем встречал Щорс приход этих теней на Украину восемь-девять месяцев тому назад. Ползли они тогда, как допотопные ящеры, идущие, чтобы пожрать на Украине все, что только можно. Они бессмысленно и беспощадно убивали женщин и маленьких детей. И с какой ненавистью Щорс спускал их под откос!..

Теперь он освещает им обратный путь красными ракетами, и немцы знают, что здесь, через Унечу, пропускает их в революционную Германию тот самый знаменитый Щорс, которого они боялись с самого дня своего вступления на Украину и имя которого произносили они как «Чертс», думая, что это не фамилия, а простонародное русское прозвание страшного, «как черт», партизанского командира.

Щорс вспомнил, как один из братавшихся недавно с ним, в дни германской революции, немцев конфиденциально спрашивал у него наедине, почему он называет себя столь странным именем — «Красный черте». Он невольно расхохотался.

Щорс слышал от приехавшего наконец из Главштаба комиссара штаба Черноуса, что главком Вацетис предложил командукру Антонову-Овсеенко испытать боеспособность подчиненной ему Первой Украинской дивизии предварительно на Ростовском фронте, прежде чем решиться двинуть ее в поход на Украину. И если, дескать, она докажет на этом фронте, указываемом главкомом, свою дисциплинированность и прочие боевые качества, тогда он решится двинуть ее и на Украину.

Эта нелепейшая провокационная главкомовская дилемма «или — или»: «либо пойдете на Ростов и докажете организованность и боеспособность, либо за неподчинение я вас (Первую дивизию) расформирую» — была наглостью, главкому отлично были известны и боеспособность и задачи формирования Первой дивизии на границе Украины.

Щорс знал, что вернувшийся недавно в Москву с Царицынской обороны товарищ Сталин зорким глазом следит за важнейшим,

напряженнейшим сейчас Украинским фронтом. Знал он это по статьям Сталина в «Правде». Знал он, что товарищ Сталин является прямым защитником похода на Украину. Он понимал также, что нелепость главкомовской дилеммы вызовет возмущение Ленина и Сталина, являясь прямым неповиновением Совнаркому.

Щорс понимал, что именно сейчас там, в Кремле, Ильич думает о том же, о чем и он, и думает точно так же, как и он, простой командир-большевик.

Щорс понял, что все осуществится именно так, как надо, так, как сказал вождь, так, как требует того народ, так, как требует того живое развитие истории — то есть революционная борьба и судьба свободы Украины,

И он вдруг окончательно успокоился. И, склонившись на лист бумаги с написанным черновиком рапорта, он задремал...

Но тут же был разбужен вошедшим комендантом станции Унеча.

— Товарищ Щорс, эшелоны для погрузки полка на позиции прибыли на станцию Унеча.

— Какие эшелоны? Для какого полка? — не сразу понял коменданта Щорс.

— Для погрузки на Ростовский фронт, дорогой Николай Александрович, — сообщил с загадочной улыбкой вошедший вслед за комендантом комиссар Черноус.

— Не рано ли подается экипаж? Я в гости ни к кому не собираюсь — и даже к главкому, — резко сказал Щорс и, распрямившись, по обыкновению своему передвинул назад сборки гимнастерки под туго стягивающим талию поясом, на котором был прицеплен маленький маузер в желтой кобуре.

— Это как вам будет угодно. Главком предложил дилемму: либо на Ростовский фронт, либо расформирование дивизии, это же вы знаете. На вашу личную ответственность, кроме того, возлагается доведение указаний главкома до всей дивизии, то есть до всего ее командного состава. Вам, как первому командиру-организатору, популярнейшей здесь личности, как говорится, первейшая роль. Я думаю, что в результате точного выполнения указаний вы не останетесь без поощрения. Я слышал, будто бы вам предлагается поручить командование Первой бригадой с оставлением командиром Первого Богунского полка,

— Отдайте эти эшелоны немцам. Пусть уезжают поскорее хоть к самому Вацетису, а то, пожалуй, засидятся на Украине, — отчеканивая каждое слово, сказал

Щорс, вплотную подходя к Черноусу, гневно и прямо глядя в его

лукавые глаза.

— Мо-ло-дец, Николай Александрович, — отдельно сказал Черноус. — Вот за это люблю! А за кого ты меня принимаешь, друг ты мой? Что я — иуда какой? Я, брат, потомственный пролетарий, с Брянского завода слесарь. Я не только при штабе комиссар, я еще и ленинский уполномоченный. Я, брат, старый подпольщик и разведчик. В тайге не пропадал — а в штабе главкома как мне заблудиться? Я для того к тебе и навязался с дипломатической главкомовскою миссией. Я, конечно, знал, что ты не дрогнешь: я тебя ведь давно знаю, хоть ты меня вот, видишь, и не приметил, Николай Александрович. Теперь, может, замечаешь? — спросил он лукаво, когда Щорс вдруг стал вглядываться в его лицо, обросшее русой бородкой.

— Так ты ведь и есть тот самый подпольщик Христофор, что меня на колчаковском фронте выручил: документом снабдил?

— Так точно. Христофором, Черноусом по собственной фамилии, брат, и зовусь. Ага! Угадал теперь! На колчаковском фронте, помнишь, когда ты эшелон чехословацкий подорвал да потом пришел в Уфу на явочную к дяде Христофору за паспортом? Есть у тебя еще тот «пачпорт», что я тебе выдал на имя «Ивана Непомнящего»? Ну, успокойся теперь: вот я тебе кто! Видались-то мы с тобой всего какую минуту, да я тогда и без бороды ходил.

И Щорс расцеловался с Христофором Черноусом, узнав в нем своего уфимского спасителя, скрывавшего его от преследователей несколько месяцев тому назад, давшего ему в Уфе подпольные адреса, шифр и паспорт.

— Много еще придется нам говорить с тобой, Николай Александрович, о делах давно минувших дней. А сейчас вот что я тебе доложу: в Курск прибыло Украинское Советское правительство. Решение Совнаркома о немедленном походе будет приведено в исполнение. А ты ничего и не знаешь? Климентий Ефремович Ворошилов назначен сейчас командукром вместо Антонова-Овсеенко, и весь военный командный состав дивизии переукомплектовывается царицынскими героями. Слыхал? Вот, брат, каковы дела! Так-то!

Щорс ушам своим не верил.

— Но когда же это случилось? Говори! Говори поскорее, Христофор!

— Сталин утвержден заместителем Ленина по Совету обороны еще семнадцатого ноября, и девятнадцатого Реввоенсоветом дан приказ о наступлении.

— Но сегодня ведь двадцать третья. Почему я до сих пор ничего не знаю? — спрашивал взволнованно Щорс. — И почему ты молчал до сих

пор, зная все это? Зачем ты это делал?

— Ну, этого я тебе пока не скажу, Николай Александрович. Мне есть кому об этом докладывать, а после и сам поймешь. А вот он, приказ, получи! Читай! — И Черноус вытащил из внутреннего кармана отпечатанный на машинке приказ Реввоенсовета.

— А где же приказ, адресованный самой дивизии? Он должен же быть!

— Хранится в боковом кармане у главкома, — отвечал, лукаво щурясь, Черноус. — Получили двадцатого ноября и в карман спрятали. Я взял на себя миссию от главкома позондировать тебя в смысле срочной погрузки на Ростов и выехал к тебе вместе с этими эшелонами для погрузки. Я их держал на запасных путях в Новозыбкове, чтобы не приводить тебя в смущение в эти «смутные дни». Эти эшелоны я предоставлю Второй бригаде для операции на Путивльском направлении. Их маршрут на Харьков, твой — на Киев. Тебе они не понадобятся. Главком задержал у себя приказ Реввоенсовета, и товарищ Сталин выехал в Москву, чтобы оттуда проверить исполнение приказа Совнаркома и Реввоенсовета. Я тут по проверке исполнения именно этого приказа.

— Все теперь понял, — отвечал взволнованный Щорс и, настезь распахнув дверь, крикнул вестовому: — Труби подъем к походу! Гони ординарцев к Боженко и Черняку!

Люди стали львы!

Львы, взобравшиеся на конские хребты.

И кони, испуганные грозными седоками, становились страшными. «Седок срастался с конем в одном порыве: рваться вперед, рубить врага, смести его с лица земли.

Рассвет, в который Зона перевалила через Десну, был красен от лент и бантов, вплетенных в конские гривы, в чубы и в шапки всадников, повязанных на сабельные эфесы, на стволы карабинов, на колеса тачанок,

В районе летней стоянки не оставалось ни одного красного лоскута, все они были взяты на банты, ленты и знамена.

Словно пламя степного пожара вспыхнуло на берегу Десны, отразилось в воде и покатило по Украине.

Свистя, запевая и не кончая бесконечной песни, летела конная лава, оставляя пехоту на сотню верст за собой.

И не было у десятитысячной пограничной гетманской своры силы сопротивляться напору этих пятисот сабельных клинков.

Древние леса Глуховщины и Новгород-Северщины сменились полями

Конотопа — Батурина, и степная Черниговщина встретила разросшуюся конницу.

Батько Боженко пошел на Городню, услышав про то, как стойко дерутся безоружные городнянцы с гайдамаками и бьют оккупантов.,

И вовремя пошел.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАЧАЛО



«ЛИМОНЫ»

Уже целый час Черноус, комиссар штаба Первой Украинской дивизии, сидел у братьев Кочубеев. Денису Кочубею давно хотелось прекратить разговоры и воспоминания, которыми занялись брат его Петро и Черноус, и обсудить, как добыть оружие для партизан у командира таращанцев — батька Боженко.

Правда, у него была маленькая надежда на двух посланных матросов. Они остались у Боженко, отправив Черноуса с кузнецом Васькой Сукачом в свой партизанский штаб. Это-то и давало основание предполагать, что они остались не зря, а явятся с оружием.

«Ведь знают же, что это необходимее всего, что это только сейчас и нужно», — думал Денис, расхаживая по комнате. Он то и дело подходил к окну, из которого видны были широкий двор и ворота, — поглядеть на дорогу.

Торопить Черноуса с отъездом, чтобы вместе направиться к Боженко, было негостеприимно.

И вдруг, когда Денис уже вовсе отчаялся, а самый короткий в году декабрьский день начал погружаться в сумерки, калитка у ворот стукнула, распахнулась, и снег во дворе заскрипел под легкой, танцующей поступью матросов.

Первым шествовал Кисель, черноморец. Глубокие, бурсацкие карманы его синего жупана, снятого с гайдамака, были полны английскими гранатами, «лимонами», как их попросту называли партизаны, имевшие к ним большое пристрастие. Кисель из одного кармана в другой перегружал бомбы, жонглируя ими на ходу.

Денис не выдержал, крикнул:

— Братишки! — и кинулся во двор навстречу матросам.

Вслед за ним выбежали «сентиментальные заговорщики», как Денис успел окрестить Петра с Черноусом.

— Ну что, привезли?

— Вот! — протянул ему Кисель один «лимончик».

Гончар, балтиец, тоже оттопыривал карманы с видом школьника, наворовавшего слив.

— Нагрузились до отказа, — повторял он.

— А остальное?.. А винтовки?.. — спрашивал Денис, рванувшись к воротам, надеясь, что настоящий сюрприз ожидает его там.

— Ни под каким видом невозможно, — отвечал Кисель, удерживая рукой Дениса.

— Эх, и шляпы! — упавшим голосам сказал Денис. — Товарищ комиссар, — обернулся он к Черноусу, — что, ж, поедем, что ли, сами за оружием к Боженко?

— Хорошо, сейчас поедем, — успокаивающим голосом отвечал, улыбаясь только лукавыми лучистыми глазами, Черноус и, увидев, как волнуется Денис, пожал ему локоть.

Тут только заметили они, что стояли без шапок, на двадцатипятиградусном морозе,

— Ну, айда в хату, — сказал Черноус.

— Можно запрягать? — спросил Денис.

— Можно, — раздумчиво, с каким-то грустно-серьезным оттенком, свойственным его голосу, сказал Черноус и пошел на крыльцо.

Денис набросил полушубок, надел шапку и тотчас же вывел кобылицу Отраду и стал закладывать в сани. Вышел помочь ему и Петро с матросами. Пока они запрягали, Петро спросил Дениса:

— Ты что ж надумал делать?

— Сам понимаешь! Оружие привезу... Эх вы, шляпы! — еще раз бросил он матросам, переставшим пританцовывать и понявшим наконец, что дело сделано мелко. — Что ты будешь делать с этими «лимонами»? С детворою яйца катать? Вооружение нам нужно, пойми ты, Кисель молочный!

— Не было никакой возможности. Сам увидишь, — отвечал Кисель. — Ты же не видал еще, что это за папаша знаменитый. Ну и дядя, я тебе скажу... Вот это сорт!.. «Оружие, говорит, дарить? Оружие берут, а не дарят. Возьмите сами, — и нам его никто не давал, сами взяли».

— Я только потому вас щажу еще, — улыбнулся Денис, — что сам третьего дня, прошляпил гайдамацкое оружие. А теперь я оружие достану — голова с плеч.,

— Денис, будь осторожен, не заводи анархию, — говорил Петро, стряхивая снег с меховой полсти и передавая Денису вожжи.

— Або здобуты, або ж дома не буты! — тихонько в тон ему отвечал Денис, увидев выходящего на крыльцо и молодецкато, поправляющего маузер на поясе Черноуса.

Денис, с завистью поглядев на комиссаров маузер, цокнул и лихо подвернул санки к крыльцу.

— Поехали, что ли, товарищ Черноус?

— Что ж, поехали. До скорого, товарищи дорогие, свидания. Завтра,

думаю, встретимся. Будь здоров, голубчик Петро! Уж и как же ты мне понравился!

Черноус сел, и санки тронулись с места в карьер.

Теперь и Петро набросился на матросов:

— Эх, вы! Горшки разбитые! «Гончары, кисели!»

— Невозможно, Петро! — убеждал его пристыженный Кисель.

— Ну, теперь мы с тобой, Киселик, — цапнул Петро матроса за загривок, — в «лимонёры» пойдём. Выкладывай свой «лимонный» план.

— Дай-ка я тебе фамильного «киселя» своего задам сначала, а потом свой способ расскажу, — и матрос смазал Петра огромною лапищею с подбородка до затылка,

— Ну, ты брось баловаться! — отстранился покрасневший от медвежьей дружеской ласки Петро. — Подымай всех. Мы сначала поставим на ноги всю братву. Все отряды мы должны подвести к пригородной полосе и оставить их по хуторам. А потом бери отборных бомбометчиков и катай куда знаешь.

— Впрочем (Кисель всегда говорил «впрочем»), я это и без тебя понимаю. Оставайся здесь для общего руководства оперштабом. Я со всей округой связь установлю, а бомбометчиков поставлю на шляхах — на тот случай, коли будут плитовать ^[16] гады из города. У них мы и оружие заберем, так и батько Боженко рассчитал. Ну, получай в подарок на свои расходы два «лимона», — расщедрился Кисель.

Они простились.

Петро вызвал ординарцев и немедленно бросил их подымать на ноги округу с приказанием каждому отряду выдвинуться по своему пути ближе к Городне, создавая кольцевое окружение города, и ждать оружия и распоряжений.

Почти всю дорогу Денис и Черноус молчали.

Черноус видел Дениса насквозь и не хотел лишними расспросами ослаблять его сосредоточенной энергии.

Он только еще раз охарактеризовал ему всю обстановку в Первой советской дивизии; рассказал и о батьке Боженко.

— А впрочем, сам увидишь старика, — оборвал он вдруг.

Денис испытывал чувство уверенности, которое началось с приездом Черноуса, явившегося вестником освобождения: большевистская армия с нейтральной зоны идет на выручку восставшим партизанам.

Ведь все ими, казалось, было испытано: ловкость, сметливость, отвага, непрерывность натиска, мужество и, наконец, терпение; и все, сдвинувшись, стало на то же место, потому что закрепить движение, не

имея оружия, было невозможно.

Партизаны горели желанием сразиться с врагом. И в самую последнюю минуту вдруг — весть о товарищеской помощи, привезенная вот этим большевиком, что сидит рядом, с заиндевелыми от мороза ресницами, сквозь которые светятся синие глаза. Подойди к Городне Щорс с богунцами — все было бы в порядке, но подошел Боженко с тарашанцами, о котором Денис только слышал, а лично не знал и потому побаивался за успех своей миссии.

Думая так, пошевеливал Денис вожжами, хоть Отрада и без того шла захватывающим дух аллюром, так что из-под стальных полозьев сыпались искры.

— Да-а! — протянул, как бы отвечая на мысли Дениса, Христофор Черноус. — Не будь вашей партизанской отваги и инициативы, просидели бы мы на Зоне еще недельки две-три, а тем временем Петлюра дурил бы головы мужикам. Теперь не окопается.

— Как так? — обернулся Денис к Черноусу.

— Да очень просто, милый. Заслышав про ваши дела, и что вы, кучка вооруженных людей, дрались с немцами, гайдамаками и Петлюрой — с многочисленной; до зубов вооруженной гайдамацко-немецкой труппой, и что все-таки вы оказались победителями, взяли пулеметы у бывшей имперской армии и набили оккупантам морды, — нашу дивизию охватил стыд. Услышав затем, как партизаны накрывают мешком атамана Палия и водят его, как свинью по базару, между Сновском и Конотопом и в течение недели сковывают пятнадцатитысячную объединенную армию белобандитов всех цветов и мастей, — наша дивизия заволновалась. Э, Денисок, Денисок! Вот ты сидишь и думаешь: «Эк я сплошал!..» Вы думаете — дети вы, а вы — львы. Вот как!

«Эк он опять сентиментальничает, — подумал с досадой Денис. — Это он, должно быть, к чему-то гнет, не зря он такие речи выговаривает».

Но дело было не в выражениях Черноуса, а в том, что именно эти усилия партизан, о досадной безрезультатности которых Денис только что размышлял, достигли своей цели.

Денис дернул вожжи, цокнул, и Отрада пошла так шибко, что Черноус обнял Дениса за талию, чтобы не вылететь из саней.

— Что ж, поди, скоро и доедем. Там город, что ли? — спросил он у Дениса, показывая плетью в сторону огней, запрыгавших над горизонтом.

— Нет, город мы обогнем стороной. Это железнодорожный путь. Скоро и доедем, — отвечал Денис.

«Ну ладно, — думал Денис. — Следовательно, наш натиск не был

авантюрой»,

Он был убежден теперь почему-то, что и Боженко в оружии не откажет*

Черноус опять как будто подслушал и эти его мысли.

— А оружие мы вам добудем беспременно. Пусть батько не кобенится. Я знаю, в чем дело, — размышлял он вслух.

Но Денис не знал еще, в чем дело.

Ему в голову не приходило, что батьку захочется отстранить партизан от боя и самому первому ворваться в Городню.

БАТЬКО БОЖЕНКО

— Ну, принимай гостей, папаша знаменитый, — сказал Черноус, переступив порог и постукивая по полу мягкими бурками, чтобы отогреть ноги. — Вот тебе и Кочубей старшой. Знакомьтесь. Командир Таращанского полка товарищ Василий Назарович Боженко.

В избе было сильно натоплено, но все находящиеся здесь, в том числе и вышедший навстречу Боженко, были одеты «по-морозному» — видно, из-за того, что ежеминутно чувствовали себя на походе. Сам Боженко был в просторной, до колен, куртке, похожей на короткое пальто с чужого плеча. Ворот не только куртки, но и ворот френча под ней и даже вышитой сорочки был расстегнут. Боженко ступил за порог передней комнаты (изба была двухкомнатная, кулацкая), прошел навстречу приехавшим и протянул Денису жесткую трудовую ладонь.

— Кочубей, значит?

— Хозяйка, жарь глазунью на сале! — крикнул вошедший в переднюю избу вслед за батьком человек очень высокого роста, с большими, искрящимися игривым лукавством глазами.

— А вот и мой Кабула, комбат, — представил Боженко.

Батько Боженко — бородатый, с проседью, крепкий старик. Глаза у него темно-серые, небольшие, глубоко посаженные под густыми бровями, и смотрят прямо. Взгляд этого человека отличался единством сосредоточенной и сильной, к одному направленной волн. Он допивал чай из блюдечка, дуя на него и из-под бровей испытующе глядя на Дениса. Выразительные брови его, казалось, говорили, даже когда он молчал, то приподнимаясь, то опускаясь. Батько то смотрел на Дениса, то опускал глаза, как ворожей, который видит на дне блюдца человеческую судьбу.

— Та-ак! — крикнул батько, дочитав, видно, все, что таилось в душе Дениса, и поставил стакан вверх доньшком на пустое блюдце. — Воевать хлопцам хочется? Что ж, и повоюем... повоюем!.. — улыбнулся старик, увидев, как Денис нахмурился. — Вот и поедем воевать, — поднялся он вдруг со скамьи и стал застегивать пуговицы и крючки под бородою.

На Кабуле было уже надето все снаряжение, и на грудь он повесил большой бинокль; он, видно, ждал только сигнала, рассматривая ручной пулемет и примеривая к нему поочередно диски.

— Куда лучше «шоша», — говорил он батьку про «люйс», в то время как батько застегивал воротники и приспособливал бурку на плечи.

— Филя, эскадрон готов? Подводи коней. Пошли!

Филька, вестовой, цепляясь шпорами за разбросанные на полу сумки, седла, бурки и прочее походное снаряжение, которым завалена была изба, выбежал на крыльцо и затрубил.

— Вот сукин сын! Говорил — стрелять надо, а он в трубу дует, чертова богородица! — ворчал батько.

В это время у избы послышался ровный топот подходившего эскадрона.

— Коня командиру Кочубею! — показав оттопыренный палец левой руки и этим жестом определяя достоинство требуемого коня, приказал батько вошедшему эскадронному. — Хомиченко здесь? Батарея здесь?

— Все налицо, папаша, и конь готов, — отвечал эскадронный.

Денис с Черноусом, здорово проголодавшиеся на морозе, не раздеваясь, дожевывали у стола яичницу, пока батько собирался и давал распоряжения. Наконец и они поднялись из-за стола, кулаками вытирая засаленные губы.

— Поедем с Петлюрой договариваться? — усмехнулся Боженко. Он толкнул Дениса одобрительно ладонью под локоть. — Пошли!

Все разом вышли на высокое крыльцо кулацкой хаты. Перед крыльцом стоял уже построенный эскадрон. Тут же была и конная полевая батарея из трех пушек.

— За мною рысью марш! Артиллерия, на позицию! — И батько вскочил на своего серого в яблоках коня.

РАЗГОВОРЫ «ПО ДУШАМ»

Когда Денис уже почти догнал Боженко, он почувствовал рядом теплоту и фыркание чьей-то лошади и сквозь метель узнал во всаднике Христофора Черноуса. Черноус на ходу снял с плеча ремень и протянул Денису маузер в футляре.

— На, получай подарок от папаша.

— От какого? От него или от тебя? — спросил Денис, в первый раз улыбаясь Черноусу и говоря ему «ты».

— Ну, я же не папаша, — пропел Черноус. — От бородатого. — Он показал плетью на скачущего впереди в своей конусообразной бурке Боженко.

Они дали шпоры коням и сравнялись с батьком. Денис подъехал к батьку и сказал, козыряя:

— Спасибо за подарок.

— Пустяк дело, — отозвался батько и ткнул на ходу Дениса негнущейся ладонью, на которой висела знаменитая Боженкова плеть из воловьих жил.

Эскортируемые полуэскадром, они уже подъезжали к вокзалу станции Городня и сбоку увидели эшелоны. Батько вдруг осадил лошадь и обернулся к Денису, показывая плетью на движущийся состав.

— Как у тебя с путёю?

— Путь разобран. На каждой будке свои «саперы». Понадобится — починят в минуту, понадобится — под откос пустят.

— А этот куда идет? Что за эшелон? — спросил батько.

— Маневровый; должно быть, пробуют, — отвечал Денис.

Батько обернулся налево и мигом дал приказание. Разведка полетела к эшелону.

— Хомиченко, — крикнул батько, — батарея при телефоне?

— Так точно, папаша, позиция телефонирована.

— Гляди, не промахнись, а то я не промажу, — поднял он плеть над головой и ударил себя по бурке, сбивая снег. — Лавой — в обхват! Батарея — на позиции! Эскадрон — за мной, полный аллюр!

Полуэскадрон развернулся и с гиком понесся в чистое поле. Хомиченко взял левее и круче — под прямым углом к дороге. Вслед за Боженко и его спутниками мчалось двадцать всадников, да справа еще подскакала вернувшаяся разведка.

— Так что маневровый, папаша, порожняк. Говорят, будто дальше ходу нет: путь разобран.

— Молодцы! — сказал батько, оборачиваясь к Денису. — А ты говоришь — за маузер спасибо. А я говорю — вообще спасибо!

Подскакали к шлагбауму у вокзала. Батько крикнул:

— Сигналь!

Сигнальщик выпалил ракету. Вслед за разрывом у здания вокзала послышалось несколько выстрелов. Там суетились немцы и гайдамаки, спеша укрыться куда попало. Вокзал был оцеплен кавалерией. Боженко со спутниками ехал прямо по путям. Подъехав поближе, батько грузно слез с лошади и, разминаясь, огляделся. К нему подошел Нещадный — полуэскадронный.

— Караулы поставил? — спросил его батько.

— Все в точности, товарищ комполка.

Батько махнул рукой.

— Делегации прибыли? — обратился он к каким-то серым шинелям, среди которых Денис заметил знакомый малиновый бешмет.

— Делегация ожидает представителя войска украинских большевиков, — протиснулся вперед малиновый бешмет.

— Я и есть представитель украинских большевистских войск, — сказал Боженко, раскурив трубку и концом ее указывая на свою грудь. — Помещение свободно? — спросил он Нещадного.

— Так точно, можно заходить, товарищ комдив, — нарочно преувеличивал батькин чин полуэскадронный.

— Прощу вас, как гостей, — пригласил батько смертельно напуганных только что произведенным внезапным налетом делегатов.

Все стоящие на платформе оккупанты и гайдамаки двинулись в зал первого класса.

— Мы не ожидали такой встречи, — заявил человек в малиновом бешмете — Пашкевич. — Если вы разрешите говорить...

— Разрешение даю, для того и вызвал представителей. Какой встречи вы не ожидали?

— Видимо, мы отрезаны здесь от города и город атакован вашими войсками вопреки данному вами слову не открывать боя до переговоров.

— То не бой! Вы, верно, никогда не видали боя. Не знаю, как вас звать-величать, «добродий» там или «злодий»?

— Я полковник Пашкевич, начальник местного гарнизона и представитель войск украинской народной директории и местного населения.

— И местного? — поднял брови батько. — Выходит, что вы городской голова или побитовый староста?

— В моем лице представлен город и уезд. Я за всех отвечаю.

— Ну, так кто же будет теперь представитель города, а кто — огорода? Я что-то не доберу? — И батько поглядел на Дениса, выступившего вперед.

— Зрада!^[17] — крикнул в декоративном бешенстве Пашкевич.

— Хоть убей, не понимаю. Разъясни ты, товарищ Кочубей, — обратился батько к Денису.

— Врет этот плюгаш, — заявил Денис, с презрением глядя на Пашкевича. — С ним нечего разговаривать. Есть здесь представитель города? — обратился он к толпе делегатов. — Где Полторацкий? Почему не явился голова?

— В городе военное положение, и вся власть принадлежит начальнику гарнизона, — как бы ни к кому не обращаясь, заявил побледневший до серости Пашкевич, пытаясь поправить сбочившуюся амуницию и, видимо, боясь сделать лишнее движение и дотронуться до оружия. Руки его нервно бегали по серебряному поясу черкески. На этих бегающих, как мыши, руках лежал тяжелый взгляд помкомполка Кабулы, и этот взгляд больше всего нервировал Пашкевича.

— Значит, война, добродий? — спросил батько. — Других нет здесь представителей города?.. Объявляю, — повысил он голос, — если город не сдастся без боя, то мною будет дан бой. И за понесенные жертвы будете отвечать вы.

— В городе есть еще иностранное командование, — выдвинулся вдруг вперед немецкий переводчик. — И здесь есть его представители.

— Очень интересно, — отозвался Боженко. — Что ж эти иностранцы делают тут, в украинском городе? Ведь родина немцев там, за Одером. Га?

— Мы не нуждаемся в подобных разъяснениях, — отвечал переводчик, выслушав длинновязого своего шефа в пенсне, вздернутом на носу, поигрывающего хлыстом.

— А в чем вы нуждаетесь? Спросите эту цаплю, — приказал добродушно батько, показывая на немецкого полковника своею толстой плетью.

Пенсне дрогнуло и спрыгнуло с носа полковника. Непонятное слово «цапля», отнесенное к нему, никак не могло быть переведено переводчиком, видимо не желавшим усугублять конфликт; полковник понял сам.

— Мы нуждаемся в эшелонах, — отвечал за него переводчик.

— Эшелоны вам будут, — ответил батько.

— Путь на Гомель разобран и небезопасен.

— Ах ты, хреновое дело! — заявил Боженко. — Может, мне вам и штаны подтягивать? — крикнул он.

Переводчик дрогнул и перевел эти слова полковнику, ставшему вдруг куда менее надменным и переставшему играть хлыстом, спрятав его за спину.

— Есть еще одно обстоятельство, — заявил переводчик. — Мы не можем уехать без пулеметов, присвоенных отрядом Кочубея. Если нам их вернут...

— Что скажешь, Кочубей? — обернулся Боженко к Денису.

— Пулеметы «присвоены» нами в бою, — можете и вы их присвоить с боем обратно. А моему раненому командиру вы ногу присвоили, собачьи доктора? Разрывными пулями стреляете, святые свиньи! Это есть ваш нейтралитет?

Полковник передернулся.

— Наш хирург был у вашего раненого. Он сделал все, что мог.

— Когда мой командир станет вновь на две ноги, он вам сам вернет взятые в бою пулеметы.

— Мы будем ждать их, — отвечал переводчик.

— А я буду вас бить! — заявил батько.

— Мы не уедем без пулеметов.

— Трубку! — крикнул батько, расвирепев, и, взяв трубку полевого телефона, сказал полковнику — Связывайтесь с вашей казармой.

Тот подошел к другому телефону, у которого стоял таращанец на карауле.

— Дать говорить! — махнул батько таращанцу, — Вызывайте свой штаб, — скомандовал он.

Полковник позвонил.

— Хомиченко! — крикнул батько в трубку и подул в нее для важности. Трубка захрипела басистым ответом. — По казарме оккупантов — огонь.

Через три секунды донесся залп и вслед за ним дальний грохот четырех разрывов.

— Что делается в вашем штабе — интересуюсь? — спросил батько.

Лицо полковника перекошилось. Штаб перестал отвечать ему. Полковник крутил ручку телефона, слушал, бледнел, но штаб молчал.

— Могила, и ваших нет! — заметил ему Боженко. — Эшелон вас ждет, поторопитесь. В восемь часов утра я возьму город с боем и никому не дам пощады. Возражений нет? — И, не слушая возражений, батько заявил — Переговоры закрываю.

Он повернулся и пошел к выходу.

Оккупанты погрузились в течение трех часов, в полночь их уже и след простыл. Эшелон этот был пропущен будкой по распоряжению Дениса.

Пашкевич бежал за батьком и требовал у него гарантии личной неприкосновенности. Боженко дал ему двух казаков из своего эскадрона и, плюнув, сказал ему вслед:

— Собаке ж собачья смерть! Завтра будешь землю гноить!..

Партизаны проводили Пашкевича до города, дали ему плетей и отпустили.

ОРУЖИЕ

— Что ж, может, посоветуемся перед боем? — обратился Боженко ко всем. — Где квартира, Назарук? — обратился он к квартирмейстеру эскадрона.

— Чай готов, папаша, — откозырял Назарук и повел людей куда-то в темноту.

Это была казенная квартира одного из станционных сторожей.

На столе паровал уже и свистел пузатый самовар, стол был чисто убран, и на нем лежали бублики и пироги, пахнувшие капустой и чесноком.

— Здравствуйте, хозяин, хозяйюшка, не погневайтесь! — вошел Боженко в хату, приветливо, сколько позволяло его суровое лицо, оглядывая, хозяев.

— Вы не погневайтесь, папаша командир. Давно вас ждем. А Дениса Васильевича, добре знаем, и они, может, нас знают. Здравствуйте, садитесь.

Ребенок потянулся с рук матери-хозяйки к серебряным кистям Боженковой бурки. Батько взял девочку своими трудно гнущимися ладонями и, усадив ее на колени, дал ей поиграть позументом и потеревить ему бороду. Потом погладил ее белесую, как чесаный лен, головку и угостил сахаром из своего кармана. Сахар он держал для коня своего, большого любителя сладостей,

Денис подивился тому, как на то мгновение, пока возился батько с девочкой, разгладились крутые морщины на его лице и исчезла постоянная озабоченность и напряженность в выражении глаз.

Батько любил чай, но чаевничать было некогда, и, попросив хозяйку освободить стол, он достал с важностью свою карту из походной сумки и, разложив ее на столе, обратился к Денису:

— Где имеются ваши войска, товарищ партизанский командир?

Денис нагнулся к карте и, взяв карандаш, провел дугу по четырем радиусам из восьми больших дорог — с юга, со стороны Чернигова, Репок, Добрянки,

Батько достал лупу и нагнулся к карте,

— Сплошные войска? — спросил батько. Численность?

Денис посмотрел, на Черноуса, сидевшего рядом с Боженко, и отвечал:

— Пятьсот бойцов, товарищ Боженко,

— Не больше? Значит, брехала матросня?.. Липа! Вооружение?

— Два пулемета, что отобрали у немцев, четыре ленты к ним, сорок

девять винтовок — по три обоймы, двадцать пять револьверов, полста сабель и ваши бомбы,

— Пятьдесят «лимонов», — подсказал батько и улыбнулся. — А кони есть?

— Имеются.

— Пятьсот винтовок даю. Назарук, отпустить!

— Есть, товарищ отец!

— Отправляй человека, Назарук. Найдешь?

Черноус поднялся и, отойдя с Назаруком в глубь комнаты, что-то нашептывал ему и растолковывал. По успокаивающему взгляду Черноуса Денис понял, что теперь все будет обстоять благополучно.

— Ну ж, какую берешь на себя операцию, товарищ Кочубей? — спрашивал батько, сделавшись торжественнее после такого грандиозного подарка.

— Намерен наступать, товарищ Боженко.

— А у меня есть предложение, товарищ партизанский командир Кочубей: закрыть тебе дороги для отступающих, чтобы ни один гад, ни одна змея шипучая не прошла. А я ударю вот с этой дужки. — И батько, нагнувшись над картой, обвел красным карандашом все остальные радиусы, оставшиеся от недоведенного Денисом круга вокруг осажденного города. — Пойдешь в наступление и ты — тогда гад прошьется. Говорю тебе серьезно: все тропы закрой, чтобы беляк не проскочил. А успеешь ты это дело за ночь?

— Успею, бойцы на местах, — не стал спорить Денис, поняв, что опасно вступать в спор с Боженко, твердо решившим самому ударить на Городню. — Еще, Василий Назарович, здесь имеется четыре большака: шлях Седневский — Черниговский, Добрянский — Гомельский, Тупический — Репнинский и Солоновский. Я полагаю, на каждом шляху для заслона необходим пулемет. У меня их два, мне нужно еще два.

— Возьмешь, товарищ Кочубей. Товарищ Христофор, похлопчи для дела. Твой подшефный отряд просит.

— Похлопochу, Василий Назарович. Интересно послушать все же ваш тактический план. Посоветуемся?

— Что ж, посоветуемся, — согласился Боженко. — Утречком с петухами закричит и мой Хомиченко четырьмя глотками пушек. Пехота обложит город вот по этим ходам-дорогам: вокзал, Бутовка, хутора, Хриповка. Кабула пойдет с левого фланга, а я отсюда прямым шляхом с гвалтом и кавалерией. Вот и вся стратегия. Она — петлюрня — даст сразу на те четыре шляха. Кочубеево дело — кончать их паразитское

существование. Переночуем в городе и опять снимемся в поход. Разведку ведем.

— Мое предложение, Василий Назарович, взять город со всех шляхов одновременно, — сказал Черноус. — Артиллерией города не бить. Беглецов дядьки и тетки кочергами подобивают, но город надо закрыть одновременным наступлением со всех концов по твоему артиллерийскому сигналу.

— Нелзя, товарищ комиссар, такое дело делать: в жару свои своих побьют.

— А я остаюсь при своем мнении. — И Черноус поднялся с места. Боженко засопел.

— Торговались, торговались, винтовки, пулеметы цапнули, а теперь — держи хвист пистолем! Ну, тогда ж я сам обложу все шляхи — и точка.

Черноус посмотрел на часы.

— Не успеешь, Василий Назарович, девять часов вечера, десятый идет. Продвижение, по новому приказу, на неосвоенных местностях в ночное время невозможно. Дай бойцам поспать.

— Сколько, по-твоему, Кочубей, гадов в городе?

— Сверх двух тысяч было позавчера. Говорят, шестьсот ушло на Конотоп у нас с тобой из-под носа. Оккупанты не в счет.

— А я имею до пяти тысяч бойцов, — загнул батько палец на руке. — У них нет артиллерии — я ее имею; у них нет маневренности — я ее имею.

— Она будет у них, если Кочубей не будет наступать и даст им выход в поле. Не забывай, зима глубокая, снежок посыпает так, что ты за пять минут след потеряешь. Не спорь, отец, и веди в наступление свои части, как распланировал до этого, а как мы распланируем с Кочубеем, то не беспокойся, — ответил Черноус и надел шапку. — Я местность осмотрел сам.

Седая голова батька нагнулась над картой.

— Не успеет же Кочубей, — привел он последний свой довод.

— Люди у него на местах. Дай еще пятьсот винтовок, успеет и этих вооружить.

— Ну, на еще пятьсот винтовок! — отрезал батько. — И, великодушно извиняюсь, пора идти.

Он накинул бурку. Видно было, что у него созрел какой-то неожиданный и тайный план.

Вскочив в седло, он махнул плеткой и крикнул:

— Встретимся завтра в городе, товарищ Христофор, тогда и покончим спор. Прощай, товарищ Кочубей. Послушайся ты моего совета: обложи

шляхи!

Снежная пыль вихрем закружилась за ускакавшим стариком.

— Ты знаешь, что он будет теперь делать? — спросил Черноус Дениса.

— Знаю: подымет людей на ноги и попробует занять все шляхи. Только его дело не выйдет, ему не успеть. А я успею. Дай оружие, товарищ Христофор, — обратился Денис к скакавшему рядом с ним Черноусу.

— Бой он откроет до света, это заметь, — смеясь, сказал Черноус. — Ну, зато ж и бой будет!.. Эх, Денис, и боёк будет, что надо!..

Денис сам уже улыбался в темноте. «Дождались!» — радостно думал он.

А между тем батько говорил скачущему рядом с ним комбату Кабуле (летели они вихрем, так что десять всадников постоянного батькиного эскорта не поспевали за ними и срывались в галоп):

— Не прощу ж я Черноусу этих штук! Снюхался с партизаньем. Ну ж я им покажу, бисовым дитяам, бою... Я ж им покажу бою!.. Подымай людей, гони по всем шляхам. К двум часам ночи наступаем, и дыму нет, товарищ комбат.

«Ну, посоревнуемся, кто быстрее на врага ударит», — думал батько.

Через полчаса по всем селам, занятым таращанцами, будили людей без сигнала к подъему. Восемь рот таращанцев окружили город...

А Денис с Черноусом между тем отгружали уже винтовки. Маршрут доставки оружия был заранее обдуман.

Две тысячи вооруженных бойцов, изголодавшихся по оружию и в восторге целующих полученные винтовки, две тысячи таких бойцов — уже есть армия.

— Коней бы и сабель, — мечтал Денис, укладывая патронные ящики в сани, и шептал Черноусу: — Сотню сабель, Черноус, хоть сотню сабель!

— Ну где их взять, сабель?

— Да целые сани вон сабель в запас нагружено, — кивнул им и повел Дениса Черноусов земляк, семеновский сапожник, помогавший в укладке оружия.

— Запрягай в те сани моего! — приказал Денис.

И Христофор, усевшись в Денисовы, сани, повел за собою прямо на Дроздовицу обоз. С ним сел провожатый, один из отставших обозчиков.

Денис был озабочен теперь конями.

Кроме того, он решил проверить и готовность отрядов по самому западному сектору.

По пути лежали всё кулацкие села.

У Дениса было два часа чистого времени до полуночи.

Черноус через час будет на месте, в штабе, предупредит Петра обо всем. О том, чтобы спать в эту ночь, не приходилось и думать.

Денис в сопровождении своего ординарца Васьки Сукача, который прискакал вслед за ним и привел подседланную Денисову лошадь, быстроходную кобылицу Гретхен, взятую им недавно из немецкой конюшни, поскакал в кулацкие села — конфисковать лошадей.

...Денис и Сукач пригнали в Дроздовицу к первому часу ночи две сотни коней, конфискованных у кулачья по пути.

В ГОРОДНЕ

В пять часов утра батько бросился на город со стороны вокзала, выбросив вперед свою артиллерию.

Но он не знал, что еще по четырем столь же широким дорогам на город бросилась не существовавшая еще два часа тому назад кавалерия Кочубея, бойцы которой в половинном своем составе имели только шашки (револьверов и винтовок у них вовсе не было: их получила пехота, обложившая шляхи).

И когда войска генерала Иванова, Семенова и офицеры-гайдамаки Пашкевича, ожидавшие удара лишь с двух сторон — со стороны вокзала и со стороны Дроздовицы (по Добрянскому шляху), сломленные неистовым движением Боженковой конницы, расчищавшей себе дорогу артиллерийским ударом, бросились по остальным направлениям вон из города врассыпную, они попали под сокрушительный удар столь же неистово рвавшейся по всем этим не защищенным ими направлениям партизанской конницы и шедшей вслед за ней Кочубеевой пехоты.

Пехоте уже нечего было делать, как только достреливать и докалывать недорубленных, бегущих врассыпную гайдамаков.

Две тысячи гайдамаков были уничтожены в течение одного часа.

Батько Боженко, мчась карьером, съехался на мосту с Денисом и, хоть и рассерженный ослушанием партизан, приветствовал Дениса и поздравил с победой.

Чтобы вымести город начисто, понадобился целый день. К вечеру все гайдамаки-петлюровцы были уничтожены. Пленных было всего человек двести — триста.

Земля обагрилась вражьей кровью, и падающий снег не мог ее скрыть, она проступала всюду.

Так как в округе еще происходили бои и город был на военном положении, власть и инициатива были в руках Боженко, объявившего себя начальником гарнизона.

Боженко занят был приготовлениями к походу и тяжбой из-за взятых трофеев (а их было немало) с партизанами, взявшими больше сотни пулеметов, в то время как трофеи Боженко выражались лишь в десяти пулеметах и одном брошенном немцами орудии, поврежденном Хомиченковым ударом.

Боженко тянул с созывом собрания для назначения ревкома. Он был пока хозяином положения и мог просто приказать Денису сдать ему все пулеметы.

Он еще колебался, подыскивая дипломатическую формулировку для присвоения трофейных пулеметов. Однако Черноусу удалось убедить батьку созвать собрание безотлагательно, к трем часам.

Первым взял слово Петро Кочубей. Он заявил, что уполномочен, как председатель бывшего подпольного, а сейчас вышедшего из подполья Черниговского губкома партии, приветствовать в лице героического командира славного Таращанского полка прямого освободителя занятой теперь объединенными большевистскими частями городнянской территории. Комитет объявляет, что он впредь будет политически корректировать все происходящее на территории уезда. В знак признания заслуг полка и его командира партизаны дарят полку свое партизанское знамя, окропленное героической кровью погибших товарищей, под которое и становятся полторы тысячи человек.

Батько, тронутый, встал и принял из рук Петра Кочубея знамя, шепотом спросил при этом Черноуса:

— А сколько же в кочубеевском отряде бойцов? Что ж они не всех мне отдают?

Черноус громким шепотом отвечал батьку:

— Ты не один, товарищ Боженко. Есть еще на свете дивизия: Щорс, и Черняк, и Гребенко. Бойцы кочубеевского отряда отдают себя в распоряжение Первой Украинской дивизии в целом. Ты получаешь львиную долю, да еще и с подпольным их славным боевым знаменем. Чего тебе еще?

Батько попросил слова для ответа и произнес замечательную речь.

Он сказал:

— Товарищи и братья мои любимые, бойцы, партизаны, встречаюсь я с героизмом и щиростью, на которую гляжу я, как будто гляжу в светлое озеро.

Казалось, слезы навернулись на его глаза, скрытые тяжелыми веками и длинными ресницами. Батько засопел и, сделав невольную паузу, заставил всех взволнованно встать с мест.

— Если бы видел вас Ленин, сынки, то, верно, и он полюбил бы вас за вашу прямооту в слове и твердость в деле, в отваге и в рассудке. Желая вам и впредь быть такими, развиваться, крепнуть и расти политически и закрепить коммунию (он так и сказал — «коммунию») по всему свету— аж за Карпаты, бо ж мы большевики, а большевики не отступают. Имею я к

вам скромные подарки, которые и объявляю приказом, а сейчас дарю: братьям Кочубеям, боевым руководителям и командирам партизанским, маузер и саблю.

Он сделал знак, и ему передали поднесенную утром, снятую с Пашкевича, саблю. Он подвязал ее Денису, а свой маузер вручил Петру. В ревком были избраны оба Кочубея, так как военный совет считал, что тыл должен быть обеспечен надежными людьми, хоть Денис и упрямылся против его избрания, стремясь на фронт вместе со всеми.

ЧАЕПИТИЕ У БАТЬКА БОЖЕНКО

У батька Боженко, как и у всякого человека, была своя мечта. Не о вишневом садике, хотя в конечном счете батько мечтал и о пасеке и садике и любил даже произносить шевченковские строчки: «Хруци над вишнями гудуть». Прежде всего батько мечтал о победе революции, и не иначе как в мировом масштабе. Он мечтал о походе на Западную Украину, на вызволение братьев-галичан от белополяков, посягавших на Прикарпатье. И в эти часы там действительно шло восстание. Он мечтал об этом со страстностью, на какую только способен человек с пламенным революционным темпераментом.

Батько верил в свое особое боевое избранничество и в свою роль в великой борьбе так, как верил в это каждый, кровно чувствующий свою принадлежность к угнетенному классу и борющийся с классом угнетателей не на жизнь, а на смерть.

— Наш папаша есть чистый пролетарий, — говорил про него командир батареи Хомиченко, а с ним вместе и остальные бойцы.

Этот пролетарий был величав своей беззаветной храбростью и чистотой. Капризы батька рождались от его непосредственности и бесхитростности.

«Хитрости его маленькие», — как говорил Черноус, то есть они были всегда видны как на ладони, и поэтому хитростями их приходилось считать лишь условно. Такою хитростью было знаменитое предложение Денису накануне боя за Городню.

Батько ненавидел контрреволюционеров и буржуев ненавистью беспредельной. Он хотел, чтобы изгоняемые с Украины немцы-оккупанты тоже увезли хорошие и памятные ссадины, еще более памятные, чем те, что они оставили своими шомполами на спинах беззащитного мирного населения оккупированной Украины. Этим его настроением очень был озабочен Черноус, специально прикомандированный к нему дивизией для особого надзора за батькиной «манией», хоть ему и было поручено многое другое: связь с партизанами на местах, вовлечение их в регулярные части, руководство по оформлению власти на местах и прочее, почему и назывался он «полевой комиссар».

Боженко был дан маршрут идти проселками, где он в эту минуту меньше всего мог встретиться с оккупантами. Но батько отклонялся обязательно в сторону железнодорожных магистралей.

Если сказать по правде, больше всего подкупало батька в действиях кочубеевских отрядов, несмотря на разногласия по поводу боевых планов, то, что партизаны едва не голыми руками разгромили вооруженных до зубов оккупантов, побили их, опозорили и заставили «ползать на коленях», выпрашивая обратно отданные в жестоком бою пулеметы.

«Позор оккупации и слава партизанам», — велел выгравировать батько на рукоятке маузера, подаренного им сегодня Петру Кочубею, руководившему боем с оккупантами в Дроздовице.

Батько был уверен, устраивая чаепитие, что он договорится с Кочубеями относительно изменения маршрута и в случае чего моргнет в сторону партизан: это, дескать, их партизанское дело.

Кроме того, батько хотел получить от Дениса взятые им в городе сто пять пулеметов или хотя бы половину.

Батько не пригласил Черноуса, хоть и знал, что тот все равно придет сам. Батько хотел выиграть время, пока он явится, и поэтому приступил к делу сразу, как только вышли на улицу, чтобы отправиться к нему на квартиру.

— При тысяче бойцов сколько у вас полагается пулеметов? — прямо спросил он Петра, намекая на только что переданные ему полторы тысячи бойцов.

— Тридцать пять пулеметов, отец, — отвечал Петро.

— Сорок, — поправил Денис, — плюс два, которые я у вас взял перед боем, товарищ Боженко.

— Чистая математика, — довольно улыбнулся батько. — Ну ладно, сынки. Теперь пойдет дело вот какое... Послушай, Кабула, — обратился он к шагавшему рядом своему комбату, — а кто же у нас проверит караулы?

— Слушаюсь, товарищ командир, — откозырял Кабула, отлично понимавший, что у батька имеется конфиденциальный разговор с Кочубеями. — Я потом подойду, — кивнул он Кочубеям,

— Ходи, ходи!.. — махнул ему батько рукой. — Ну, дело, сынки, почти секретное. Не подумайте чего дурного, от партии секретов у меня нет, — прибавил он тут же. — Вы мне оба нравитесь, я вас люблю, но особенно у меня есть любовь к вам за те два пулемета немецких, что взяли вы голыми руками, и за прочее по оккупантскому «нейтралитету». Не должны мы отпустить их, собак, с нашим маслом, салом и крупой, — то позорно будет нам. Какое ваше мнение, сынки? А?.. Вот и пришли. Шумигай, распорядись чайком да яишной там и прочее — все понятно. Ну, садитесь, гости дорогие, молодые хозяины мои, садитесь, — хлопнул он по табурету. — Ну, как твое мнение попервоначалу, товарищ губсекретарь и предревком? — обратился

он прежде всего к Петру.

— Видишь, батьку, ты прав, но я думаю, что у штаба армии есть свой план операции и вмешиваться нам — ревкому — в этот план теперь не годится.

— А ты, Денис? Твое какое слово будет, сынок? — с надеждой поглядел Боженко на Дениса.

— Я выражусь несколько свободнее, — заявил Денис, — но бить оккупантов надо не тебе, а мне.

— Как так? Новое дело! — всполошился батько. — Вот загвоздка!

— Нет, без загвоздки. Ты регулярная единица дивизии, и у тебя строго начертанный план операции и маршрут. Куда твой маршрут? На Чернигов? А там — до Киева оккупантов не увидишь. Да дел тебе еще хватит и без того: два Паляя, Балбачан, Петлюра и прочие атаманчики. А вот я, имея при ревкоме две тысячи человек гарнизона и находясь на магистрали их движения да имея с ними конфликт... — Денис полез в карман за документом, но батько махнул рукой.

— Знаю, не доставай, про ранение матроса знаю...

— Вот я с этим самым документом и буду орудовать.

Но тут Денис понял, что зря похвастался перед батьком. Петро сильно надавил ему ногу под столом, но уже было поздно. Батько расхотелся не на шутку. Он взволнованно зашагал по комнате.

— Опять ты мне — поперек двора бревно! Молодо ты, зелено. Завтра-послезавтра тут Щорс будет, письмо имею, вот он и пойдет на Чернигов. А я по зализнице^[18] по прямой линии на Конотоп. Тут они от меня не уйдут. Вот и размилое дело. Эх ты, Денис, Денис! Давай мне людей и пулеметы и иное прочее и становись под мою команду. Черт с нею, со славою моею; ненависть моя больше того! Пойдем, беру тебя с собою, а оккупантов изничтожим в прах, чтоб им, проклятым, пусто было!..

Денис увидел, что допустил непоправимую ошибку. Петро укоризненно глядел на него, щуря сквозь очки близорукие глаза.

— Пейте чаек, сынки, ешьте яичницу. Вы, верно, еще после боя не ели.

— Давай подьедим, папаша. Да ты не волнуйся, мы к завтраму это дело обмозгуем. Я тебе завтра дам ответ, — заявил Денис, принимаясь за еду.

В это время вошли Черноус и Кабула.

— Я только что с прямого провода, папаша, — сказал Черноус, разматывая телеграфную ленту и дразня ею батька, как котенка. — С дивизией говорил — с Храпивницким, есть для тебя новости.

— Гм... новости? — оживился батько. — Ну, докладай!

— Да ты что ж нас чаем не угощаешь? — потянулся Черноус озябшими руками к парующему на столе самовару. — Утихомирся. Сейчас доложу, новости интересные. И с Николаем говорил.

— Со Щорсом? Ну, докладывай, докладывай! — торопил батько, пододвигая Черноусу закуски и усаживаясь напротив него. — Ты как Щорса нашел? Три дня связи с ним не имею. Где запропал? Что с богунцами? Ну ж, докладывай. Брось ты жевать колбасу, ради Христа, Христофор.

— Видишь, вот и Христа помянул даже, антихрист ты мой распроклятый. Ну, слушай, папаша. Ладно уж, брошу колбасу, — улыбался Черноус. — Есть изменение в маршруте, и все в твою пользу. Маршрут твой меняется. Щорс идет на Чернигов, завтра будет здесь или послезавтра. Домой погостить заехал, в Сновск. Ты когда способен двигаться, Василий Назарович?

— Я? — оглянулся Боженко на своего комбата. — Да хоть сейчас. Все у нас в порядке, товарищ комбат? Звать командиров!

— Да постой, постой, не торопись ты так. Дай людям хоть ночь передохнуть.

— Ну, не тьяни, Христофор. Куды мое направление? — нервничал батько, предчувствуя, что мечта его, по-видимому, сбылась — и маршрут его будет, как он того хотел и о чем доносил начдиву Храпивницкому и писал Щорсу, по железнодорожной линии поскорее к Киеву.

— Ты Храпивницкому писал? — спросил Черноус. — На меня жаловался?

— Ругал я тебя, а не жаловался, — отрезал, насупясь, Василий Назарович, запихивая в рот большой кусок рождественской колбасы и мгновенно обретая потерянный было аппетит. — Ну и что ж, что ругал? Я тебя и так ругаю. Да говори ж ты наконец! Скажешь ты чи нет?

— Есть приказ тебе с таращанцами направиться на Сосницу — Борзну — Круты, на соединение с Черняком, идущим через Кролевец — Конотоп — Бахмач — Плиски. В Плисках встретиться тебе с ним и идти на Киев через Круты. В Нежине связаться с матросом Наумом Точеным и его партизанами и ждать Щорса. Вот план. Маневренность развивать победоносную надо. Никаких задержек на пути. Строжайший приказ. Слышь, Василий Назарович?

Но Боженко его уже не слушал.

— Ну, а что ж Николай? Как он там? Как его здоровье?..

Спрашивая о Щорсе, Боженко сразу изменился, лицо его приняло ласковое выражение.

— Ничего, здоров. Что с Щорсом делается!

Тут Черноус обернулся на большую картину: во всю стену висело панно с великолепной копией васнецовских богатырей. Черноус ткнул пальцем в богатырей по очереди:

— Илья Муромец— это ты, Василий Назарович. Добрыня Никитич — это Щорс со своей русой бородкой, это наш любимый Николай Александрович. А ты, — лукаво взглянул он на Кочубея, — может, когда-нибудь в Алеши Поповичи выйдешь... Не так ли? Ты читал былины, отец?

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

Батько спал с прихрапцем. Батько спал, и снилось ему, что едут богатыри, которых он видел, засыпая, — и уже тысячи едут Муромцев, и тысячи Алешей Поповичей, и тысячи Добрыней Никитичей, и тащат они за хвост огромного Змея-Горыныча, и превращается Змей-Горыныч в железный танк. И папаша ворочается, и хочется ему посмотреть — с какого боку приладиться, чтобы его ковырнуть, и сколько в нем пушек и сколько колес. Но так густа армия богатырей — и все идет и идет, что не пробраться папаше к танку, и кричит тогда батько на них зычным голосом, поднимая плетку:

— Расступись! Да что ж это вы, собачьи дети, не узнаете отца своего — Василия Назаровича Боженко!

И от собственного зычного голоса просыпается батько и видит перед собою живого Щорса.

Николай Александрович стоит перед ним и смотрит на него лучистым своим взором, и русая бородка его светится от лампы. И как-то стоит он так, что заслоняет собой на висящей за ним картине Добрыню Никитича. И думает батько, не разобравши спросонья и протирая кулаками глаза, что снится ему еще сон и что только мерещится ему Щорс вместо Добрыни Никитича, по слову Черноуса. Батько, не веря глазам своим, опять падает на диван, махнув рукой на живого Щорса, и, для того чтобы убедить себя и отогнать сонную иллюзию, говорит:

— Ведь как же действительно приходится: похож Щорс на Добрыню Никитича! То есть до чего похож!

Тогда Щорс начинает хохотать. И хохочет долго, заливчато и так громко, что батько, разбуженный этим хохотом, наконец окончательно просыпаемся и видит, что и Кабула стоит у дверей и тоже хохочет.

— Постой!.. Вот чертовщина какая! Этого не может быть! Да, Николай! Да это же того, знаешь, быть того не может, чтоб это действительно был ты!..

— Да я, вот именно, что это я, Василий Назарович! Пришел тебе на смену.

А Черноус, едучи меж двух Кочубеев чистым снежным морозным полем, дышал полной грудью и тоже был счастлив. Ему почему-то казалось, что он отец, а эти самые Кочубеи его сыновья, и геройские

сыновья. Он так и звал их «дети мои» (хоть в отцы и не годился, по выражению батька, а только «в дяди»).

— И вот, дети мои, — говорил Черноус нараспев, — первое дело сделано, и сделано на славу. И слава ваша записана на вашем боевом оружии.

Оба Кочубея втихомолку улыбались в заиндевелые башлыки, но улыбались по-хорошему этой, Черноусовой манере «восчувствовать», как острил Денис, делясь своими впечатлениями с Петром.

— Только вот какая у меня заботишка, и вот почему я навязался с вами, хоть и домашних ваших — папашу-мамашу — мне страсть как хочется еще раз повидать...

Денис насторожился. Он уже знал, о чем поведет сейчас речь Черноус.

— Так вот, Денис, ты все-таки «с папашей» в заговоре состоишь, так я полагаю.

— Это ты про оккупантов, что ли, товарищ Христофор? — спрашивал Денис с небрежным видом.

— Угу, про них, — раскуривая трубочку, осадил немного коня Черноус.

Братья тоже придержали лошадей и закурили.

— Я нарочно ускакал вперед от ребят, — оглянулся кругом Черноус, прислушиваясь к дальнему топоту отставших всадников партизанского эскорта. — Надо поговорить. Ну, так как ты? А?

— Я тебе скажу — никак. Если оккупанты будут идти без обоза, без барахла — пусть идут. Но грабительскому обозу ходу нет, — отвечал Денис. — Мы не пропустим, нам самим провиант нужен. Довольно кормились, паразиты. Их бы без штанов надо пустить. И чего ты за них беспокоишься?

Черноус услышал в голосе Дениса гневную, непокорную нотку.

— Не за них я беспокоюсь... А в точности знаю, какую силою двинутся эти эшелоны. Они сквозь Махно пробирались. Бронированные, пойми ты это. А у нас и артиллерии нет. А кроме того, мы не можем рассредоточивать удар, который полагается Петлюре. Людьюми бросаться нельзя. Борьба с уходящими оккупантами сейчас роскошь, и ее следует квалифицировать как авантюризм — вот наша точка зрения, и, заметь, официальная.

— Ты очень богат, Черноус, принципиальностью, но не пронциательностью. Принципиальность в нашем деле нужна — это я согласен, но есть и другая принципиальность, о которой говорю я: хлеба нашего они не повезут!

— А проницательность? — спрашивал лукаво Черноус.

— А проницательность — будущее: без нашего веского «наставления» не дойдут они у себя на родине до доброго дела. Так пусть это будет для них уроком.

— А если будет осечка, Денис, что тогда?

— Мало тебе нашего дроздовицкого примера? Подведи баланс, займись математикой. Шесть тысяч таких бойцов и с таким вооружением, какое сейчас у нас, — несокрушимая сила, хотя бы и против танков, а не то что бронированных эшелонов. Они — нуль на двух рельсах.

— Значит, будем бить, Денис? — вдруг расхохотавшись перед удивленным Денисом, весело закричал Черноус.

— Будем бить, Христофор, — отвечал Петро.

Денис сердился, что Черноус, видно, морочил его.

— Ах вы, детвора вы моя распрекрасная! Ну что ж, значит, будем бить. Да ты не дуйся на меня, Денисок-Денисок. Проверку делал.

— А где ж они, эшелоны твои? Уж ты не увез ли нас нарочно? — вдруг остановил коня Денис и грозно поглядел на Черноуса. — И не этому ли ты смеешься, мистификатор разнесчастный? Стой! Говори по правде, Черноус, не ври.

— Да что ты, с ума сошел! — кричал Черноус, теснимый расвирепевшим Денисом. — Я еще не дошел до того, чтобы с сыновьями своими хитрить! Успокойся, пожалуйста. — Он повернул Денисова коня назад. — Не баламуть. Ну, слушай доклад: оккупанты еще в Полтаве и в Киеве и лишь завтра к вечеру будут в Конотопе. За движением их строго следим.

— Ну, гляди, не подведи, — неохотно сказал Денис и скомандовал: — Остепенись! Песню!.. Дай коням остыть!

И в морозной ночи, как сталь в серебро, зазвенели свист и песня:

Ой, на го-ори тай женци жнуть...

ШПИОН

Назавтра вечером, когда Щорс, Кочубеи и Черноус сходили с крыльца штаба, слева от них раздался револьверный выстрел. Они оглянулись и увидели знакомую батькину бурку.

Это был широкий двор бывшей гетманской варты. Слева были конюшни. Там, у конюшен, стояли, сгрудившись, таращанцы, и от этой группы отходил теперь батько, засовывая в кобуру свой еще дымящийся кольт. Было ясно, что только что раздавшийся выстрел был произведен им. Батько шел навстречу, сурово насупившись.

— Что случилось, Василий Назарович? — спросил Щорс, в то время как Денис направился к группе.

— Вбив шпиёна, — ответил батько.

— Неживой — прямо в сердце. У папаши рука твердая, — встретили Дениса объяснением таращанцы, среди которых были и Денисовы партизаны.

И Денис увидел лежавшего, раскинувши руки, долговязого парня с длинной шеей, которого он видел, как вели его во двор под караулом полчаса тому назад. Парень лежал без движения. Черноус приказал партизанам:

— Уберите!

— Не трогать! — крикнул Боженко, услышав распоряжение Черноуса:

— Говорю тебе, отец, ты не в бою — и расстреливать врага надо по суду и закону, — тихо, чтобы никто из бойцов не слышал, но очень твердо сказал Черноус нахмурившемуся Боженко.

— Черноус совершенно прав, — сказал Щорс, — функции революционного суда должны быть строго определены, иначе мы будем представлять собою не власть, а анархию, и не армию, а партизанщину. Что это за способ: шпиона, перебежчика без допроса и без суда саморучно пристрелить? Уважаемый и дорогой Василий Назарович, это никуда не годится.

— Угу, — ворчал Боженко. — Ну ведь шпион же, собака. Я его- послал в разведку, гадюку, а он продался и обо всем маневре нашем — где что — гайдамакам рассказал. И пусть его собаки и поедят.

Снег поскрипывал под ногами, светил полный месяц,

— И ты, Денисок, — сказал, помолчав, батько ласково, — не сердись. Так надо. Верь старому — надо, Я знаю. Я ж не без понятия. Вот уйду

завтра — вспомнешь старика и пожалеешь.

Денис молчал. Батько оглядел его искоса и, улыбнувшись, ударил по плечу волосатой крепкой рукой.

— Братишечки ж вы мои великодушные! Как же я вас люблю, и все нас любят, и народ за нами пойдет, и пойдем мы и завоюем свободу:

Голос его от волнения, пресекся. Батько кашлянул и замолчал, как будто этим вдруг все уже навсегда было высказано и соединила его со всем миром трудящихся великая нерушимая клятва о родстве, любви и борьбе,

Батько достал трубочку и стал кремнем высекать огниво, привыкши не доверять спячкам во время вьюги, Денис чиркнул спичку и поднес батьку. Тот, заслоня спичку от ветра, прикурил, и Денис увидел замечательное батькино око, покосившееся на него. Что-то было в этом взгляде, напоминавшее провинившегося ребенка, И хоть полюбил он уже батька раньше, но теперь только увидел он, что за чудесное человеческое существо был этот неистовый, героический, суровый человек. Денис не мог не улыбнуться этому покосившемуся на него оку, Улыбнулся и батько.

Здание летнего театра, переименованное в Народный дом, не могло вместить желавших послушать речи командиров и ревкомовцев, тем более что приглашались на митинг и жители города. Поэтому, изобретательный народ, бойцы решили вынуть окна, сообразив, что, несмотря на двадцатиградусный мороз, в Нардоме достаточно будет тепло от человеческого дыхания. Зато слушать сможет и народ, собравшийся на площади. Проезжавшие кавалеристы тоже остановились, услышав играющую в доме гармонь, и этот строй всадников создал как бы своеобразный «бельэтаж», с которого им было виднее и слышнее, чем пешим.

Кто-то увидел приближающихся командиров.

— Во фронт, ребята! Щорс с папашею идут!

— Идут, идут! — пронеслось через открытые окна внутрь театра. И в театре все зашевелились, и гармошка смолкла.

Услышав слово «идут», комендант ревкома Касьян Левкович, красовавшийся на сцене в синих галифе, в красных дамских чулках и желтых американских ботинках, да сверх всего в каком-то зеленом, не сходящемся на крутой груди чиновничьем вицмундире губернаторского ведомства, с золотыми пуговицами, вспрыгнул на рампу и стал поправлять огонь в коптивших керосиновых Лампах-«молниях».

Подняв предваряюще вверх лейтенантский кортик и крикнув: «Граждане, приказываю тише! Командиры идут. Сейчас откроется

митинг», — Левкович спрыгнул со сцены, дав место вошедшим командирам.

Первым взошел на эстраду Боженко. Он широко расставил ноги, как матрос на палубе в качку, поправил шапку на голове и оружие на поясе и сказал, как будто размышляя вслух:

— Граждане и обыватели, великодушно извиняюсь, что произошел бой, но если эту сволочь не уничтожить, то она опять возникнет. — Батько развел руками и, выдержав паузу, сошел с эстрады.

Вслед за ним выступил Денис Кочубей. Он сказал:

— Товарищи, над нами сегодня — небо социализма и звезды коммуны. На некоторых шапках я вижу красные звезды. Их не хватило, видно, на всех в сегодняшнюю ночь — на всех тех, кто видит уже сейчас ясное небо коммуны. Нас больше, чем звезд на небе, и мы — миллионы освобожденных трудящихся людей — бессмертны. Никто из нас не боится смерти, потому что мы полны бессмертной творческой любви к прекрасной жизни среди свободы и презираем угнетение. Вчера здесь хозяйничали насильники, угнетатели и паразиты. Вы видели сегодня утром их собачью смерть, а к вечеру даже на снегу не осталось следа их гнусной крови. Чистый снег убрал белой скатертью город — исторический с сегодняшнего дня город, — как дом, приветливо встречающий дорогих гостей — геройских таранцев и богунцев, под знамена которых переходят сегодня партизаны.

БОИ НА «ЗАЛИЗНИЦЕ»

Боженко недолго пришлось ждать боя с оккупантами: он состоялся назавтра.

Батько недаром поторопился выступить из Городни: разведка доносила ему, что неприятельские эшелоны стоят на станциях Мена и Низковка и договариваются со Сновском о получении новых паровозов из депо.

Батько послал Ничипоренко, бывшего рабочего сновского депо, а теперь таращанского командира, в Сновск с заданием воспрепятствовать выдаче паровозов из депо и задержать там неприятельские эшелоны. Он решил окружить их в Сновске и разоружить без боя.

Расчет батька заключался главным образом в том, чтобы лишить оккупантов возможности в открытом поле пустить в ход дальнобойную артиллерию бронепоезда. Поэтому он погрузил Кабулу с его многочисленным и хорошо вышколенным боевым батальоном (в три тысячи человек) в эшелон и приказал ему высадиться в Сновске, окружить вражеский эшелон и взять его без боя или во всяком случае с малыми потерями.

От Городни до Сновска было около двадцати пяти километров. И Кабула, промчавшись сквозь Сновск и не найдя там оккупантов, по собственной инициативе, руководимый боевым азартом и инерцией, домчался до следующей станции— Низковки, надеясь захватить неприятеля, но на пятом километре разъехался с оккупантскими эшелонами, мчавшимися под уклон, к Сновску.

В Сновске оккупанты не задержались, они решили добраться до Городни.

Кабула очутился в нелепом положении. Не имея возможности развернуться с эшелонами в пути и пуститься вдогонку неприятелю, он вынужден был доехать до Низковки, чтобы переманеврировать направление состава. Пока он в Низковке маневрировал на путях, немцы проскочили без остановки Сновск и приближались к разъезду Камка, что между Сновском и Городней, к которому в это время пешим маршем подходил уже Боженко — двойною, разбросанною по обеим сторонам пути цепью с остальной половиною своего возросшего почти до шести тысяч штыков полка. При нем было свыше трех тысяч пехоты и шестьсот сабельных клинков, да еще артиллерия Хомиченко.

Взрывать путь было уже поздно, и Боженко, заметив неприятельские

эшелоны по золотым орлам на черных знаменах, высунутых из бойниц броневиков, бросил на кинжальный удар свою артиллерию и принял неприятеля артиллерийским ударом — на картечь.

Пехотные цепи тем временем сжимались вокруг остановившихся эшелонов, кавалерия отъехала в прикрытие за холм, на котором стоял в развевающейся бурке сам батько, отдавая приказания.

Немцы открыли стрельбу из двадцати разнокалиберных орудий, в том числе из дальнобойных, и стали косить пулеметами надвигавшиеся цепи таращанцев. Потом под прикрытием пулеметного ливня и артиллерии пошли колоннами в атаку.

Положение для батька становилось невыносимым: неприятельская колонна, разорвав цепи, обходила таращанцев с тылу. Тогда батько отчаянным маневром бросил всю кавалерию во фланг немецкой колонне, попав под прямой удар артиллерии и пулеметов.

Под батьком осколком снаряда убило коня, другим осколком разорвало бурку, но он сам не был даже контужен.

К этому времени подоспел Кабула и ударил с тылу. Своим неожиданным появлением и отчаянным натиском врукопашную он вызвал среди оккупантов полную панику.

Немцы поняли, что они окружены многочисленными и все прибывающими частями. Единственным выходом для них являлась отчаянная попытка к бегству, и, несмотря на то, что путь впереди мог быть минирован, они все же решились. И двум эшелонам с неповрежденными паровозами удалось прорваться до Городни.

На поле боя осталось не меньше тысячи убитых, из которых половину составляли таращанцы. Немцы в оставшихся эшелонах сделали еще одну попытку пойти в контратаку, чтобы подобрать своих раненых, но вынуждены были выбросить белое знамя. И Кабула взял два эшелона в плен.

Батько же, увидев уходящие эшелоны, вскочил на первую попавшуюся лошадь, оставшуюся от убитого всадника, и помчался со своей кавалерией наперерез уходящим немцам по кратчайшему пути до Городни.

Но, доскакав до Городни, он понял бесцельность своей попытки. Он повернул коня, передал командование эскадроном Калинину и полетел в город. Он предстал в растерзанном виде перед большим собранием ревкома, на котором присутствовали и представители армии, только что прибывшие из Гомеля.

И без того расстроенный, он был еще более огорчен, увидев в числе собравшихся представителей дивизии, штаба армии и даже Украинского

правительства.

Батько сорвал с себя разорванную осколком снаряда, обожженную бурку, бросил на пол и, топчя ее, в чрезвычайном возбуждении крикнул:

— Дайте подмогу — не выпущу ни одного живого оккупанта с Украины!

— Успокойся, товарищ Боженко, эшелоны задержаны на станции Городня, — сказали ему, — но ты подмоги не получишь и дашь собранию немедленно свои объяснения.

— Какие объяснения? — кричал батько. — Дадите ли вы мне людей, я вас спрашиваю? Где Щорс? Где Кочубей? Я не окончил боя и не дам объяснений до его окончания... — И батько бросился к двери.

Ему навстречу шел Петро, и батько, суровый батько, обнял его, потряс за плечи, разрыдался, крича:

— Дай хлопцев, бо tych я загубив.

Петро понял, что Боженко нуждается в разрядке потрясенных чувств и что задерживать его не нужно, и, выйдя с ним, сказал:

— Успокойся, батько, твои потери меньше, чем тебе представляется. Оккупантов мы дальше не пустили и не пустим. Шорс окружил их, пути разобраны, и дальше они не пойдут, — я сейчас с вокзала. Имеем донесение от Кабулы, что два последних эшелона сдались в плен и обезоружены им. Отправляйся к своему полку, а вслед тебе мы завтра же пошлем пополнение.

Грузный батько легко вскочил в седло и помчался обратно, сопровождаемый своими всадниками.

И уже на завтра стало известно, с какой невероятной быстротой батько занял и Сосницу и Борзну. А через день приехал посланец за обещанным пополнением, которое и было дано.

ОККУПАНТЫ БЕГУТ

— Но что же было в Городне?

К моменту выступления батька в поход в Городню приехали представители штаба дивизии. Командование было обрадовано боевой удачей — взятием Городни, являвшейся сильным заслоном по пути на Чернигов и на Киев. Уступая просьбам Боженко о переводе его на железнодорожную линию, командование было озабочено возможностью столкновения полков с последними уходящими оккупантами. Но представители командования опоздали на несколько часов, в течение которых и разыгрался бой.

Только что открыли заседание, и представитель штаба дивизии, узнав о выступлении Боженко, заявил, что в помощь ему должны быть немедленно выдвинуты все имеющиеся силы и что если уж нельзя этому столкновению помешать, то надобно сделать попытку задержать нарушивших условие о нейтралитете оккупантов в Городне во что бы то ни стало, не допуская их до Гомеля.

Богунский полк, при поддержке кавалерии Кочубея, был немедленно выдвинут к линии железной дороги.

А Щорс и без того заранее учитывал все возможные последствия батькиного похода по «зализнице».

Лишь только батько двинулся в поход по «зализнице», Щорс, посоветовавшись с военно-революционным советом в Городне, решил: если «железные эшелоны» после столкновения с Боженко прорвутся к Городне, дальше их не пускать и, как он выражался, «распропагандировать».

Кочубей приказал подрывной команде по железнодорожной линии быть готовой к действию и в трех условных местах между Городней и Хоробичами разобрать путь.

Богунцы, в составе половины полка подошедшие к вокзалу, были введены в город и поставлены на отдых. Первая же, прибывшая еще утром с эшелоном, половина полка была выдвинута к вокзалу и, услышав отдаленный гул боя, залегла вдоль насыпи.

Две с половиной тысячи партизан, предназначенных для Богунского полка, но еще фактически не переданных, были брошены к вокзалу в резерв. Денис Кочубей, взяв двести всадников, поскакал к месту боя. но уже в двух километрах от станции столкнулся с подходящими двумя немецкими эшелонами. Эшелоны вынуждены были остановиться из-за

разобранного на третьем километре пути. И Денис бросил кавалерию лавой в обхват эшелонов с обеих сторон, а сам в сопровождении десяти всадников подскочил к остановившемуся эшелону с белым платком на пике. Оккупанты в свою очередь выкинули белый флажок. Командир эвакуационного эшелона вышел на башню броневика и велел трубить отбой.

Денис через переводчика заявил:

— Дальше путь минирован. До выяснения всех обстоятельств эшелоны не будут пропущены, они находятся в окружении больших частей. Я предлагаю представителям немецкого командования выехать в город для дачи объяснений.

Пока велись переговоры, цепи богунцев и партизан начали смыкаться с двух сторон вокруг эшелонов, и вслед за артиллерийским залпом богунцев к эшелону подскакали Щорс, Черноус, Петро Кочубей и другие.

Денис заявил, указывая на них оккупантам, что это представители правительства большевиков Украины.

Оккупанты предложили открыть совещание здесь же, в походном их штабе — салон-вагоне. Все приехавшие, кроме Щорса, только что видели перед собой неистового, в горе Боженко и пылали гневом. Спокоен был один Щорс, еще не знавший подробностей неудачи Боженко.

Оккупанты предложили приехавшим прежде всего осмотреть вагоны-госпитали, заваленные ранеными и умирающими. Но Щорс заявил, что если бы принести сюда всех убитых и раненных оккупантами за время пребывания их на Украине, то понадобилось бы очень много времени для осмотра. И можно ли быть убежденным, что эти немецкие раненые не являются жертвой собственной наглости и провокационного поведения командования «железного эшелона»? Революционные войска Украины и в данную минуту, несмотря на то, что произошло здесь, сохраняют выдержку: эшелоны окружены далеко превосходящими войсками, но никто на неприятеля не нападает, не будучи к этому вызван. Обо всем этом следует поговорить подробнее, и он, со своей стороны, принимает предложение устроить совещание здесь же, в самом вагоне.

Войскам дано было распоряжение по условному сигналу взять эшелон штыковой атакой. Цепи в это время приблизились и тесно сомкнулись у самого полотна железной дороги. У орудий на неприятельских броневиках были поставлены партизанские караулы.

Заседание длилось четыре часа. Это было классическое по курьезности заседание. Столько было сказано по адресу оккупантов колкостей, которые с грехом пополам, но с собственной присолкой

переводил партизанский парламентар, бывший военнопленный, Захарий Колбаса. Оккупанты потели и краснели, как в бане.

Окончилось это заседание предложением со стороны красных войск: сдать половину оружия в качестве компенсации за потери таращанцев в бою, сдать весь излишек продовольствия — то есть целый эшелон. Оккупанты попробовали было гордо подниматься с мест и кричать, что «дело не пойдет», но из разъяснения переводчика поняли, что «эшелон тогда не пойдет».

— Он ведь уже не идет, и вы уже обезоружены — так о чем же дальше толковать? Только из милости к побежденным мы даем вам немного оружия и продовольствия, чего вам совершенно достаточно, чтобы добраться до родины и заняться делом.

Оккупанты потеряли уже способность выражаться членораздельно и к концу ночи, убедившись в том, что отставшие эшелоны их не догоняют и не догонят, согласились на все условия. Кроме того, они были вынуждены принять еще одно условие, выдвинутое Денисом: оперировать ногу раненному разрывной пулей матросу. Денис требовал наилучшего хирурга на станции Хоробичи, к которой подвезут из Ваганичей раненого. И это условие было принято, и через два часа на станции Хоробичи под наблюдением Петра Кочубея операция была произведена знаменитым немецким хирургом: нога матроса была спасена.

Немецкая знаменитость покинула Украину с последним оккупантским эшелоном. В этом эшелоне ему предстояла немалая работа, которой хватило до самого «нахгауза»...

НА ЧЕРНИГОВ

Предстоял поход на Чернигов. В этот поход шел Щорс. При разработке плана операции Денис предложил ему идти на Чернигов кратчайшим путем: через

Тупичевские и Звеничевские леса, предоставив фланги партизанам. Но Щорс остановил свой выбор на левобланговой дороге по Седневскому тракту, через Седнев.

— Надоели партизанские тропы, хочу идти с музыкой, — заявил он.

Однако для уяснения плана и все же увлеченный Денисовыми доводами, Щорс решил выехать с ним в Тупичев, приказав своему боевому комбату Кащееву вести полки на Седнев облюбованным им широким трактом.

После новогоднего парада в Городне и принятия знаменитой щорсовской клятвы новыми бойцами Богунский полк, предводительствуемый комбатом Кащеевым, с музыкой выступил в победный поход на Чернигов. А Щорс с Денисом поскакали на Тупичев с Денисовыми эскадронами.

В распоряжении Дениса, после того как партизаны влились в количестве до пяти тысяч человек в Таращанский и Богунский полки, оставалось еще около тысячи бойцов, из них около семисот — кавалеристов.

В этой родной для партизан местности, еще далеко не освобожденной от врага, на аванпостах Черниговщины находились отдельные маневренные группы белых — как, например, Радульская кавалерийская группа графов Коростовцев.

Помещикам-карателям Коростовцам, имевшим под Радулем крупный конский завод, удалось сколотить несколько эскадронов из гвардейцев, вахмистров и офицеров, гусар, улан и кирасир бывшей царской армии — всего около семисот сабель.

Этот отряд все лето 1918 года выполнял функции карательного отряда гетманской службы и теперь состоял как бы в арьергардном заслоне.

Немногочисленную конницу имел также прорывающийся из Чернигова на Гомель, к Польше, польский посол при гетмане граф Браницкий.

Нельзя также было быть уверенным в том, что в Городне была дочиста изрублена вся конница карателей — генералов Иванова и Семенова.

Наверно, часть их успела уйти еще до боя из Городни.

Все это сосредоточивалось теперь на линии между Городней и Черниговом. По донесению партизанских разъездов, имевших с ними стычки в эти дни, отряды коростовцев концентрировались главным образом вокруг шоссе из Чернигова на Гомель и форсировали берега трех узлом сходящихся у Лоева рек — Днепра, Десны и Сожа.

Выехав в Туппчев, Щорс предложил Денису выдвинуть по лесной дороге несколько взводов пехотной разведки и сосредоточить свой основной кавалерийский удар по правому флангу, углубляя его до Днепра, с таким расчетом, чтобы выйти в тыл Чернигову к моменту его фронтального удара,

Денис, знавший с детства вокруг всю местность, объяснил Щорсу свой первоначальный план.

Между Тупичевом, Репками и Черниговом есть непроходимое и зимой не замерзающее болото Замглай. Оно тянется и дальше, до самых Пинских болот, и представляет собою, видимо, древний морской бассейн (вода в этом болоте соленая). Вот в эту-то солоницу и хотел Денис загнать белых, заманивая их на себя.

— Болото это ты заметь на всякий случай — оно тебе еще пригодится, — сказал Щорс, слушая Дениса.

Совещание происходило в избе партизана Ляха. Отец его был лесничим в казенном лесу. В этой хате и обосновался штаб: она была просторней всех остальных бедняцких хат, да к тому же находилась на краю села, у самой опушки леса. Эта лесникова хата в гетманщину 1918 года была конспиративным штабом партизан.

— Ну, так кто ж меня проводит к полку? — спросил Щорс.

Денис вызвал нескольких партизан из бывших в хате. Он хотел назвать и Мелентия Юза, любезничавшего возле печи с хорошенькой чернобровой дивчиной, дочерью лесника-хозяина. Но, уловив движение девушки, видимо, не хотевшей расставаться с парнем, не назвал его и перевел глаза на других.

Потом, вспоминая об этом, пожалел Денис, что не послал с эскортом, выделенным им для сопровождения Щорса, Мелентия: оставшийся из-за чернобровой дивчины, он в ту же ночь был зарублен в Тупичеве кулаками.

Денис выбрал для Щорса в провожатые двадцать пять человек лучших партизан и дал им наказ вывести Щорса потаенной тропой на Седневский шлях, к Макишину и быть впредь его личной охраной.

Был уже вечер, и, по расчету Дениса, замещавший временно Щорса комбат Кащеев с богунцами подошел уже к Макишину.

Как только Щорс уехал, к Денису подошел партизан Туз и с ним Шкилиндей.

Шкилиндей летом, в подполье, судим был партизанским кругом за перебежку к эсерам, и партизаны постановили расстрелять его, но один из виднейших партизан, Нестор Туз, как раз и уличивший его в предательстве, взял его под свою ответственность и поручился, что Шкилиндей искупит свою вину.

Вот теперь Нестор Туз и привел Шкилиндея.

— Есть случай оправдать себя Шкилиндею, Денис Васильевич. Он разведал о кулацком заговоре и берется накрыть кулаков.

— Так действуйте немедленно, — торопясь уехать, на ходу бросил Денис, — надо покончить с кулацким штабом этой же ночью.

Партизанам не терпелось.

Два эскадрона ушли вперед на шоссе уже час назад, и остальные рвались вслед, оглаживая коней на дороге перед хатой лесника, где засиделся со всякими делами до самого вечера Денис.

Денис распределил людей в заставы, оставил резерв человек в десять всадников и, вскочив в седло, рысью с места в карьер повел свои эскадроны вдогонку ушедшим ранее на коростовцев.

Обогнув Замглай и подскакав к шоссе, эскадроны развернулись. Правое крыло пошло наперерез шоссе, а левое вытянулось к Репкам.

Спускались густые зимние сумерки. На вырисовывающемся по горизонту профиле шоссе видно было движение какой-то конницы. Прискакавшие разведчики донесли, что это идут поляки, судя по шапкам.

Раздался сигнал к атаке. Вынув шашки, партизаны вылетели на насыпь и неожиданным ударом сшибли движущуюся шпалерой кавалерию и заметавшийся обоз в овраг, под насыпь.

— Прошем панство! На милость, панове! Эй, паны партизаны! Паны большевики, на милость!

Опрокинутый обоз и сопровождавший его эскорт подняли руки вверх, моля о пощаде. То был поезд гетманского посла, графа Браницкого, эвакуирующегося со всем своим «дипломатическим» скарбом на Мозырь. Партизаны зажгли факелы и стали собирать пленных.

— Впереди есть конница? — спросил Денис Браницкого. — Только не виляй, пан! Солжешь — головой ответишь.

— То вся, пан отаман, — отвечал граф. — Слово по-чесно, двести шеволжеров.

— Кем вы состояли при гетмане?

— Я посол.

— Вот мы ж тебя посолим! — сказал Денис, направляя его и всех пленных на Городню. — Хлопцы, меняйте коней, если кони у пана стоящие, но лишних не берите; лишних гони обратно в Городню. Впереди еще конский завод Коростовцев, а там ждут коней другие.

Из соседнего села Гусятино пригнали несколько подвод, усадили пленных, которых было до двухсот человек, и взвод кавалеристов погнал трофеи и коней на Городню.

Кавалерийские пулеметы «шоша» (их было около десятка) и четыре «люйса» взяли с собой. Один «максим» поставили на козловые санки, в которых ехал на тройке пан Браницкий — посол «ясновельможного болвана», гетмана Скоропадского.

Те санки долго потом гуляли по фронту с лихим взводом отчаянных пулеметчиков, — первая зимняя «тачанка», сыгравшая знаменитую службу в гражданской войне.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

Эскадроны Дениса помчались вдоль шоссе до Репок, решив углублять фланг и идти в сторону Днепра не прежде, чем уверившись, что магистраль шоссе свободна от неприятеля.

То обстоятельство, что Браницкий с обозом мог оказаться выше Репок, свидетельствовало, что линия шоссе защитой не обеспечена и что два ушедшие вперед эскадрона, наперекор строгому приказу не переходить шоссе без обстоятельной рекогносцировки, пересекли его и ушли к Днепру, нимало не позаботившись об обеспечении тыла. Это было первое нарушение приказа за всё время повстанческой борьбы, и как раз в тот момент, когда из партизан превратились в армию.

Объяснить это можно было только неистовым стремлением конных партизан поскорее столкнуться с белогвардейской конницей грудь в грудь и истребить ее. Однако ж эти самостоятельные действия, как их ни оправдывать, вносили путаницу в намерения Дениса, и он жалел, что задержал и Щорса и задержался сам, отвлекшись на несколько часов в Тупичеве. Утешало его лишь то, что командиры двух ушедших эскадронов, Павел Лобода и Карпо Душка, первый — гусар, а второй — драгун, оба унтер-офицеры и георгиевские кавалеры всех степеней в империалистическую войну, — народ опытный в военном деле, авось задачи не провалят.

Но куда же девались Богма и Галака — командиры других партизанских отрядов, которым поручено было кавалерийскими разъездами держать шоссе под наблюдением? И как мог при этом проскочить через Репки поезд Браницкого?

Может, белополяки не признались? Может, они дрались уже в пути и разбили Богму и Галаку? [\[19\]](#)

Из Репок Денис, связавшись с Городней по телефону, сообщил Петру и Черноусу дополнительные сведения о Браницком.

Никак нельзя было уходить со всеми тремя эскадронами к Днепру, оставив дорогу на Чернигов незащищенной. У Дениса мелькнула было на миг отчаянная мысль — немедленно повернуть на Чернигов со своей кавалерией и взять его неожиданно ночным налетом. Но он тотчас же отказался от этой мысли, не уверенный в успехе ушедших на Днепр эскадронов и помня формулу Щорса о надежности штыка.

Впрочем, главным доводом являлась несогласованность этого маневра

со Щорсом и желание сохранить репутацию выдержанного командира.

«Нет, не буду «портить музыку» Щорсу», — подумал

Денис, улыбаясь тому, как подошла эта старая поговорка к данному случаю: Щорс ведь пошел с музыкой па Чернигов.

Вторым эскадронам, шедшим с ним, командовал Колбаса — партизанский парламентар в переговорах с немцами.

Этот отважный боец имел большой партизанский опыт в прошлом: будучи военнопленным в Австрии, он в течение трех лет состоял вожаком партии беглецов, военнопленных и дезертиров империалистического фронта, засевших в тирольских горах и не изловленных ни разу австрийской жандармерией.

Ему можно было поручить ответственную задачу форсировать шоссе на Чернигов.

Самому же Денису нужно было догнать эскадроны и руководить ими в операции против коростовцев. Оставлять их в тылу было безрассудством.

Денис с Первым и Третьим эскадронами ускакал на Радуль, Колбаса со Вторым пошел на Коты и Полуботки — по направлению к Чернигову.

Подъезжая к Переросту, имению Коростовцев, и услышав ожесточенную пулеметную стрельбу, Денис выслал вперед разведку, а сам развернутой лавой повел всадников к Радулю, решив, что в Переросте дерутся вышедшие вперед эскадроны, а Радуль остается во фланг им — и его-то и надо сейчас атаковать.

Он ошибся только в одном: в Переросте дрался с драгунами Четвертый эскадрон Лободы, Пятый же эскадрон Душка сразу повел на Радуль и, выгнав из Радуля на лед Днепра улан и кирасир, срубился с ними на льду. Коростовцы приготовили на Днепре прорубь, замаскированную соломой. К этой-то ловушке они и отступали теперь, увлекая за собой партизан.

Но еще в пути местные разведчики-партизаны сообщили Денису о проруби на Днепре, предостерегая конницу не идти по соломенному следу через реку. И все белобандиты, что не были изрублены в первом столкновении с эскадронами Душки — уланы и кирасиры, вместе со своими двумя братьями-командирами, — пошли под лед Днепра, загнанные в ими же подготовленные ловушки внезапно окружившим их Кочубеем.

Кое-где лошади плавали в ледяной воде, и партизаны, несмотря на пятнадцатиградусный мороз, лезли в воду и ловили их за хвосты. Они знали цену коростовским лошадям. В течение десятилетий рысаки из конюшен Коростовца брали призы на всех столичных скачках: рысаки были первейшие.

Увлечшись ледовым побоищем, Денис забыл о Переросте. Он

вспомнил о нем, когда на рассвете ему сообщили, что и третий, последний, отряд, во главе с младшим и самым отчаянным гусаром Коростовцем, разбит.

Последний Коростовец отстреливался целую ночь из двух ручных пулеметов, забравшись в погреб, но к утру, истратив все патроны, взорвал себя гранатой, очевидно не сумев ее выбросить в осаждающих из узкого погребного окна.

Страшных для всей Черниговской округи гетманчуков-карателей больше не существовало.

Не существовало и последнего форпоста на неприятельском фланге для похода на Чернигов. Чернигов был теперь открыт с трех сторон. Оставалось его окружить с четвертой дороги — с дороги бегства неприятеля по шоссе на Киев. Но для этого нужно было пройти еще сто верст и форсировать Десну.

В конюшнях Коростовцев стояло много свежих лошадей. Почти все три сотни трех эскадронов сменили коней. Завидные кони были в Коростовцевых конюшнях. А в Радуле уже набирался четвертый эскадрон. И из Днепра удалось выловить около сотни лошадей. Но эти лошади были сильно разбиты и порезаны льдом, кровь текла у них по бокам. Они нуждались в лечении.

В радульско-переростинском бою было убито всего пять человек партизан, один затонул в Днестре, вытаскивая лошадь. Десять человек было ранено.

На рассвете, когда Денис подъезжал к Переросту, он встретил небольшой санный обоз; сани были убраны зеленой хвоей, красными полотнищами и белыми вышитыми черниговскими рушниками. На каждом санях лежал убитый партизан в полном боевом вооружении и в шапке с красным бантом — чтоб не было холодно и мертвому. Это везли убитых бойцов хоронить по месту их жительства. И показалось Денису, что спят они, спокойные за будущее, за которое дрались в бою, — так спокойны и не искажены смертью были лица убитых.

ВОЙ ПОД СЕДНЕВОМ

Были уже сумерки, когда сопровождаемый кавалеристами Щорс под прямым углом от Тупичева выехал к своей линии, к Седневскому шляху.

— А вот и шлях! — сказал один из партизан.

— Да, что-то там движется. Обоз? Должно быть, богунцы, товарищ командир.

— Зовите меня просто «товарищ Щорс», а что командир — это понятно, — улыбнулся Щорс. — Да, это наши... До сих пор не в строю! Сколько здесь верст до Седнева?

— Верст восемь, пожалуй, — отвечали партизаны, — " Мы уже за Макишином.

— С гаком, должно быть, — улыбнулся Щорс.

Он направился к обозу. Богунцы спокойно ехали в санках, курили и переговаривались.

— Где Кашеев? — спросил Щорс.

Бойцы узнали своего командира и повскакали с саней.

— Товарищ Кашеев ушел с первым батальоном вперед, а мы движемся в резерве. Наша конная разведка в Седневе. Слышно — и в Седневе нет неприятеля.

— Кто говорит?

— Местные разведчики говорят.

— Врут они. Не может этого быть, — отвечал Щорс и пустил галопом коня, крикнув богунцам: — Из санок все долой! Идти цепью!

Богунцы повывлезли из саней, подтянулись, проверили затворы винтовок и, построившись, пошли развернутой цепью, оставив обозчиков позади себя.

Щорс скоро догнал и Кашеева, уже раскинувшего цепь на подступах к Седневу.

— Ни выстрела не слышно, разведки нет уже полчаса, — сообщил Кашеев.

— Обходи кругом. Проводники есть, — сказал ему Щорс. — А я проеду вперед.

— Я бы тебе не советовал гарцевать на коне, Николай, — сказал предостерегающе Кашеев. — Мне что-то не нравится эта тишина. Враг где-нибудь здесь залег. Ночь темная, овраги да могилы, — черт их тут разберет. И почему нет разведки?

Послышались дальние выстрелы, а потом застрочили пулеметы.

— Товарищ Щорс, разрешите разведать? — вызвался Лука Лобода, отчаянный разведчик. — Я с пулеметом.

— Давай, — сказал Щорс. — А мы подъедем поближе и послушаем. Да поскорей гони обратно. Теперь ясно, где они.

Лобода ускакал.

— Подтянуть отставшую цепь. Посадить на подводы. Гони полным аллюром к Седневу! Передняя цепь пусть идет, — сказал Щорс Кащееву и ускакал, сопровождаемый кавалеристами Кочубея.

Через несколько минут навстречу всадникам со Щорсом во главе неожиданно вылетела из темноты кавалерийская группа.

— Спешиться! Коней отводи! Залечь! — скомандовал Щорс. — Стой! — закричал он подъезжавшим кавалеристам. — Бросай оружие!

— Да мы свои, товарищ Щорс!

Это была конная разведка богунцев и вернувшийся с ней Лука. Они сообщили, что прошли в середину местечка, не встретив никого, и уже у выхода на Черниговскую дорогу вдруг попали в овраге под перекрестный огонь нескольких пулеметов. Один всадник убит. У противника имеются орудия.

— На коней! — скомандовал Щорс и, подскакав к Седневу с полсотней кавалеристов, спешил к околице и отдал коноводам коней. Взяв пулемет, он крикнул — Веди к орудью. За мной, вперед! — и побежал к тому оврагу, из которого татакал вражий пулемет.

— Урра!.. — закричал он, подбегая и выпуская очередь пулеметного диска в группу, видневшуюся на снегу на краю оврага.

У разведки Щорса было шесть ручных пулеметов, по одному на трех человек. Неожиданное появление пехоты с тыла привело в замешательство петлюровцев. Они ссыпались в овраг, и Щорс теперь расстреливал их сверху.

К этому моменту подоспел и Кащеев, высадивший с саней второй и третий батальоны. Первый батальон цепью обходил и окружал Седнев с северной стороны.

Увидев подоспевшие резервы, Щорс приказал кавалеристам открыть преследование — и в овраг, взметая снег, с гиком бросились полсотни всадников, сверкай саблями.

Через час Седнев был окружен и неприятель разгромлен. Было взято в плен около сотни петлюровцев, захвачено два орудия и четыре пулемета.

Это был заслон балбачановских войск, стоявших в Чернигове. От пленных Щорс разведал о численности и расположении противника в

Чернигове и решил, не медля ни минуты, наступать. Он посадил два первых батальона на сани, а третий направил цепью в обход правого фланга.

Перед отходом из Седнева Щорс получил донесение от кавалерийской кочубеевской группы, что Чернигов обойден ими с тылу, с северо-запада, и враг из города не уйдет.

К рассвету Щорс осадил Чернигов, бросив с трех сторон по батальону.

Первый, шедший цепью батальон Кащеева был быстрым маршем направлен в правофланговый обход на соединение с кавалерийской группой Кочубея.

Со вторым Роговец направился на Чернигов через Бобровицу, с третьим Щорс обошел со стороны Десны и устремился к Мазепинскому сторожевому валу, нависающему над Десной.

Колбаса, получив в Котлах сообщение о том, что Щорс быстрым маршем пошел на Чернигов и с рассветом ворвется в город, а к нему на соединение мчится с батальоном Кащеев, немедленно развернул свои эскадрон и пошел к Черторыевскому мосту, послав Денису сообщение, что «Чернигов к двенадцати часам дня будет взят Щорсом и нами безусловно и бесповоротно».

Батальон Кащеева двигался в санях карьером, со скоростью идущей полным аллюром кавалерии, и, промчав за полночь полсотни верст, к рассвету прибыл к намеченной точке своего флангового обхода — наперерез всех путей отступления, двух шоссежных дорог и двух железнодорожных линий, из которых одна была еще только насыпью.

С этой-то насыпи, установив пулеметы, Кащеев ударил по заматавшемуся в панике врагу.

Где бы ни появлялся враг, Кащеев видел его со своей насыпи и расстреливал из пулеметов.

Какой-то кавалерийский петлюровский полковник, заметив, откуда несетя на них смерть, решил пойти ей навстречу с азартом отчаяния. Он повел за собой взвод кавалерии, мчась на пулеметы Кащеева вдоль вала насыпи. Кащеев не пожелал тратить на него пулеметную ленту, он крикнул пулеметчику:

— А ну, стой, не строчи! Дай, я его сниму! — и метким снайперским выстрелом сразил полковника.

Мчавшиеся за полковником гайдамаки мигом повернули коней назад и были расстреляны вслед из пулемета.

Колбаса, увидев действия Кащеева, повел свой эскадрон дорубать

недобитых врагов.

Петлюровцы столпились у высокого моста над Десной и, срезаемые справа и слева пулеметным огнем и теснимые обрушившейся на них сзади кавалерией Колбасы, стали бросаться в воду. Паника лишила их остатка разума. И балбачановские кавалеристы на мосту металась и летели вниз с высоты сорока пяти метров и разбивались насмерть.

Таков был фланговый удар с северо-запада.

ШКИЛИНДЕЙ

Но борьба еще только начиналась.

В то время как накоплялась и продвигалась армия, задачей которой являлось прямое движение и захват территории у теснимого по фронту врага, в тылу еще оставались и кулачье и петлюровская агентура.

Этим обстоятельством и вызвано было решение оставить обоих братьев Кочубеев в тылу.

Тупичев являлся одним из больших и богатейших сел на Городнянщине.

Кулачество готовилось — после того как первая волна революционного движения спадет и главные организованные повстанческие силы откатятся вместе с армией — нанести сокрушительный удар в спину и свалить только что поднявшуюся советскую власть.

Шкилиндей четыре месяца, вел контрразведку и с нетерпением ждал дня и часа, когда удастся ему оправдаться перед бойцами и искупить свой позор.

Лишь Петро Кочубей, председатель подпольного комитета, был посвящен в прослеженный Шкилиндеем заговор. Кулачье, узнав об уходе главных сил из Городни на фронт, на Чернигов, и о том, что Городня осталась почти без защиты, готовилось к активным действиям. Кулаки решили захватить власть в Городне непосредственно вслед за первой победой красных войск и этим приостановить их наступление.

В эту ночь в Тупичеве должен был собраться контрреволюционный штаб в доме кулака Кровопуска.

У кулака была по шерсти кличка. Кровопуск, чьи деды были заклеяемы народом, давшим издавна им такое прозвище, превратившееся потом в фамилию, до самой революции был волостным старшиной.

Шкилиндею теперь нужны были помощники.

Шкилиндей сказал Нестору Тузу:

— Бери, брат, Мелентия, некогда ему тут бабиться. Идем, каждая минута дорога, по дороге все объясню.

— Теперь я вам все расскажу, товарищи, вам двоим, потому что, коли буду я сегодня убит, вместе со мной пропадет и вся информация... Петро Кочубей не все знает. Вот тебе, Нестор Иванович, все мои списки

потайные. Если погибну, вы с Петром Васильевичем разберетесь. Так что ты поезжай, Нестар, немедля к Петру, а мы с Мелентием пойдем на дело. Да скорее! Надо захватить Кровопуска. В нем-то и есть центр всего восстания.

— Какого восстания? О чем ты говоришь? — спрашивал Туз. — Какая твоя смерть?

— Ты, Нестор, думаешь: дело кончилось — полная победа? Так ты не спорь, а слушай. А впрочем, и говорить-то некогда...

Шкилиндей вдруг задумался.

— Тут дело будет не простое. Нет, постой... С каким бы верным человеком послать этот пакет Петру Кочубею? Тебе тоже надо с нами идти.

— Да почему ж ты до сих пор молчал? И чего ты дрейфишь? — не мог понять Туз чрезвычайного возбуждения Шкилиндея.

— Молчи ты, несмышленный! Слушай меня и делай, что я говорю, — огрызнулся Шкилиндей.

— Ну ладно, давай, — согласился Туз. — Тут Сапитончик остался для связи, можно ему препоручить твой пакет.

Сапитончик был подросток-разведчик, весельчак и прибаутчик, Прозывали его еще «Пистоном» и «Пистолетом».

— Ну, пускай Пистолет и везет, согласился Шкилиндей.

Позвали Сапитона и, вручив ему пакет, велели немедленно тайным лесным ходом снести пакет в Городню и вручить Петру Кочубею «в собственные руки». Но Сапитончик ослушался: он вскочил на коня и прямой, проезжей дорогой поскакал на Городню.

Шкилиндей, передав пакет, успокоился.

— У меня «шош» есть и десять дисков к нему. С таким оружием черт нас не возьмет, — говорил Туз.

— Не в то» дело, что пулемет, а в том, что Кровопуска пулемет не возьмет, — балагурил повеселевший Шкилиндей. — Ведь нам надо живым гада взять. В том моя задача.

— Ну и возьмем.

— Не сумлевайся, — заявил Мелентий, — я специалист по всякой вязке, первый вязальщик на селе. И не такие снопы вязал— хочешь, дивчат спроси.

— Это-то верно: дивчат опутывать ты специалист, — улыбнулся Шкилиндей.

Посмеиваясь и пошучивая, отправились партизаны в опасную операцию. Шкилиндей опять заныл:

— Да ведь его, пузатого гада, вдесятером не свалишь. Возьмешь ты

его, такого кнура десятипудового! А в сынках небось и вовсе по двенадцать пудов будет!

Шкилиндей беспокоился не даром. Пятидесятилетний Кровопуск был чуть меньше, чем в сажень, ростом и весил, как говорили о нем, «восемь пудов и камень без весу». Его красный, с синевой, жилистый нос, похожий на индюшачью шишку, и прорезанный чуть не до ушей рот делали его страшным. Такими же, схожими с папашей, были и четверо его сыновей. С этой семейной компанией трудно было справиться трем партизанам. Расстреливать же всех кулаков не было смысла, надо было во всяком случае отца Кровопуска взять живьем, в его руках были нити заговора.

Шкилиндей с самого момента своей перебежки к эсерам слыл на «хорошем счету» у кулачья. На этом и построен был весь план раскрытия кулацкой организации подпольным комитетом.

Шкилиндей должен был иметь доступ к врагам и выследить их. Никакого участия в боевых действиях повстанцев поэтому он не принимал. Благодаря своей способности пить и не хмелеть Шкилиндей бывал завсегдаем всех пьяных кулацких сборищ, был один на пиру не пьян и тут-то и открывал их тайны.

До сегодняшнего дня он не был заподозрен кулачьем, в этом он убедился после нынешней разведки. Утром он был приглашен Кровопуском на генеральный совет перед кулацким восстанием.

Час пробил. Шкилиндей должен был теперь пойти, чтоб «донести» Кровопуску, что войска ушли на Чернигов и Городня открыта для нападения. Но теперь он сообразил, что одно его появление у Кровопуска может послужить сигналом к мятежу, а между тем Городня не предупреждена. И Шкилиндей пожалел, что послали они Сапитона пешим ходом. Он не успеет предупредить Городню, и когда он придет, быть может, будет слишком поздно. А Шкилиндей хотел отвечать не только головой, но и делом. Никто еще не знал, что Сапитончик ослушался и помчался в Городню на коне.

— Слушай, Нестор, мы пойдем вдвоем с Мелентием, давай нам «шош», а ты седлай коня да скачи в Городню. Мы еще часок подождем, пока доскачешь.

В эту минуту на улице показался всадник. Мелентий окликнул его:

— Пароль!

Всадник сделал знак саблей и, подъехав, сказал пароль. Это был ординарец Дениса, посланный от Голубичей на Городню с сообщением о поимке Браницкого. Он вез пакет Петру, Нестор написал Петру несколько слов, и ординарец ускакал.

Теперь оставалось только взять Кровопуска. Решили так. Шкилиндей входит в хату и начинает разговор. Затем выводит Кровопуска во двор «для особого секрета». Мелентий стреляет в ноги Кровопуска. Шкилиндей наваливается на него, и когда на крыльце появятся сыновья, Нестор стреляет их из «шоша». На тревогу сбегутся другие партизаны.

Зашли к Ляху, разбудили его и велели обойти партизанские дворы и собрать всех, кто заночевал дома, да привести ко двору Кровопуска. Зайти к Ляху придумал Мелентий: захотелось ему вдруг проститься с возлюбленной. Как будто чувствовал он, что ждет его.

КРОВОПУСК

Все пятеро Кровопусков сидели за столом и хлебали борщ, когда в избу вошел Шкилиндей. Мелентий, войдя вслед за Шкилиндем во двор, притаился у свиного хлева. Туз остался за плетнем, приладив «шош» прямо против крыльца. Ему было видно через окно все, что происходило в хате. Вот Шкилиндей сел за стол.

Вдруг все бывшие в хате всполошились, собираются выходить.

— Мелентий, — цыкнул Туз, — гляди, не промажь, бей не торопись!

Чуть только старый Кровопуск показался на крыльце, Мелентий навел на него наган и выстрелил. Старик упал с высокого крыльца, и сверху на него навалился Шкилиндей, крича:

— Нестор, бей псов!

Но, как назло, «шош» на секунду заело. И это решило исход всего дела. Один из сыновей Кровопуска, выбежавший вслед за стариком из хаты, взмахнул топором и разрубил голову Шкилиндею пополам. Мелентий, не выдержав, бросился из своей засады. Но тот же топор опустил и на его голову, и только после этого заработал наконец пулемет Нестора, и четверо сыновей свалились, придавив своего отца.

Вдруг за своей спиной Нестор услышал топот конницы.

Это шли карьером партизаны, сопровождавшие пленных поляков и Браницкого на Городню.

Эх, подоспей они на минуту раньше!..

Сапитон прискакал к Петру Кочубею на несколько минут раньше ординарца, привезшего пакет от Дениса о пленении Браницкого и сообщении Туза.

В Городне оставалась одна караульная рота человек в двести да конная милиция — пятьдесят всадников. Денис писал, что Браницкого и пленных поляков сопровождает взвод всадников, которые пригонят до двухсот коней. Еще в распоряжении ЧК было около пятидесяти человек.

Петр разбудил Черноуса и военкома. В течение двадцати минут весь гарнизон был поднят на ноги, и конная разведка выехала во всех направлениях.

К часу ночи было получено первое донесение разведки: со стороны Хриповки движутся вооруженные кулацкие отряды.

Петро поручил Черноусу и военкому посадить на коней, идущих от

Дениса, оставшуюся в городе караульную роту, а сам с одним полуэскадром выехал навстречу бандам, все еще не веря в возможность их столь наглого выступления.

Выехав за город, отряд попал под обстрел.

Петро был ранен в ногу, но заметил ранение, только спешась, — нога ныла и не давала ему идти. Ранение было незначительное, но болезненное: пуля раздробила большой палец ноги.

Ни одно кулацкое село, не имея ожидаемого из Ту-пичева сигнала, не успело еще выступить, кроме Хриповки и Макишина. Макишинцы, пропустив богунцев с Кашеевым и дав им ложные сведения об отступлении петлюровцев в Седневе, немедленно выступили на Городню, рассчитывая на то, что доверчивые богунцы будут разгромлены, попав ночью в седневскую ловушку.

Успокоенные ими, богунцы действительно отправились из Макишина не в строю, а на санях, которые гостеприимно были предоставлены им кулаками.

Рассчитывая на то, что богунцы из-под Седнева не уйдут, и зная, что Денис увел кавалерию на Днепр, где ему тоже не поздоровится от Коростовцев, имея, кроме того, преувеличенное представление о разгроме батька Боженко и таращанцев оккупантским «железным кулаком» под Камкой, враги думали всерьез, что, взяв Городню, они разом покончат с советской властью. Макишинцы уже в пути подняли Хриповку. Тупичев, полагали они, выступит сам собой и создаст заслон на случай возможного возвращения Дениса.

Командовал макишинцами предатель Кныр, бывший целое лето порученцем партизанского штаба и приближенным Петра Кочубея. Макишинцы были вооружены несколькими пулеметами.

КНЫР

Петро почувствовал вдруг тяжесть в ноге, как будто ему привязали к ней двухпудовую гирю, и, наклонившись, увидел, что снег под его ногами зачернел. И лишь вслед за этим он почувствовал боль.

Петро попробовал пересилить ее криком,

— Вперед! — и шагнул навстречу бежавшей к нему фигуре, но вдруг свалился.

Приподнявшись, он прицелился из карабина и выстрелил. Пуля сорвала с подбегавшего к нему человека шапку. Тот продолжал бежать, не стреляя, потом упал, навалившись на Петра всей тяжестью своего тела, — и вдруг узнал Кочубея.

Петро тоже узнал в упавшем на него Кныра, своего летнего товарища, весельчака партизана из Макишина, с которым он привел столько ночей, прячась в лесу под стогами и по гумнам от гетманского преследования во время летнего подполья.

— Петро!

— Кныр!

Кочубей, вывернувшись из-под Кныра, достал маузер.

— Так вот ты как, негодяй! Бросай оружие! — закричал Петро не своим голосом.

— Я же не знал, что это ты! Видать, это я тебя ранил. Давай перевяжу, а потом стреляй, твое на это право.

Что-то в интонации этого знакомого голоса было такое искреннее, что, несмотря на нелепость предложения и, может быть, именно потому, Петро опустил револьвер и сказал:

— Ладно, давай оружие! Перевязывать не надо. Пойдем со мной, помоги встать.

Кныр отдал Петру свой «шош» и быстро снял с себя пояс с бомбой и револьвером. Сбросив шинель, гимнастерку и разорвав на бинты рубаху, он принялся стягивать с Петра сапог. Сапог не снимался. Петро застонал от боли. Кныр вспорол сапог кинжалом и перевязал Петру ногу.

Пока Кныр возился с перевязкой, оба они молчали. Кныр стоял без рубахи, а мороз был больше двадцати. От его голого тела шел пар.

— Одевайся! — сказал ему Петро.

— Не к чему, Петро Васильевич. Стреляй, — так легкой!

Петро взгляделся в лицо Кныра и понял, что тот ждет заслуженной

пули.

Между тем стрельба вокруг почти затихла, на дороге показались всадники. Кныр свистнул, и всадники повернули к ним.

— Петро ранен в ногу, сани давай! — крикнул Кныр.

Два всадника повернули коней и помчались за санями, а остальные спешили. Они узнали Кныра и поздоровались с ним, не подозревая того, что перед ними предатель.

Когда подъехали сани, Петро сказал Кныру:

— Одевайся, собака! Садись в сани.

Кочубей еще не знал, как ему придется поступить с Кныром, но видел возможность раскрыть через него всех вожаков наглого заговора. Убивать Кныра сейчас было бессмысленно.

Мятеж кулаков был ликвидирован в результате получасового боя. Было взято около трехсот пленных и человек пятьдесят убито в бою. Со стороны красных убито было пять человек и ранено восемь.

После небольшой операции, немедленно сделанной Петру, он ночью потребовал к себе Кныра и, оставшись с ним с глазу на глаз, спросил:

— Что привело тебя к ним, почему ты пошел против нас?

К этому времени ему уже стало известно подробно о случившемся в Тупичеве — о ликвидации Кровопуска и смерти Шкилиндея.

— Я все лето работал на два лагеря. Кулаки нам платили хорошие деньги и требовали от нас, чтобы мы прежде всего вас, обоих братьев Кочубеев, убили. Вот я и ходил все возле тебя. Но я крепко тебя полюбил... и убить не мог.

Он замолчал, опустил голову и тяжело вздохнул.

— Помнишь, как мы спали рядом на кровати в Ивашковке и как у меня «нечаянно» — будто это я со сна — выстрелил наган и пуля пробила тебе кушак. Это мне надо было им показать свою работу, а убивать тебя я не хотел. Смазал... Хотя ты, конечно, меня убьешь теперь, но по чистой совести скажу, что не вижу я для крестьянства от большевиков вреда, как об этом кулаки там говорили. Душою я не с ними, и — сам знаешь — я сирота и батрак. Но деньги я брал у них и пропивал и за это должен был рассчитаться. Я сказал: «Убивать Кочубеев я не согласен, а восстание сделаю, как обещал».

Но Шкилиндей сказал мне: «А я твоё восстание провалю. Плюнь ты им в морду, иди немедля в Красную Армию, а я за тебя тут ответ один буду держать и это дело расхлебаю, а ты свой грех искупишь, потому, что ты есть молокосос и не знаешь, как делаются дела».

Кныр поднял голову, испытующе взглянул на Кочубея.

— И вот, Петро Васильевич, я перед тобой, со всей правдой, как есть. А смерти я не боюсь, я того стою. И еще тебе скажу. Я знал, что Денис пошел на Чернигов со Щорсом. Ну, думал, восстание я им сделаю, а когда возьмем город — тебя я спасу. Такая была моя задача. А вышло, что, видно, это я тебя подстрелил.

— Ты что-то тут врешь. Будем тебя судить.

— Ой! Судить?! Лучше убей ты меня своей рукой зараз, я ж тебе сдался. А то б кому я еще сдавался?

— А вот я тебе со Шкилиндем сейчас очную ставку сделаю, — сказал Петро, — тогда и посмотрим, чего ты тут мне наврал.

Петро рассчитывал, что угроза очной ставки со Шкилиндем, о смерти которого Кныр еще знать не мог, заставит Кныра открыть всю правду. Но Кныр нимало не смутился. И Петро понял, что все это дело загадочное и его надо все-таки распутать.

— Если наврал — расстреляем, а если всю правду сказал — может, пригодишься...

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ ОБХОД

Денис сидел на открытой веранде дома Коростовцев в трофейном графском полушубке и изучал карту похода. Рядом возились связисты, исправляя разрушенный телефон. С балкона был виден двор, в котором шла разборка и чистка лошадей. Эскадронный Писанка покрикивал на партизан:

— Скребницей поскреби, а нет скребницы — пятерней, холява!

Кто-то с озорством бросил:

— Подымай, подымай голос, эскадронный! Говори: «Как меня с хвоста поскреби, так и коня, сукины дети, скребите!»

Раздался смех. Но смех был не оскорбительный и не ядовитый, и Денис улыбнулся, соображая в то же время, как должен обходить Чернигов Щорс, и как устремится Колбаса в помощь Щорсу, и как ему совершить свой фланговый обход.

В это время во дворе взлетела песня. Песня была старинная украинская, о расправе с паном, хоть и начиналась с обычного для множества украинских песен вступления: «За горою, за крутою».

Но чего только не бывает за той «за крутою горою» в песне! И любовь к дивчине, и к широкому родному краю — «раю», и к родному Днепру, над которым казак умирает, к тому величественному Днепру-Слауте, что «чуден» при всякой погоде: и в бурю, когда «реве та стогне Днипр широкий», и при ясных звездах, когда он «держит все ясное небо на чистом лоне своем». Эта любовь к родной земле выстрадана веками угнетения со стороны чужеземцев и своих злыдней и отразилась вся в песне, созданной широкой душой народа, как буря и звездное небо в широком лоне Днепра-Слауты. В ней и удаль, и отвага, и народное горе — и чистые слезы погубленной любви девичьей и горькие материнские. В песне же и проклятие и назидание врагу. Все в той песне видно «за горою крутою» — во все концы света, на столетье назад и вперед. Песни эти полны и светлой женственной надежды и великого мужественного утверждения. И от века служат они опорой народному подвигу в борьбе за человеческое счастье и свободу.

А Перебийніс

просить немного:

Сімсот козаків з собою.—

Рубае мечом
головой з плечей.
А решту топить водою.

— Так что кобылица твоя прихромала, Денис Васильевич, — сказал подошедший Филон, которому было поручено, как старому кавалеристу и ветеринару, осмотреть завод и отобрать и распределить коней.

— Как так «прихромала»?

— Подрана в верхнее бедро.

— Как? Я и не заметил, — вскочил Денис. — Пойдем посмотрим.

— Лошадь на рану в мякоть не сразу отзывается, — сказал Филон. — Пулю я вынул, вот она: пулеметная, Коростовцева пуля.

Гретхен грустно оглянулась, увидев подошедшего Дениса, в котором за эти немногие дни она уже привыкла узнавать хозяина. Денис протянул ей кусочек сахара. Но Гретхен понюхала сахар и не взяла его.

Вся грудь ее была забинтована, и правая передняя нога была еще розовой от крови, хоть ее и омыл спиртом Филон.

— Вот тебе будет конь, Кустиком зовется, — подвел Филон Денису прекрасного рыжего орловца. — А Гретхен поправится. Здесь есть ветеринар при заводе. Да вот он и идет сюда.

— Ну как, товарищ Аничкин? — обратился Филон к подошедшему угрюмого вида человеку с надвинутой на брови шапкой. — Вот хозяин интересуется здоровьем Гретхен.

— Кобылица ваша через две недели будет ходить, — отвечал Аничкин, — могучая лошадь.

Денис огладил своего нового друга, вывел его во двор и проехался на нем. Орловец Кустик был прекрасной лошастью: по нетерпеливости и по той игривой легкости, с какой он нес всадника, можно было судить о его качествах. Однако жалко было Гретхен, и Денис пошел проститься с ней.

А между тем двор превращался в сплошную хоровую капеллу. Несколько хоров, перепевая друг друга, сливались в песенную симфонию. Каждый эскадрон пел свою песню.

Дивчата из дворовой прислуги и хуторяне, принарядившись, стояли группами вокруг панского дома, как в праздник, и слушали песни. Да это и в самом деле был народный праздник.

Вернувшись в дом, Денис застал возвратившихся своих ординарцев — от Щорса и из Тупичева.

Первые сообщали об успешности ночного седневского боя и о том, что

Щорс намерен был с рассветом взять Чернигов. Вторые рассказали о смерти Мелентия и Шкилиндея и о кулацком заговоре. О хриповском восстании они еще не знали.

Денис почувствовал некоторую тревогу и спросил телефонистов, скоро ли они наладят связь с Репками, чтобы можно было поговорить с Городней.

— Линия разрушена повсюду, разве к вечеру дотянем!

Позвав эскадронных, Денис приказал готовиться к походу.

«Если Щорс, — думал Денис, — разовьет свой маневр, то коли не утром, так вечером безусловно возьмет Чернигов. Посланный со стороны Репок эскадрон Колбасы достаточен для преследования отступающих. Но ему вряд ли удастся отрезать врагу путь к отступлению у самого Чернигова. Враг будет отступать стремительно».

Надо было немедленно прервать линию фронта в нескольких точках южнее, к Киеву. Денис нарисовал дугу тылового обхода и в этой дуге радиусы движения, пересекающие линию предполагаемого отступления гайдамаков, — линию шоссе из Чернигова на Киев.

Дуга проходила от Днестра к Десне, от Любеча к Чернигову. А радиусы — к Остру, к Козельцу и к Красному.

Когда входили эскадронные, Денис уже определил маршрут.

— Слушаем приказа, товарищ командир.

Денис еще раз взглянул на карту и, проверив правильность принятого решения, сообщил задачу эскадронным.

— Сотня Лободы пойдет к Чернигову через Семи-полки. Остальные с прогрессирующей дистанцией разойдутся вот отсюда, — показал он им карту. — Крайняя — со мной на Остер.

Эскадронные нагнулись над непонятной им еще картой и, увидев круг, расчерченный правильными линиями, с почтением посмотрели на командира.

— Понятно? — спросил Денис. — Щорс обойдет Десну слева. А справа его расчет — на нас. Я думаю, что Чернигов уже взят или будет взят. Поэтому нам надо поспешить. По коням!

...Щорс действовал совершенно спокойно, зная, что враг из окружения теперь уже не уйдет.

Он выделил на вылазку в город десяток артиллеристов для захвата броневиков. И когда броневики выехали на площадь против него, он закричал:

— Молодцы!

На броневиках уже развевались красные флаги.

А вслед за броневиками вынесся эскадрон Колбасы,

И эскадрон и броневики двинулись немедленно по шоссе вслед убегающим в панике к вокзалу петлюровцам. У вокзального моста образовалась пробка из брошенных отступающими покалеченных орудий, из саней и грузовиков. Кавалерия Колбасы, помчавшись прямо по льду Десны к вокзалу, изрубила всех гайдамаков, кто не успел уйти за мост.

Батальонный Роговец двигался медленнее — он принял на свою цепь первый и самый сильный удар: петлюровский комкор Терешкевич ожидал наступления именно со стороны Седнева.

Если б не удар Щорса, зашедшего с тыла, со стороны вала, и создавшего невообразимую панику в городе, Роговец со своей цепью долго бы не мог двинуться с места. Он вел сражение снайперским способом.

Пулеметчики и стрелки, залегшие по огородам, по подворотням дворов и по чердакам еще с ночи, расстреливали мечущихся вдоль улицы гайдамаков и кавалеристов.

Петлюровцы кричали:

— Не бей своих! — видно, думая, что по ним стреляют свои, гайдамаки, засевшие в обывательских дворах.

И сам корпусной командир Терешкевич, вертясь на коне, кричал бегущим к нему со штыками наперевес богунцам, либо принимая их за своих, либо провоцируя:

— Да что же вы делаете, сукины сыны? Ведь мы же свои!

Но пуля Роговца ссадила толстого пана с гетманского коня.

— «И вылетела вон его собачья душа из нечистого тела!..» — крикнул, пробегая, знаток Гоголя, бывший учитель, а ныне комроты Хохуда из Носовки.

Выслав эскадрон для преследования бегущих по шоссе петлюровцев и связавшись с Денисом, охватывавшим беглецов с юго-востока, Щорс решил остаться в Чернигове на два дня для приведения в порядок полка и оснащения его новыми трофеями.

Военные трофеи черниговского боя были велики.

В черниговском арсенале был взят запасной склад пулеметов: около тысячи. Было захвачено четыре броневика — «Гандзя», «Сагайдачный», «Директория» и «Сичевик». К вечеру на серых боках их красовались гордые имена: «Ленин», «Коминтерн», «Богунец» и «Тараща-иец». Было взято двадцать восемь полевых орудий и два гаубичных и, кроме того, восемь автоматических пушек «гочкис», ставших впоследствии популярнейшей артиллерией «богунии» и «таращи».

Щорс, осматривая эти орудия, сказал:

— Вот чему будет радоваться маневренный наш батько Боженко.

Отписать ему четыре пушки «гочкис» в подарок и вручить при первой же встрече.

Богунцы, как ни были они скупы на оружие, одобрительно улыбались и говорили между собой:

— Эх, и любят же наши командиры, красные бойцы, один другого, как брат брата, и любит особенно Щорс того чудного таращанского батька. Да и батько стоящий! Боевой! Как огонь! Дарма что старик.

Назавтра Щорс устроил парад своей «богунии». Войско выстроилось на Соборной площади, где вырыты были три широкие братские могилы. К тем могилам с траурным маршем медленно двигалась процессия богунцев и горожан, бережно несущих в закрытых красными полотнищами гробах тела погибших товарищей. Рыдали, захлебываясь, трубы, гулко вздыхал барабан, и слезы жгучей скорби сами катились по щекам даже у самых отважных и отчаянных богунцев. Когда гробы медленно опустили на землю (их было двадцать шесть), Щорс поднялся на сколоченную из досок трибуну вместе со своими боевыми командирами батальонов и представителями ревкома. Он медленно окинул печальным взглядом собравшихся, поставленные в три ряда гробы с телами павших товарищей, обнажил голову и тихо, с трудом сдерживая слезы, начал свое прощальное слово:

— Товарищи, с почетом в землю нашей освобожденной родины опустим тела героев, павших в первом бою! Среди них есть рабочие и крестьяне, есть ремесленники, интеллигенты, есть и женщины-героини — все это бойцы революционной армии, идейные строители социализма. Их заветом осталось нам — не прерывать ни на секунду борьбы до окончательной победы, ни на минуту не успокаиваться и не почивать на лаврах после любого успеха, быть всегда готовыми отдать свои жизни, так же как отдали свои жизни борьбе и победе они. Помните: мы с вами живем лишь потому, что, как они, не боимся смерти в борьбе за освобождение.

Он показал на тела убитых товарищей.

— Требую от вас клятвы у свежей могилы товарищей, павших на нашем победоносном, героическом боевом пути. Клянись, что вы будете бороться до конца за освобождение нашей советской земли от насильников, буржуев, помещиков, губернаторов, гетманцев, авантюристов и шовинистов, что вы будете бороться на любом участке нашей необъятно большой земли, что будете бороться вплоть до победы и установления коммунистического общества. Клянись! — поднял он руку вверх.

— Клянемся! — раздалось, словно глухое эхо, как будто одним общим вздохом согласия ответила ему сама родная земля.

— Да здравствует коммунизм! — крикнул Щорс..

Оркестр грянул «Интернационал». Все подняли головы и запели дружно и призывно:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

«Интернационал» смолк. Щорс поднял руку, оркестр заиграл траурный марш, знамена склонились, отдавая честь павшим героям. Тела погибших товарищей осторожно опускали в могилы, и все время, пока их опускали и засыпали, землей, слышны были очереди артиллерийских залпов из поставленных на валу богунских трофейных пушек. Пушки эти возвышались рядом с пушками Петра Первого — тяжелыми громадинами, стоявшими здесь со времен Полтавской битвы на крепостном валу. И казалось, все эти пушки отдают боевой салют погибшим богунцам и горожанам.

КОЧУБЕЙ НА ОСТРЕ

В Салтыковой-Девнице от прискакавшего из Чернигова ординарца Денис узнал в полдень о взятии Щорсом Чернигова и о том, что отступающие гетманчуки двинулись по шоссе на Киев,

В Муравейке на рассвете ординарец столкнулся с конным разъездом отступающих и, прикинувшись «вартовым»^[20], выведал подробности черниговского разгрома. Из четырех полков двух сводных дивизий Терешкевича осталось лишь два полка. Изрублен также весь офицерский полк, несший охрану арсенала и моста, взята почти вся артиллерия, кроме четырех легких батарей, охранявших намеченную врагом естественную линию отступления — Киевский тракт.

Захвачен красными или сам перешел к ним весь броневой дивизион в количестве четырех броневиков. Убит корпусной командир Терешкевич.

Сведения были утешительными. Ординарец сам лично видел Щорса и привез его пламенный привет красной коннице и полное одобрение Кочубееву маневру.

Щорс требовал от Дениса форсировать преследование отступающих, разорвав главные магистрали отступления — шоссе и железную дорогу по направлению к Киеву. Он требовал занятия Козельца и Остра.

Денис приказал левофланговым эскадронам Лободы и Филона идти на Козелец, а сам пошел на Остер. Ему хотелось самому побывать в Остре, где четыре месяца назад его пытали еженощными выводами на расстрел гетманчуки-палачи — отец и сын Вишневские, заставляя его рыть себе могилу. Денису очень хотелось теперь повстречаться с палачами. Да к тому же он ничего не знал о судьбе своих бывших тюремных товарищей. В особенности его волновала судьба его школьного друга — Александра Бубенцова, того, что навестил его на минуту перед расстрелом и оказал ему тогда незабываемую мужественную поддержку. Собственно, то был лишь взгляд понимающих и ободряющих глаз. Но эти глаза Бубенцова стояли теперь неотступно перед ним и, казалось Денису, звали его и требовали помощи.

Теперь ему представлялся случай самому освободить товарищей, если они еще живы, и поэтому, несмотря на усталость коней, он решил к ночи во что бы то ни стало быть в Остре.

Перед атакой надо было дать коням передохнуть.

Денис придержал коня и, обернувшись, прокричал:

— Легче аллюр! Перемени ногу — шагом! Татарин, а ну песню!

— Сейчас перекурим, товарищ военачальник, — отвечал запевала Савочка Татарин, делая заносчивый и неприступный вид, между тем как его так и подмывало запеть и засвистать. — Что тебе: со свистом или с раздумьем?

— И с раздумьем и со свистом, — отвечал Денис, улыбаясь.

— Грицько, заводи «Донскую походную».

— А ты чмыхай! — отвечал грозно Грицько, обидевшись, что не ему заказана песня.

По дорожке пыль клубится... —

лукавым голосом, как бы поддразнивая или подзадоривая хор, начал Татарин и сразу сорвался на фальцет и свист, поддержанный многоголосо ахнувшим хором со второй же строки куплета:

Едут всаднички домой,
Да эх, до-мой...

Вот уже замаячили вдалеке и огни города, а с холма вдруг весь он открылся; за ним углубленной голубой дугой заколыхалась Десна, обдутая и обметенная ветрами, как каток.

— Эскадрон, в лаву, строй фронт, влево а-арш! Сабли к бою долой! — скомандовал Денис и дал шпоры коню.

Впереди него понеслась разведка «командирского заслона», которую тут же в дороге организовал Грицько Душка с Татаринцем.

— Нет, не подведешь, не нагонишь! — кричали они, обогнав Дениса.

Они промчались через ночной город без единого выстрела. По дороге высунулся было со штыком какой-то вартовый из-за угла. Увидев на вартовом погоны, Грицько Душка рубанул его по погону и помчался дальше.

У ворот тюрьмы стояла стража.

— Взять этих сукиных сынов! — скомандовал Денис. — Бросай винтовку! — крикнул он вартовому, приходя в ярость.

Денис в волнении оглядел тюремный дворик, где еще так недавно петлял он на прогулке двадцать шагов от стены до стены, где на его глазах избивали людей.

Он прошел знакомой тюремной лестницей и поднялся на третий этаж. Там когда-то сидели Бубенцов и остальные политические заключенные. Сам он сидел в коридоре смертников, в одиночке второго этажа.

Надзиратель, уже побитый — для «понятности» — Савкой Татаринцом, старался отпереть дрожащими руками камеру и не попадал ключом в замок. Денис, взял у него ключи и стал отпирать камеры сам. Коридоры наполнились гулом торжествующих и грозных голосов.

— Ура! Спасибо, товарищи! Да здравствует Советская власть!

Денис прислушался к голосам, но голоса Бубенцова не слышал в этом гуле.

— Где Бубенцов? — спрашивал он и чувствовал, как ноги его затяжелели от страшного предчувствия: а вдруг опоздал спасти товарища?

— Шурка в твоей камере теперь сидит. Здорово, Кочубей! — протянул ему руку широкоплечий матрос Силенко. — Так ты живой? А мы думали, — тебя тогда коцнули или в Десне утопили. Откуда же ты, дьявол, взялся? Вовремя, вовремя ты явился. А вот и твоя камера; отвори, не волнуйся. Ну, дай я, вижу, что не можешь. Это все равно, что на тот свет заглядывать. Александр Гаврилыч, а ты там как — живой? Слышу, кашляет. Ну вот, теперь и обнимайтесь!

Дверь камеры открылась. Бубенцов вышел в коридор.

— Неужели Денйс? — Надев очки, Александр долго вглядывался в лицо Дениса.

Денис обнял его и скомандовал:

— Одевайся, живо! Вишневский еще тут? Живы еще эти гады?

— Вчера были живы, — отвечал Александр.

— Ну, айда за Вишневским.

Выйдя во двор, они увидели, как разутые стражники прыгали на снегу, — мороз был около тридцати градусов.

— Это кто такие здесь скачут? — спросил близорукий Бубенцов.

— Наши с тобой «пестуны», — отвечал матрос. — Принимают новогоднюю баню, смерзаются, мерзавцы, Подожди, товарищ, тут есть один из них человек все же! Андрей! — крикнул он.

От стены отделилась одна фигура и сделала нерешительный шаг вперед босыми ногами по снегу.

— Зайди в канцелярию, там тебя обуют. Пойдешь с нами — свободно служить коммунистической родине, — хлопнул его моряк по плечу. Андрей был свой человек, поступивший в стражники по заданию повстанцев.

— А вы, проклятые жлобы, сейчас нам на смену сядете! Толченко, организуй тюрьму для них, ты человек военный, — сказал он одному из

освобожденных,

— Есть, капитан, — отвечал тот. — Моя мечта сбывается. Я уже набрал тюремный аппарат.

Оставшимся партизанам Денис, отъезжая, кивнул в сторону назначенного матросом коменданта:

— Гляди за комендантом. Не понравился мне твой доброволец комендант. Кто он такой?

— Толченко? Один из офицеров. Сел в тюрьму неделю назад,

— А зачем же ты его выдвигаешь на такой пост и в такой момент?

Денис припоминал: где же он видел это лицо, показавшееся ему неприятно знакомым?

— Ничего, я скоро вернусь. Тогда разберемся.

В городе была слышна стрельба. Где-то на окраине строчили пулеметы. Туда-то и поскакал Денис со своими спутниками,

— Стрельба идет во дворе Вишневских. Значит, не сдаются, проклятые. Только бы не ушли, а то наши будут, — ворчал матрос, подпрыгивая на седле, как буй на волне.

— Лошадь покалечишь, моряк, возьми в шенкеля, сделал ему замечание Грицько Душка. — Это ж тебе не на палубе — слышь!

— Не тронь меня. Ноги в карцере перестудил, не гнутся, — объяснил тот.

Душка, подмигнув, примиряюще сказал:

— Ну, тогда пляши как придется, пущай ноги отходят.

Вот уже и пули завжикали над головами,

— Спешиться! — командовал Денис. — Свистни, Грицько!

Грицько свистнул заливчато, с соловьиным коленцем, Ему ответили таким же свистом,

— Свои с этой стороны. Заводи коней во двор. Сюда, за мной!

Предводительство взял на себя матрос, знавший тут каждую заборную щель.

— Мы сейчас через сад перемахнем. Скажи ребятам: пусть кроют с этой стороны, а мы обойдем с тылу. Бить только по дому, а по саду не шали: мы оттуда зайдем, иначе не возьмем. Это варта Вишневского обороняется. Дай-ка мне сюда «товарища»! — протянул он руку к ручному пулемету.

Грицько замотал было головой.

— Оружие не отдаю, товарищ. Ты лучше показывай, куда идти.

Он поглядел вопросительно на Дениса, но тот кивнул головой, и Душка отдал пулемет матросу и вынул из-за пояса гранату.

— Ну, веди!

Через несколько минут они стояли перед оторопевшим от страха старичком — «старым знакомым», палачом Вишневым.

— Не ожидал таких гостей, гад?

По сморщенному бритому лицу старичка разливалась смертельная бледность.

— Привести его в сознание, что ли? — шагнул к старичку матрос, плюнув в кулак.

Но Денис не стерпел при виде этой мерзейшей твари, мучившей на его глазах заключенных, да и его самого.

— Запиши на трибунал, — сказал он и выстрелил.

«Извиняюсь перед тобой, батько Боженко, — подумал Денис тут же. — «Сердце не камень!» Вот и я не дождался трибунала. Извини, отец, за упрек».

Дверь в следующую комнату, откуда слышалась стрельба, была забаррикадирована. Матрос приналег могучим плечом, поддал разок другой и, распахнув дверь настежь, сыпанул прямо в темноту пулеметным дождем.

Раздались вопли и смолкли. Сквозь дым сначала не было ничего видно. Матрос взял со стола керосиновую лампу и бросил ее с размаху в темноту. Лампа разбилась, и керосин вспыхнул, осветив огромный зал, на полу которого лежало несколько корчащихся людей. Окна были раскрыты настежь, и на столах и у окон стояли пулеметы. Матрос поднял бомбу и сказал:

— Эх, и этих запиши на трибунал!

Раздался взрыв.

Дым опять на минуту застлал все, а матрос продолжал сыпать в дымящуюся дверь пулеметную очередь. И Денис вспомнил при этом, что Щорс называл пулеметчиков «пожарниками».

— Пускай «тушат» это чертово заведение! Не существовать вам больше, палачи! Пойдем отсюда.

Остер защищался только в двух точках. К рассвету над домами развевались красные знамена. Закипела деловая работа ревкома у прифронтовой полосы.

Наутро неожиданно нагрянул опаздывавший из-за дальнего обходного маневра через Гомель Гребенко со своим кавполком Первой дивизии.

— Вот уже идем без дела неделю целую. Отвяжись ты от меня, товарищ Кочубей. Отдай мне братву и лошадей и катай домой. Функцию ты мою отбиваешь!

— «Функции» у тебя будут, — мигнул ему Денис. — А братву, видно, и впрямь придется тебе отдавать. Я ведь временный командир: придется тыловыми делами заниматься.

— Знаю — про то и речь. Там у тебя дома неблагополучно.

Гребенко проходил через Городню и привез Денису, сообщение о городнянских делах и о ранении Петра, которое он нарочно раздувал перед Денисом, как раздувал и «тыловые беспорядки», чтобы забрать поскорее у Кочубея обещанную ему партизанскую кавалерию.

Денис не сразу поверил сообщению о ранении брата, догадываясь о том, что в чем-то хитрит Гребенко. Но к вечеру, связавшись по телефону с Черниговом, узнал всю правду.

В ночь перед выступлением из Остра командиры собрались в ревкоме, чтобы обсудить план дальнейшего движения.

— Для данного собрания, — сказал Бубенцов, — характерно то, что военные части представлены здесь исключительно кавалерией. Забегая несколько вперед, я решусь, в качестве предвидения будущей обстановки гражданской войны, высказать предложение, безусловно лестное сердцу присутствующих здесь кавалеристов, что конница сыграет у нас огромную роль. Я не военный человек, но в тюрьме мне многое удалось передумать и по военной части. Этим высказыванием я отнюдь не хочу уменьшить роль пехоты, которая была, есть и останется основной базой армии, закрепляющей победы. Однако ваше быстрое появление, товарищи конники, особенно волнует нас, здесь сидящих, так как именно этой быстроте вашего марша обязаны мы своими жизнями. Завтра вы бы нас живыми не застали. Поэтому разрешите и мне, пока что не военному, участвовать в вашем совещании на равных правах, тем более что я среди вас вижу немало таких же птенцов военного дела, ставших орлами в течение нескольких дней.

— Я тоже сельский учитель, а не военный спец, — сказал Гребенко. — А тебя мы вот с места в карьер и мобилизнем для армии. Мне нужен военком. А ты — мало что стратег, так еще и агитатор неплохой. Язык у тебя не завязан, и говоришь ты, как оратор, Александр Гаврилыч. Со всех сторон ты для меня подходящий!

— Что ж, я не прочь. Но у меня, товарищи, «семейные дела». Я, можно сказать, здесь «отец организации», несмотря на молодость лет, и пока не сведу концы с концами, мне нельзя отсюда оторваться. А кроме того, зачем ты требуешь меня, товарищ Гребенко, когда вон рядом с тобой сидит Денис Кочубей? Он, по-моему, должен с тобой объединиться и вместе составить

целую — кавалерийскую дивизию или хоть бригаду на первых порах.

— Не выйдет, — отозвался Денис. — Вот письмо от Черноуса из Городни, которое я только что получил. Я, как и ты, связан «семейными делами» — тыловыми делами. Следовательно, это пока мой последний поход. Я должен вернуться на место. Что касается моей конницы — то она уже давно вручена Первой армии, и теперь не мое дело ею распоряжаться. Я думаю, что Гребенко не останется в обиде и конников моих добрую долю получит. На днях, перед Киевом, это выяснится.

— Сколько тебе понадобится времени для ликвидации «семейных дел»? — спросил Гребенко Бубенцова, видимо никак не желая расстаться с мыслью отвоевать его себе военкомом.

— Берите Киев. После взятия Киева я в полном твоём распоряжении, Гребенко. Можешь ставить об этом вопрос перед организацией... Ну, пока давайте ваши стратегические предложения, я местность здесь знаю и помогу разобраться.

— Карта у меня есть, — отвечал Денис.

Предложение Дениса об охвате отступления гетманско-петлюровской черниговской группы сводилось к тому, чтобы Гребенко шел на Нежин для соединения с нежинскими партизанами. Он же брал на себя Козелец, как обещал Щорсу. На том и порешили.

В КОЗЕЛЬЦЕ

— Хорош твой усач! — сказал Денису Душка, подсаживаясь к нему. Он имел в виду освобожденного вчера из остерской тюрьмы Денисова товарища — Александра Бубенцова.

— А что я тебе говорил!

— Увлекаюсь я такими людьми, как книжкой для чтения! — хлопнул Душка Дениса по колену. Помолчал и вдруг подхватил стихающую песню:

Да по крутому бережку
Казачок идет,
Легкую винтовочку
С плеча вскидаёт.

— Так чем тебе мой усач понравился? — спросил Денис, когда песня опять пошла нырять, как ладья, в волнах хора, направленная гребцом-запевалой...

Душка бросил хору новый куплет и, толкнув в бок соседа, подвыив ему на ухо, как камертон, и усмехнувшись в ус, опять повернулся к Денису, Запели «Закувала та сива зозуля».

Вдруг дверь с шумом отворилась, и вошел Сапитончик.

— А ну, бросьте петь петлюоровскую песню! — крикнул он с порога. — А то вон те гады, пленные, подхватили.

— Где подхватили, Пистон? Что ты мелешь? — заинтересовался Денис. — Пойте, не слушайте его, дурака!

Сапитон несколько смутился.

— Да вон, мы их в закут посадили во дворе, они оттуда и хоркают. Там их человек полтора. Услышали

«Закувала», сразу подхватили. Наверно, сон им приснился, что к своим попали.

— Продолжайте петь, ребята. А ну, пойдём, Сапитон! — Денис поднялся, опоясался оружием и вышел вместе с хитро подмигивающим Сапитоном, полагающим, что уж тут-то будет интересное дело.

Но Сапитон не разгадал намерений Дениса и, удивляясь, говорил после товарищам:

— Непонятный мне человек Денис. То вчера кричал: «Рубай их в пень,

живыми не оставлять гадов!» А то — на тебе, разжалился.

— Заткнись! — говорили ему другие, подальновиднее. — Ничего ты, Пистолет, не понимаешь. «Рубай у пень» — в бою, значит, руби, — иначе нет победы. Ну, раз ты победил, лежачего не бей, озорная твоя душа. С лежачим, значит, разберись, как он тебе покорился. Время у тебя есть. А толку у тебя — вот он весь, — щелкнул Савка Татарин Сапитона по лбу. — В песне душа настезь, понимаешь ты, у человека. Тут ты к нему как в открытую дверь идешь. Вот почему Денис и пошел к ним.

Татарин был прав. Услышав от Сапитона, что пленные поют, Денис понял: раз люди поют, значит у них душа жива.

Направляясь к пленным, он так и сказал Сапитону:

— Заметь, Сапитон, — мертвецы не поют.

— Да мы ж их еще не расстреляли, — возражал, ничего не понимая, Сапитон.

Когда они вошли в пустые хлебные амбары, где сидели, скучившись для теплоты, пленные, песня вдруг замолкла.

— Ничего, пойте, а я послушаю, — сказал Денис. — Неплохо поете.

— Да это мы по себе панихиду поем, товарищ атаман. При людях несподручно.

— Умирать, значит, надумали?

— А то как же, — откликнулся еще один голос. — Известно — пощады у вас не будет.

— Ну, надо было в бою умирать, когда такая охота. Пленных мы не расстреливаем.

Кареглазый красавец запевала горько усмехнулся, видимо не решаясь поверить.

Толпа пленных оживилась. Многие из сидевших повскакали, но еще боялись подойти к Денису, хотя, видно, искра доверия уже пробежала между ними.

— Ведь большевики вы, а наши украинские песни поете... Это ж вы нарочно, — отозвался кто-то невидимый из-за чужой спины.

— Вот большевики-то и дали свободу нашим украинским песням, — отвечал Денис. — Идемте к нам — сами увидите.

И, недолго думая, Денис повел «гостей» в общую казарму. Идя за Денисом, пленные чувствовали себя неловко.

— Не на расстрел ли это?

— Да нет, зачем им издеваться?

— Не на расстрел и не на издевательство, а на братание, — сказал резко Денис.

— Садись, братенники, — сказал Сапитон, входя в новую роль, как только вошли пленные в общую казарму.

Партизаны тоже сначала не поняли Денисова маневра, но после минутного замешательства освободили гостям левую сторону.

Денис что-то прошептал на ухо Татарину.

— Ну что ж, давай начинать, — крикнул весело Савка Татарин. — Кто кого перетянет. Кто у нас тут запевала? Выходи на кровавый бой!

Ему показали на кареглазого. Но тот мотнул головой.

— Начинай «Закувала», а я буду «По синему морю» солить. Ну, начинай, не ломайся, — подбивал кареглазого Татарин.

Пленный вытер рукавом усы, чуть улыбнулся хитрым глазом и начал:

Закупала та сива зозуля
Раним-рано на зорі.
Ой, заплакали хлопці-молодці
Тай на чужбині в неволі, тюрмі...

«Но что же это за песня! Нам нужна песня торжествующей победы», — подумал Денис.

— Запевай, Савка, «Интернационал», — сказал он, когда кончили «Зозулю». — Вы не знаете его? Так научитесь. С ним русские добывали себе свободу. А теперь — дело за нами.

Партизаны запели и встали. Встали и пленные и сняли шапки. Когда спели, Татарин махнул рукой,

— Накройсь! Садись, ребята. Значит, вы теперь в нашу веру похрещены.

— Давай теперь любую, чтоб да здравствовала советская власть и братство народа. Да давай и пляснем по разу. А ну, выходи!

И Татарин, мигнув гармонисту Матюку, пошел отплясывать русскую.

— Да здравствуют большевики! — крикнул вдруг кареглазый запевала и, склонив лицо на рукав шинели, вытер набежавшую слезу. — А мы думали — вы нас прикончите.

— Теперь гопака вдарим, — рассмеялся, глядя на запевалу, Татарин.

Ой, на дворі чечіточка,
Не цурайся очіпочка.

— Оце так!

— А кто тут у вас за главного? — спросил Денис, когда сплясали и спели добрый десяток песен. — Я не про офицеров, их среди вас нет. А кто у вас будет теперь за старшого?

— Вон он же и есть наш главный, — указали на запевалу, — Рубан Павло: це ж наш партизанский командир.

— Та мы ж не петлюровцы, — сказал Рубан, — а то хибя б так! Мы с Дубовицкого полку, с Глуховщины. Може, чули?

— Ах, так вот кто вы такие? — протянул Денис. — Знал бы — не дал пощады. Ну, да теперь ничего не поделаешь.

— Дозвольте мне с вами, товарищ командир, поговорить.

— Ладно, завтра поговорим обо всем. А сейчас пора спать. Расквартировывайтесь, ребята. Устройте и товарищей.

— А с усим удовольствием, — отвечал коновод и квартирмейстер Самойло Самойлович Самойленко. — Вы ж теперь крещеные, сукины дети, — ножами нас не прикуете, лягай рядом, всем места хватит.

НА КИЕВ

В середине января петлюровское командование сообщило в киевских газетах:

«В направлении Чернигов — Киев положение угрожающее: население Черниговщины симпатизирует большевикам, избравшим стремительную тактику движения, не обременяющую население длительными постоями... Черниговщина выставляет целые партизанские отряды в помощь движущейся на Киев русской большевистской армии под командой некоего Щорса».

Богунский полк из Чернигова выступил на Козелец, Таращанский — в направлении Нежина, объединившись в Веркиевских лесах с нежинскими партизанами под командой матроса Наума Точеного.

В то же время остальные два полка Первой Украинской дивизии — Новгород-Северский и Нежинский, — взявшие с демаркационной линии направление на Харьков, заняли Бахмач и Конотоп и шли к Харькову на соединение с ворошиловской группой войск в районе Полтавы.

Бригада Щорса двигалась действительно молниеносно, используя в пути санный способ для передвижения пехоты. Впереди его шла фланговым обходом кавалерия Кочубея, соединившаяся в Остре с кавалерией Гребенко, принявшего под свою команду добрую половину кочубеевской кавалерии, в то время как Денис Кочубей с остальной своей кавалерией был отправлен по предложению Щорса в тыл, который при таком скором марше войск, естественно, нуждался в специальной чистке. Кроме того, Денису Кочубею было поручено разыскать застрявший где-то в лесах Глуховщины, ушедший самовольно с нейтральной зоны Дубовицкий полк, вернуть его в подчинение дивизии и позаботиться о снабжении Первой дивизии, оторвавшейся в своем скором марше от тыловых баз фронта. Петлюра у Киева сосредоточил свои главные силы, судя по данным разведки, в количестве от пятнадцати до восемнадцати тысяч человек, из которых до пяти тысяч прекрасно вооруженных и вышколенных «сичевиков» из обученных и сформированных в Австрии и Германии. Петлюра намеревался дать генеральное сражение идущей на Киев большевистской дивизии в полсотне километров от Киева, у Семиполок, куда он и выдвинул свою «знаменитую», так сказать «гвардейскую», бригаду галицийских «стрильцев» в количестве трех полков, прикрывая ее артиллерией с тыла и флангов, в том числе и двумя броневиками,

курсировавшими в направлении Бровары, Дымарки, Бобрик, Бобровицы. С этими броневиками вел бои на своих самодельных броневиках батько Боженко из Нежина и сковывал их фланговые действия по отношению к центральной щорсовской группе. Ночью 24 января 1919 года Щорс сделал еще один смелый бросок вперед к Киеву, посадив на сани чуть не весь свой полк, и под прикрытием ночной метели обошел от Козельца с левого фланга петлюровцев у Семиполок и прижал их к железной дороге у Рудна — Бобровицы, где «сичевики» попали под обстрел таращанской артиллерии с трех курсирующих по линии от Нежина боженовских бронепоездов — двух самодельных и одного настоящего петлюровского бронепоезда «Сичевик», взятого батьком Боженко в «броневом» поединке и уже переименованного в «Коммунист».

Щорс во время этого внезапного флангового обхода взял в плен целиком прикрывающий «сичевых стрильцев» мобилизованный из крестьян Киевщины полк, сдавшийся без боя, который тут же после смотра и распустил по домам с наказом в виде документа, выданного каждому пленному на руки:

«Гражданин Н., обманутый Петлюрой, отпущен домой с обязательством честно работать для Советской Украины. Командир 1-й Богунской бригады Украинской Советской Армии Н. Щорс».

Тридцатого января богунцы и таращанцы объединились у Погребцова и Гоголева, и Щорс повел в наступление на Киев (к Броварам) уже всю бригаду, то есть около семи тысяч штыков, не считая гребенковской кавалерии, насчитывавшей уже до тысячи пятисот сабель.

Первого февраля над Броварами появился вражеский самолет, вылетевший из Киева; чтобы запугать наступающих большевиков, самолет выбросил множество листовок, содержащих фантастическую угрозу, что «войска Директории будут применять фиолетовые лучи, которые ослепляют людей, и что если армия большевиков осмелится наступать на Киев, она вся целиком будет ослеплена».

Населению предлагалось прятаться заранее в погреба. В этот же день, несмотря на получение листовок, Щорс повел наступление на Бровары лесом, тянувшимся от Семиполок до самого Борисполя, в котором засела фланговая группа «сичевых стрильцев». Скрываясь лесом, Щорс обошел центральную группу «сичевиков» в Броварах, отрезал ее от правого фланга (Борисполя) и, маневрируя движением своих трех батальонов, как на оси вокруг центра, которым являлся Первый батальон, предводимый им, он ворвался в Бровары прямо из лесу, поливая не ожидавших его оттуда «сичевиков» пулеметным дождем, со своим знаменитым боевым кличем:

«Пожарники, за мной!» (то есть: «Пулеметчики, за мной!») Этим маневром Щорс разом покончил с центральной «гвардейской» группой. И, взобравшись на колокольню в освобожденных, от неприятеля Броварах, Щорс любовался видом с нее как на ладони Киевом, а также и паническим бегством остальных двух «сичевых» полков, окружаемых повсюду таращанцами и богунцами и сдающихся самым позорным образом.

Этот стремительный и отважнейший бой под Броварами в двадцатиградусный мороз и решил судьбу Киева.

Петлюра, узнав о разгроме своей знаменитой «гвардейской сичевой бригады» Щорсом, бежал из Киева не оглядываясь; как говорили бойцы: покати «колбасой до Житомира».

И пятого февраля высланная в Киев разведка донесла Щорсу, что петлюровцы оставили Киев и спешно отходят на Васильков и Фастов. В городе уже восстановлена самим городским пролетариатом и руководящими большевиками-подпольщиками советская власть.

В десять часов утра пятого февраля Щорс ввел свои знаменитые героические полки — Первый Богунский и Второй Таращанский — в Киев. Он был встречен на Подоле движущейся с Крещатика делегацией киевлян (арсенальцев) хлебом-солью, положенными на двух блюдах с вышитыми украинскими узорами полотенцами, на одном из которых красовалось нашитое красным: «Миколе Щорсу», на другом: «Батьку Боженко».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ БАНДИТЫ



*Он, що ж бо то тай за ворон,
Що над лісом кряка..*

Старинная украинская песня

ПЕРВАЯ БАНДА

Городнянщина освободилась от кулачья.

Киев был взят богунцами и таращанцами в начале февраля 1919 года. Кулачье в тылу было разоружено, и их вожаки расстреляны. Контрреволюционное восстание по ту сторону Днепра началось в Мозыре. Прорвавшийся к Гомелю генерал Стрекопытов был разбит.

После ликвидации Стрекопытова Городнянщине уже непосредственно не угрожала контрреволюция. В борьбе с кулачеством и затем со Стрекопытовым крестьянство в уезде закалилось, и беднота стала организовываться в комбеды.

Помещичьи и казенные земли распределялись между беднотой. Продразверстка наладилась, зерно к весне было засыпано по гамазеям.

Еще в Козельце Денис взял пленных петлюровцев и среди них группу глуховских тыдневцев из бывшего Дубовицкого полка, отколовшихся от Красной Армии во время партизанского конфликта на Зоне. Ему удалось вернуть часть из них обратно в Красную Армию.

Между тем на Глуховщине анархия продолжала развиваться. Понабралась туда чуть не половина всей махновщины. Всего у них было чуть не сорок вожаков.

Численность их войска — примерно тысяч шесть или восемь.

И Александр Бубенцов, назначенный председателем Черниговского губкома, договорившись с губвоенкомом, согласился на просьбу Щорса направить Дениса Кочубея с его отрядом на Глуховщину для борьбы с контрреволюцией в тылу. Денис отправился туда немедленно эшелоном со своими четырьмя оставшимися у него эскадронами.

Поезд остановился на станции Терещенская. Денис вышел из теплушки и отдал распоряжение отвести эшелон на запасной путь. В это время к нему подошли трое военных и один штатский, видимо ожидавшие его.

Штатский, поздоровавшись, сказал, подталкивая одного из военных, физиономия которого показалась Денису знакомой:

— Он нас не узнаёт! Ты нас не узнаёшь, Кочубей? Мы — остерцы, свидетели твоего осеннего ареста и люди, обязанные тебе освобождением в январе. Не помнишь?

Но Денис уже вспомнил — во всяком случае одного из военных: это был тот самый офицер, которого назначил матрос Силенко комендантом

остерской тюрьмы в ночь взятия города. Теперь Денис, взглядевшись в него, узнал в нем офицера, подходившего к волчку его камеры. «Маскировавшийся гетманчук», — подумал он.

Денис обернулся к сопровождавшим его двум эскадронным — Душке и Антону Буленко — и сказал:

— Взять эту сволочь!

— Я местный военком, — заявил офицер. — Это что же такое? Вы в своем уме?

Двое военных, стоявшие в стороне, не протестовали против этого ареста. Наоборот, как только увели арестованного, они подошли к Кочубею и заявили:

— Рады вашему прибытию. Надеемся, что наконец получили настоящую опору.

— Разрешите представиться, товарищ Кочубей, — сказал идущий рядом с Денисом человек, — и представить моих товарищей. Я — командир батальона УЧК, а это мой начальник — пред УЧК.

— А я начальник конной милиции, Евтушенко моя фамилия, — представился подошедший третий.

— Вы можете мне дать сейчас дислокацию?

Один из военных достал карту и показал.

— Мой отряд в засаде под Маковым, Не отводите эшелон с пути. Он до Макова может идти по ширококолейке, Здесь мы тесним отколовшуюся от бандитского центра группу, она засела в лесах между Маковым и Шосткой.

Денис рассматривал карту.

— В Шостке у вас кто?

— Шостка охраняется Особым московским отрядом. Бандиты пытались ее захватить прошлой ночью, но были отбиты. Вот оттуда-то они и ушли в этот лес.

— Садитесь в мой вагон, товарищи, — сказал Денис, — и, пока доедем до Макова, проинформируйте меня обо всем.

— Деловой! — сказал Евтушенко Кийку, комбату, когда Денис отошел.

— Сразу взял на прицел гада!

— Кто из вас местный? — спросил Денис, когда все уселись в теплушке.

— Я местный, — сказал Евтушенко. — А товарищ Киёк — новгород-северский.

— Так расскажите теперь толком: в чем у вас тут дело? Что за банда такая?

— Про Тыдня, должно, знаете? — спросил Евтушенко. — Он —

организатор Дубовицкого полка, что был на нейтральной зоне.

— Так, знаю. Самовольно ушел с Зоны.

— Да, я тоже из его отряда. И на Зоне был с ним. Но нас человек пятьдесят после ухода откололись — за советскую власть, когда Тыдень пошел против. И Васька Москалец с нами был, что сейчас адъютантом у Тыдня. Он от нас послан для связи к нему — через него и идет нам вся информация. Опять же — Рубан, которого вы откомандировали с Козельца для агитации, он здесь. Он тоже теперь с нами и тоже сейчас находится при Тыдне. Тыдень, в общем сказать, наш, но пока не распутался совсем. Вас дожидается. Ну, а прочие — шушера. Их тут до сорока человек, ватажков: есть и местные, есть и прибуды. Есть и от Махна, и от Петлюры, да, должно, что и от шляхты есть. Всякой твари по паре. Все они думают на Тыдне и его популярности воронье гнездо скубить^[21]. Он уже и сам теперь все раскумекал, в какую сетку запутался. Да человек он с амбицией: раз с советской властью поспорил, оправдаться перед нею должен делом; а это теперь не так просто. Я говорил с ним. «Ты мне не протекция, что ты мне веришь, говорит. Мне надо, чтоб мне сам Ленин поверил. Я же свою амбицию имею. Я же не изменник какой, — мало что анархист, я могу рассуждать и своей головой и ответ держать. Да если б советская власть имела толкового человека в Глухове, то она могла бы меня понимать, а если сто дермачей (это он о ватажках) карьеру свою на мне играют, то я к этим, окромя презрения и классовой ненависти, ничего не имею».

— Значит, его здесь затравили? — спросил Денис.

— Мало сказать — затравили: в гроб живым загоняют, — сочувственно отозвался Евтушенко.

— Как так? — заинтересовался Денис.

— Это я докажу, — сказал Киёк. — Дело это губ-кому известное; мы докладывали.

— Хорошо, — сказал Денис. — Но все-таки остальные-то кто же — сорок вожаков? И в каких отношениях с Тыднем?

— Артамонов — прапорщик, бывший командир Тыдневского, или Дубовицкого, полка. Сейчас у них наждак получился в отношениях — протерлось. Маслов — местный земец, самый считается у них грамотный, полный интеллигент, анархист, редактор газеты, агитатор; бьет в вожжи и тянет к себе и Артамонова от Тыдня. Яценко — петлюровец. А по всему видать, польский агент — поляк сам. Под этим ходит Щекотюк. И сосватали они Маруську да Бусла, хоть эти и махновцы, а просто сказать — бандиты. Кривущенко был еще, «нищанец», или как там это, «Нище», что ли, был такой немецкий, сказать, анархист-антихрист. Книжка у него,

«Золотуэтра» кака-то?

— Нице и Заратуэтра, — поправил Денис.

— Ну, вот я ж и говорю — «Залагуэтра». Тот говорил: «Я еэть герой свэрччеловечный и никого на свете не признаю над собой. Идите за мной, и все будете, как я, природные герои». И вот за ним герои: Убийбатько, Костюченко, Карай, Федосенко, а после и Шуба приступил — пастух простой, но геройский хлопец. Кривутенко месяц тому убили в городе, — заманули и убили. А дальше идут уже просто сплошные бандюги. Знаю одного, был геройский парень действительно. С оккупацией дрался на первый сорт. Спортился. Хрип тоже — оторви да брось. Полуботько да Рубан — эти вроде сознательные. Полуботько — бывший учитель. Ну, Рубана ж вы знаете? Он за нас. Агитатор только из него не вышел. Еэть там у них еще одна дивчина грамотна. Учительша, геройская дивчина. Она с ними по случайности. Еэть еще слипый — бандурист. Ну, просто бандурист, а тоже у них за атамана. Там еще их до черта. Разве всех перечтешь! Перебить всех придется, вот тогда и сосчитаем. Ну вот, мы уже и доехали. Маково, товарищ Кочубей!.. Ага, совсем забыл сказать: они ж сейчас в разброде. Тыдень объявил вне закона десятерых «вождей», в том числе и самого Артамонова и Маслова. Так что они тоже где-то тут гуляют. Ну, для порядка всех надо бить по очереди.

Поезд остановился, и Евтушенко прыгнул.

— Здесь дороги расходятся навкрест, товарищ Кочубей, — сказал Евтушенко. — Вот видно отсюда, с бугорка, — показал он пальцем.

С горки от станции по белому мокрому мартовскому снегу был виден ровный крест расходящихся дорог у опушки огромного хвойного леса, за которым белели башни монастырской колокольни, золотели купола. День был на редкость ясный. Первая солнечная теплота дня весеннего равноденствия. Было девятое марта.

— Прямо в лес — дорога на монастырь. Женский монастырь, с монашками, — прибавил Евтушенко и улыбнулся. — Бандиты хоть в бога не верят, но этого монастыря боятся. Там у нас пушка мазепинская чи шведская имеется — камнем стреляет, — еще шире улыбнулся он. Теперь видно стало, какой он красавец, хоть и рябой. — В селе — наш отряд. Направо — дорога на Чарторыги, резиденция Тыдня, налево — на Шостку. Со стороны Чарторыгов их, должно, поднажал Тыдень: туда им ходу нет. Со стороны Шостки вчера отбили «москвичи». Сейчас получим донесение разведки.

Евтушенко вскочил на коня и ускакал.

Денис, объехав фронт своих построившихся всадников, объяснил суть

предстоящей операции.

— Разрешите доложить, товарищ командир, — вернулся через минуту Евтушенко, — что Тыдня со стороны Чарторыгов не слышать. Говорят, погнался за Артамоновым. Бандиты в лесу. Мой отряд находится с ними в перестрелке.

— Ну что ж, отправимся на место.

— Я полагаю гнать их лесом, а нам с вами выехать к открытой группе, где идет бой.

— Давай, — согласился Денис. — Один эскадрон пойдет в обход на Шостку. Тебе, Лобода, на Шостку. До моего распоряжения оставаться там. Перейти под командование местного отряда. Второй и третий эскадроны — у леса спешиться и прочистить лес насквозь. К вечеру быть в Ярославце. Четвертый эскадрон — за мной!

И Денис повернул за Евтушенко. Киёк следовал за ним.

Проезжая мимо монастыря, Денис увидел ту пушку, о которой говорил ему Евтушенко, — допотопную пушку петровских времен, взятую на шосткинском заводе, построенном еще Петром Первым. Денис подъехал к пушке.

— Вот она, наша Маша! — похвастался Евтушенко. — Увели у Тыдня. У него было две, одна осталась.

— А кто командир? — спросил Денис.

— Я, — небрежно отозвался маленький куценький человечек в подоткнутой шинели, сидевший на круглых тесаных камнях и жевавший краюху хлеба. Он подозрительно осматривал Дениса, одетого в немецкую шинель. — Ты что ж, артиллерист?

— Фелильвелькир царской службы, — приосанился командир. — Да вот и бонбы, — показал командир на круглые белые тесаные булыжники, на которых он сидел.

— Ну, давай, папаша, поддерживай! — пожал руку Денис.

— Расшляпаю как следует! — крикнул ему вслед пушкарь.

Пока скакали вдоль леса на Чарторыги, Денис расспрашивал Евтушенко.

— Так Тыдень, по-твоему, человек стоящий?

— Лютый человек! — отвечал Евтушенко, тяжело при этом вздохнув. — Дошел до беды и сам не рад.

Невдалеке послышались отдельные выстрелы, затем — короткая пулеметная строчка.

— Расписываются в смерти. Здесь! Стой! — сказал Евтушенко и осадил лошадь.

Денис махнул рукой, и эскадрон, отставший на сотню шагов, остановился.

— Пускай облегают тыл лесом, а пол-эскадрона спешь да продери по лесу, — сказал Евтушенко Денису. — А мы вон туда потопаем. Вон и наши скачут! — показал он вдаль.

Евтушенко поднял саблю, помахав ею в воздухе, и помчался навстречу двум всадникам, Денис и Киёк поскакали за ним.

— Залегли в канаву и клюют из пулемета, не можно подступиться, наши в обход пошли, — сообщили разведчики.

— Отдать коней коноводам! Пулеметчики — вперед, за мной! — скомандовал Денис.

Подъехав ближе к лесу, он спешился и, взяв «люйс», пошел к канаве, окаймляющей лес. Он пустил по канаве первую очередь. Крикнул, подбегая ближе:

— Сдавайся, гады! Выбьем!

— А хрена!.. — крикнули из канавы. — Получай, на!

Ветки посыпались с дерева и осыпали хвоей Дениса и Евтушенко. Они вскочили в канаву.

— По канаве! — крикнул Денис подбегающим пулеметчикам.

— А, гад! — раздался крик Евтушенко. — На, получай!

Прозвучало несколько выстрелов. Евтушенко стал выбираться наружу, таща за собою убитого.

— Щекотюк! — закричал он. — Щекотюка коцнул. Ложись, Кочубей! Киёк, ложись! Зараз они в атаку пойдут. У них уже патронов нету, последние доигрывают. Ребята, поднажми! — крикнул он в кулак, как в рупор, бегущим по канаве пулеметчикам.

— Бросай гранаты! — приказал Кочубей.

Разом взорвалось несколько гранат, и будто выбросило людей из канавы: десяток бандитов вскочили на поляну и упали в снег, лицом к стрелкам.

— Ползут, живые! Полосни их из «люйса»! — закричал Евтушенко.

Денис пустил две очереди. Подползшие бандиты вскинулись еще раз и упали. Но один из них побежал, как ни странно, вперед, а не назад.

— А, черт! — выругался Евтушенко и, не расслышав окрика Кочубея: «Не бей, то баба!» — выстрелил.

Женщина упала.

По всей канаве все дальше и дальше хлопали гранаты. Когда из канавы вырывались бандиты, они попадали под перекрестный огонь пулеметчиков и стрелков, окружавших уже сплошной цепью взгорье, прилегающее к

лесу.

— Отчего они не бегут в лес? — недоумевал Денис.

— Тай там жара — клопам душно, — отвечал Евтушенко. — Они пробовали. А думаешь, там их нет? Еще будет работы! Это ж мы самое кубло выкурили. То Щекотюк, — показал он пальцем, — то Маруська, что я подцепил. А тот вон, вверх бородой, должно, что Ященко лежит. Ну да, он!.. Бусла не видать что-то, должно, в лес ушел. У них уже патронов в обжимку. Тыдень арсенал в Ярославце себе забрал, а их выгнал. Вот они и подались на Шостку беспатронные; думали там подлататься, да и прошостились. Ну, теперь подыматься пора. Ребята их взяли в шоры. Брось отсюда в обход еще пару конных — вон до того столба, что под горой. Там лес кончается, они под горою пройдут, да и выйдут к ровчаку — тому эскадрону в связь, что в обход сперва пошел. Он туда обязательно выйдет, больше некуда.

— Взвод, по коням! Низом — право столба! — скомандовал Денис. — Выходи к яру!

Первый взвод вскочил в седла и вихрем помчался под гору. А Денис и Евтушенко подошли к убитым.

— Настреляли вовкив, — сказал Евтушенко, — и буркой не накроешь!

Один из лежавших вдруг застонал и потянулся рукою к поясу, на котором висел ящик от маузера. Ящик был пуст: маузер лежал в стороне на снегу.

— Ишь чего захотел! — крикнул Евтушенко. — Еще жалить думаешь, гнида! Не выйдет твое дело, пёс!

— Там... одна пуля... — с трудом проговорил раненый.

Евтушенко поднял маузер.

— Для себя берег... Убейте скорей, прошу вас... — сказал раненый.

Евтушенко поднял маузер, отвел затвор и, убедившись, что в магазинной коробке зарядов нет и лишь одна пуля в стволе, сказал:

— Что верно, то верно, — и нацелился раненому в голову.

Денис схватил его за руку.

— Это ж Ященко! — сказал Евтушенко, помогая Денису повернуть раненого на спину, чтобы осмотреть рану.

— В живот, — произнес Денис. Он вынул бинт из сумки и принялся перевязывать раненого.

Евтушенко укоризненно посмотрел на Дениса. Взор его выражал: «Да брось ты его, пса!»

— Где здесь ближайшая больница?

— В Ярославце, — ответил Евтушенко.

— Доставьте его туда, да чтоб жив был. Понял?

Наконец Евтушенко догадался, для чего Денису нужен был этот человек.

Евтушенко свистнул и что-то строго приказал подбежавшему хлопцу. Тот мигом понесся обратно к коню и, вскочив на него, гикнув, помчался вперед. Евтушенко пошел по полю, переворачивая ногою трупы.

— Гляди, никого не пристреливай! — крикнул ему вслед Денис и пошел к коням, стоявшим в овраге.

— Знаю! — недовольно крикнул в ответ Евтушенко.

— Его же батьку оккупанты очи выкололи, — сказал Денису Киёк, едучи с ним рядом. — Вот он и не имеет теперь ни к кому пощады. А так хлопец — душа. И его самого уже эти бандюги пытали. Поймали... Вон у того самого Щекотюка он под чоботом лежал тому месяца два назад. Да Васька Москалец нарвался и выручил. А то бы прикончили хлопца.

— А вот эта, — показал Киёк на убитую женщину, мимо которой они только что проехали, — тоже тогда была с ними и издевалась над Евтушенко по-своему, по-бабскому.

Выстрелы в лесу прекратились. Вдалеке показалась из-за яра цепочка всадников взбирающихся по мокрому снегу на гору. Денис закричал:

— Вертай! — и поскакал навстречу.

— Тут вообще, брат Кочубей, дела крученые, перекрученные. За нихто Евтушенко и пострадал. Я не хотел тебе говорить при хлопцах. Самых главных ты сразу взял под крышку. Это ты без ошибки. Может, ты и слышал про то? Про «казацкую могилу»? Не слышал?.. Так слушай. Попервоначалу, как приехала власть из Чернигова — вот эта самая, что в Маковой будке осталась, — кивнул он в сторону Макова, — Тыдень города не занимал. Он со своим полком в Чарторыгах да в Дубовичах стоял. А бандитюг этих тогда еще не было, не объявились, — кивнул он на убитых. — А вот и фершал идет, повернем подале, — сказал он, показав на приближающихся с носилками людей.

— Как дела? — спросил Денис подскакавших всадников.

— Бойчук убит, — сказал Грицько Душка и снял шапку.

Денис нахмурился и тоже снял шапку.

Подъехавший взвод окружил Дениса. Все снимали шапки, отдавая честь убитому товарищу.

— Никого в живых не оставили! — сказал Душка, гневно махнув рукой и надевая шапку. — Ваших нет!.,

— Это — бой!.. — сказал Киёк. — Слушай меня, — продолжал он, когда они отъехали. — Вот эти сопляки, что там в будке, ни разу в бой не

ходили сами, а что, сволота, придумали! Они написали Тыдню: «Ежели ты не против советской власти, входи в город спокойно». Но Тыдень не пошел.

Когда вошел Кривущенко в город, ему сказали: «Арестуй теперь Тыдня и его отряд». Кривущенко не согласился, выругался по-матерному и хотел уходить из города. Тогда вон та сучка, военком задрипанный, что сидит там в будке, взял да и убил его на месте, у себя на квартире, где и шел этот разговор. А отряд окружили и безоружных ночью повязали, да и бросили — сто пятьдесят человек! — в тот самый погреб, что еще сыздавна назывался «казацкой могилой»: в нем заживо поховали запорожцев вельможные злыдни, как тут говорят старые люди. Там колодезь — без дна. Да сверху еще и землю присыпали. Живых людей засыпали — слышишь? А назавтра объявили, что партизаны разбежались. Но пять человек действительно убежали. Они-то все и рассказали Тыдню. Тыдень бросился на город. Но тут Евтушенко выехал в Чарторыги и предостерег Тыдня. Хай пошел на весь гай. Впоследствии и Евтушенко ж поймали и хотели убить, как главного виновника. Руки ему повыкручивали, вешали на проволоке. Кипятком ноги пообваривали. Чего не делали, ну все-таки он спасся.

Мы обо всем этом доносили в губернию. А нам оттуда сказали: ведите строгое следствие по этому делу, а мы, мол, вскорости беспременно вам подмогу пришлем и смену тем губпрохвостам, если это правда. И вот дело затянулось до сегодняшнего дня.

Правда, недели две назад приехал, вишь, новый председатель укома, но они и его уже опутали. Он приказал нам следствие по делу «казацкой могилы» прекратить, как «политически вредное». Ха! Слышь?

Как тут советскую власть устанавливать, когда против нее враги работают! Народу справедливость требуется. Это ж крестьянство — мирное население, забольше бедняки. Надо ж различать. Тыдень, правда, так и хотел. Мы ему через Ваську Москальца инструкцию дали и обещали свою поддержку. Одно время он в армию хотел ходу дать, когда Рубан от тебя приехал с предложением, но как раз к тому времени и случилось это дело с Кривущенко. Тут все и обломалось. А кроме того, дошли слухи, что и ты на фронте — против Стрекопытова. А он беспременно к тебе хотел.

Начало уже вечереть. Бой постепенно затих, и Денис решил ночевать, по предложению Кийка, в Тулиголовах.

Как ни казался Денис спокойным, но рассказ Кийка превосходил все, что мог он представить и чего мог ожидать от тех «губпрохвостов», в которых сразу узнал врагов.

Евтушенко передал вслед Денису с ординарцем, что решил сделать глубокую разведку и будет лишь ночью в Тулиголовах.

Два эскадрона, посланные в обход вокруг лесного массива, еще не возвращались.

Добившись по аппарату Шостки, Денис подтвердил свои полномочия и просил, чтобы посланный им эскадрон был расквартирован до распоряжения в Шостке. Шостка, получив его сообщение о разгроме банды, подтверждала, что «уже сейчас можно считать положение выигранным. Тыдень, очевидно, пойдет на сговор, он давно уже в оппозиции по отношению к прочим бандитам».

Высказав удовлетворение арестом военкома, шосткинский военком прозрачно намекнул, что «Глухов вообще представляет собою контрреволюционное гнездо». Командир отряда, говоривший по проводу с Денисом из Шостки, высказал в конце предложение произвести завтра совместно с присланным эскадроном маневр в сторону Новгород-Северска, чтобы разведать там леса, куда могли уйти остатки банд Бусла и прочих. Командир предлагал Денису в свою очередь пройти кавалерией местность в сторону Кролевца и Путивля.

В заключение разговора Денис попросил командира назвать свою фамилию и очень обрадовался, узнав, что батальоном в Шостке командует тот самый комбат Брянского полка Широков, с которым вместе он участвовал в недавней операции против Стрекопытова на Гомель, а военкомом у него состоит старый товарищ Петра Кочубея Коротченко из новгород-северских партизан.

Денис предложил Широкому и Коротченко использовать посланный эскадрон по своему усмотрению. Широков поблагодарил, и они простились.

Денис запросил Глухов о Петре. В ответ пришла телеграмма, что Петро еще не приезжал.

Пока Денис сидел на телеграфе, Киёк расквартировал эскадрон и, вернувшись, доложил, что Яценко доставлен живым на фельдшерский пункт. Нужно ли его везти дальше, в больницу в Ярославец, за три версты, или оставить здесь?

— А он в сознании? — спросил Денис.

— С проблесками сознания, но очень плох. Думаю, что до Ярославца не дотянет.

— Мне надо его видеть, — сказал Денис.

Когда они вошли в большую палату фельдшерского пункта, помещавшегося во флигеле при школьном дворе, фельдшер возился с раненым, вливая ему в рот какое-то снадобье.

— Вы что ему даете? — спросил Денис.

— Немного опия, чтобы приглушить боль. Он должен уснуть.

Больной с жадностью выпил лекарство и полугаса-ющим, но все еще хитрым взглядом посмотрел на Дениса.

«Такой взгляд я видел у подстреленной лисицы», — подумал Денис и сел на табурет, стоявший у кровати. Киёк остановился у дверей, в тени, и раненый на пего не обращал внимания. Он теперь неотрывно глядел на Дениса, как будто ему так легче было переносить боль.

— Хоть это и странно, — сказал он, — но мне все равно — я умру. Хотите знать? Мне все равно. Я агент дефензивы. А здесь — все дело в бандуре... — попробовал он криво улыбнуться и вдруг застыл в страшном оскале предсмертной зевоты или улыбки, обнажив все зубы, и, больше не закрывая рта, откинулся и затих.

Денис глядел на него, не сводя глаз, минут пять. Казалось, раненый застыл в невероятном напряжении сказать что-то злое, насмешливое. Но ему это не удалось. Минут через пять тело его распласталось, как бы освобождаясь от мучительных и ненужных усилий, и приняло спокойное положение. И тихо приблизившийся фельдшер, коснувшись его ладони своей сухой, шелестящей, как ветка, рукой, сказал с некоторой торжественностью самодовольства:

— Mortuus!

Денис кивнул, поднялся и вышел вместе с Кийком из палаты.

— Это что еще за загадка: дефензива и бандура? — спросил Денис Кийка, когда они вышли. — Ты что-нибудь понял?

— Дефензива, — отвечал Киёк, — то, должно, польская контрразведка. А бандура — это ж тут есть. Тебе говорил Евтушенко про слепца? Бандурист тут у них атаманует. Простой слепец-бандурист, но он тут старшина бандитского круга. Вот сам увидишь.

В отведенной под штаб избе их ждал Евтушенко, чем-то взволнованный: Он поднялся им навстречу.

— Обложил ихнее урочище. Приехал за тобой. Там у них сегодня вроде совет старейшин. Решают вопрос и о тебе — как тебя понимать и как тебя принимать. Думаю, что тебе бы следовало самому туда поехать. Я послал Ваську Москальца на Махово, чтоб связался с твоим братом в дороге, как только он сойдет с поезда. Я ему все рассказал. А в Глухов ему, пожалуй, без нас ехать не след. У Васьки письмо от Тыдня к вам двум. Ну, я письма не забирал, так все дело на словах знаю. Тыдень погнал за Артамоновым и Масловым на Волокитино. Он их гоняет уже два дня. Они ушли на терещенское имение. А завтра и мы, должно быть, там будем. Что ж, едем?

— А это что за «кочубеевское урочище»? — спросил Денис.

— Пока было не твое, да, может, твое будет, — усмехнулся Евтушенко. — Это урочище графов Кочубеев под Ярославцем. Эскадроны твои там. Ну, я приказал им лисовиков не пужать. Там у них сегодня панихида.

— По ком панихида?

— По побитым, — улыбнулся Евтушенко. — Уже знают. Только это у них так: насчет этого полное сочувствие. В общем, «сам узнаешь — будет время, смело вкладуй ногу в стремя», — продекламировал он, изменяя своему лермонтовские строчки.

— А Яценко твой к богу пошел, — сказал Киёк Евтушенко.

— Ну и холера! — махнул рукой Евтушенко,

— Едем! — сказал Денис.

— Эскадрона не рушь, пусть отдыхают. Мы втроем, нам больше никого не надо, там людей хватит.

— Ты, Грицько, останешься с эскадронам, — сказал Денис Душке, вошедшему в хату, — а завтра с утра пойдете на Ярославец, мы там будем.

— Глубокая разведка? — спросил Грицько Дениса и неодобрительно посмотрел на остальных.

Денис, зная, что Грицька не переспоришь — он все равно поедет, — сказал:

— Вот черт! Ну, передай эскадрон Буленко и катай с нами.

— Это айн момент! — сказал Душка, повеселев, и опрометью выбежал из хаты.

— Не оставляет тебя твоя Душа? — спросил, улыбаясь, Евтушенко. — Как его фамилия-то настоящая? Душа, что ли?

Денис тоже улыбнулся.

— Душка.

— Душа он и есть.

И с тех пор он стал звать Грицька «Душой».

БАНДУРИСТ

Места, по которым они проезжали, были полны романтики, что бросилось в глаза Денису, как только вступил он на Глуховщину. Холмистый, с гребнем тополей на самом отдаленном кургане, пейзаж при луне напоминал какую-то пышную декорацию к украинской песне. А песня — одна из чудеснейших в мире, украинская песня — неслась к ним издали и таяла в воздухе, как бы смешиваясь с ароматом теплеющей талой земли и набухающих почек тополей.

— Это Ярославец, — показал Евтушенко в сторону тополевого гребня на горизонте,

Ярославна рано кичет
Во Путивле на забрале!.. —

вспомнилось Денису.

— А сколько тут до Путивля? — спросил Денис,

— Сорок верст с гаком, — отвечал Евтушенко. — А почему спрашиваешь?

— Да так, — отвечал Денис. — Одну песню вспомнил.

— Еге! Тут и не одну вспомнишь! — загадочно отвечал Евтушенко. — Тут все песни вспомнишь. Такие места! Наши места знаменитые!

Они проскакали ночной Ярославец, распугав по аллеям кочубеевского парка поющих и жартующих с хлопцами дивчат.

— Это бывший Кочубеев двор. Была домина, да стала руина! — показал Евтушенко на руины кочубеевского дворца. — Разбили бандюги оккупанты, пушками раз-гавкали. Тут у нас было с ними генеральное сражение. Народное имущество перепортили, песьеголовцы. Ну, вот и лес... Вот и приехали! — показал он вдруг. — Теперь за мною, вправо дороги!

Проехав еще немного, он свистнул, и прямо из лесу на него выскочила фигура всадника.

— Тише ты, черт! — подъехал к нему Евтушенко.

Они о чем-то переговорили.

— Можно ехать! — вернулся Евтушенко. — Самый разгар, Хрин верховодит.

Поехали по открывшейся вдруг просеке. Навстречу им ехал медленно конный отряд человек в двадцать.

— Делегация? — спросил передовой, подъехав.

— Большевики! — отвечал Евтушенко,

Всадники повернули коней и пристроились рядом, окружив приехавших.

Денис вглядывался в их вооружение и одежду. Под одним, ехавшим рядом с Денисом — видно, старшим, — было седло. Вместо винтовок у большинства за поясами торчали обрезы, а вместо сабель — лезвия от кос, замотанные в войлок.

Ехавший рядом с Денисом вдруг спросил:

— Ты Кочубей?

— Да, Кочубей.

— И Денисом зовут?

— Денисом, — отвечал Кочубей.

Всадник потрогал маузер, высовывающийся из голенища сапога.

Денис обменялся с ним взглядом, тот невольно улыбнулся в ответ на косой взгляд гостя.

— Примериваешься?

— Примериваюсь! — ответил Денис.

Проехав с полверсты просекой, всадники слышали гул голосов и почуяли дым лесного костра. Какой-то мелодичный звук примешивался к гулу.

Но через минуту Денис уже ясно различил, что это звук бандуры, и вспомнил загадочные последние слова умершего два часа назад на его глазах шпиона: «Тут все дело в бандуре!»

«Так вот она и бандура! Сейчас все станет понятным», — подумал он.

Они свернули в гущу леса и поехали извилистой, черневшей в рыхлом снегу тропой на голоса, которые все приближались. Уже ясно различимы были и слова песни:

А Кармалюк — гарний хлопець,
Він по світу ходить,
Не одну дівчиноньку
Із розуму зводить.

Всадники подъехали к костру. Вокруг костра сидели люди, задумчиво слушая песню. Их было больше сотни. Меж деревьями фыркали кони,

пахло сеном, навозом, жареной бараниной и самогоном.

Никто и не подумал обернуться на приезжих. Все сидели, сосредоточенно слушая песню и чуть подпевая.

Провожатые спешили, спешили и приезжие и подошли к общему кругу.

Теперь кое-кто из сидевших поближе к костру отодвинулся в сторону, уступая место гостям. А бандурист продолжал петь и, кончив песню, все еще перебирал струны, отыскивая какой-то веселый, игривый, шуточный мотив.

— Дядьку Микита, гости приехали! — сказал один бандуристу.

— А хйба ж я не бачу, — усмехнулся бандурист. — То й що ж, як приехали? Хай нас послухають!

В голосе бандуриста была насмешка и вызов. Перестав подбирать веселый мотив, он вдруг сурово кашлянул и запел каким-то особым, властным голосом, как бы желая внушить всем торжественность этой песни:

Ой, що ж бо то тай за ворон,
Що над лісом крякає?
Ой, що ж бо то за бурлака,
Що всіх бурлак збірає?..

И Денис невольно заслушался.

— Ну, что скажешь, Кочубей? — спросил певец, кончив петь и помолчав, как будто он именно к нему относился песней и ждал от него ответа.

— Я приехал вас слушать, а не говорить. А говорить я завтра буду.

— А! Ну так и слухай.

И бандурист стал вновь перебирать струны, прикладывая ухо к бандуре, как будто желая вызнать, что сама она еще скажет.

По толпе прошел гул: люди, видимо, делились впечатлениями от слов Дениса.

— Значит, наша взяла? — услышал Денис вырвавшуюся у кого-то фразу и оглянулся. Рядом с ним стоял широкоплечий, бородатый, среднего роста и крепкого сложения человек.

— Хрин! — сказал Евтушенко, толкнув локтем Кочубея. — А ну, помолчи, Хрин: чи то ваша, чи то наша! Спивай, дядьку, — сказал он слепцу, — а мы послухаем, зато и вы нас потим послухаєте.

— Послухаємо! — сказав Хрін. — То вже вам були Маруськи, що слухалися.

І він засміявся, видимо подразнивши занадто самонадеянного Євтушенка.

Бандурист все продовжував перебирати струни, як будто не допросився ще у бандури останнього слова.

ХРИН

— Мы ж не бандюги, — заявил Хрин, когда поужинали.

Он вытер усы хусткой, вынутой из кармана шаровар.

— Я сам напрыклад за коммунію, чарторыжский староста. Мы — артель!

— Усе для бидних и гнетених! — сказал бандурист и повел в сторону Дениса невидящими белыми глазами.

— Ну, а за поубиваних помстимось, — сказал Хрин. — Хиба ж то советська власть у городи? То жбуржуяги, то ж бияки, должно быть, за вищо ж вони повбывалы народ? За вищо вбылы Кривуценко? Увесь народ, що тут е, з одчаю тут. Из пометы тут. Евтушенко нас попередыв, що ты — Кочубей. Чулы мы про партизана Кочубея. Була й наша думка до нього йты; у Красную Армию упяты податься. Ну й пишлы до города. Та нас и не допустылы. А Кривуценко — може, чулы — с хлопцями живыми у могилу закопалы. Знову-таки у «козацьку могилу». Що це — чи знов москали? Га? Скажи ты нам чисту правду: може, це знов москали? Одвику москали?

— Начнем сначала, — сказал Денис, — чтобы не запутать! Москали, кажешь? А москали нас звильнили вид пана и вид хана. Памятаешь Богдана?.. А скажи мне, наприклад, Хрин, кто революцию начал и кто у себя советскую власть установил? Русские рабочие и русские солдаты. И спасибо им надо сказать, если они нам, украинцам, в том помогают. Были вы на нейтральной зоне?

— Булы... Ну так що з того, — зрада и вышла с той самой нейтральной зоны, — чертяка нас туды и знис. Черняк и той сам був головою не поклав. Откуда взялся какой-то донской казак, Примаком зовут? Такой тебе пан гетьман, может ты его й знайдеш, того паньча?

Денис кивнул головой и сказал:

— Только не донской он казак, а черниговский гимназист.

— Ну от, бач, скубент, звисно ясно, что шатия!

— Раз студент, так и шатия? Я тоже студент. Не в этом дело. Ну, что ж Примаку Черняку сделал?

— Та хотив же вбыты. «Подчиняться мне, говорит, и точка!» — «А хто ты такой, чтоб тебе подчиняться?» — говорит ему Черняк, а у самого рука до маузера. Ну, тут у них и пишло. Чернякивци прискакали до нас. «Знимайся, кричат, глуховцы, змена!» А и до того тут без нас народ немцы вымучили в гроб-могилу. Оккупанты стали без нас издеваться над

населением. Нам треба их выручаты. И нам уже кровь к глотке подступила. Ну, мы и снялись. А батарея с командиром на пароме приза-держалась трохи. Тут и нарвался на него член самый правительства, рыжий такой, поповской наружности, уроди дьякон, з волосом до плеч. Пятаковский, или черт его знает, кто таковский. Очкастый такой, голенастый шкандыбайло. Может, и его знаешь?

— Наверное, Пятаков?

— Во-во, он самый! Так ты, значит, их усех знаешь. Знакомые тоби жупелы!

— И оба они, и Пятаков и Примаков, кстати сказать, украинцы.

Хрин, переходя к повествованию о демаркационной линии, сам незаметно для себя перешел на русский язык.

— А батарея ждет перевозу. Он и начни тут хай: «Поворачивай назад!» А Граф ему говорит: «Да катись ты, откель пришел, козлиная твоя борода. Рыжее шкандыбайло! Не тебе нам тут порядок давать! Откуда ты на нас взялся?» Ну, тут подъехал еще этот самый Примаков и еще один там пузан, полковник Храпивницкий, возьми да и убей Графа безо всякого разговору.

Хрин тяжело вздохнул и почему-то проверил, хорошо ли действует замок у карабина. Замок действовал хорошо.

— Ну все ж, хоть и свербило сердце, не убили ми того Пятакова, бо ж вин був член правительства советського. Отаки тоби «члены». Хай йому болячка! — Хрин крепко выругался и сплюнул. — Что, брат, еще исповедоваться? Пускай тебе сам Тыдень расскажет. Если б ты знал наши дела в подробности! — Хрин махнул рукой. — Вот поживи и разберись с нашими делами, тогда и будет истинная правда, если ты человек. А ты говоришь — «нейтральная зона»! Опять вернулись — дома горе застали: у кого батька убили, у кого жинку знивелили німці, а у Полошках — у шахты живых у могилу зарыли. Там уже их не впервой зарывають. Кричат ти могилы. Ще й колись и за царя Гороха шляхетни паны зарывали. А мы и од оккупанця, од гайдамака и од якои ти хочешь сволочи цилый год були неприступни. И хозяйнували, щоб ти знав, коммуною — не як-нибудь! От тоби и «нейтральная зона»! Тут тоби и пошел раскардаш: хто в анархию, хто й за «божественного» Петлюру, а хто так и за архимандрита Архипа. — Хрин засмеялся. — Тут якись «живци» еще понабиралися, у бекешах обидню служат та у шапках христяться. Та ще й з чубами — з оселедцями. Архипмандрит у них там такой! Я вже й не знаю, як ота на них богородица дивиться— чи ий повилазило? А я б на ии мисти взяв бы та деркачем з хати. А мы таки у мать анархию верим, что она — мать порядку, коли нема порядку. Тыдень говорит, что вона ему як своя злая теща: аджеж без лайки

нема в хати й майки, — хитро усмехнулся Хрин, подморгнув Денису.

— Ну, дальше!

Хрин поглядел на Дениса и горько усмехнулся.

— Мы люди — честные люди! — сказал он уверенно и серьезно. — Ты ж один человек. Сейчас ты командир, и, допустим, хорош ты человек, — и мы интересуемся и плохого слова об тебе пока не слышали. Ну, мы ж — народ: как рассудим, так и будет.

— Ну, рассуждай, как будет.

— Что же, народ покамест тобой доволен. Ну, не мы ж у тебя в гостях, а ты ж у нас.

— Не совсем так, — улыбнулся Денис. — Вы ж в «кочубеевском урочище».

— Ишь, недаром зовут Денис, аж бач куды зализ! — сказал Хрин. — Це ж не Кочубей, а прямо хоч убей.

Взаимная шутка, вызвавшая смех, рассеяла напряженную настороженность.

— И о «казацкой могиле» знаю, — сказал, приподнимаясь, Денис. — В той казацкой могиле и мои родичи лежат. Но зачем же вы сразу не взяли Глухов в свои руки и не установили сами советской власти?

— Мы ж отказались от власти. Мы ж — анархия, — сказал Хрин.

— Вот и результаты вашей анархии. «Мать порядка»! Где ж тут порядок? — спросил Денис и посмотрел на Евтушенко. Тот потуже стянул пояс и пошел к коням.

— Так поговорим обо всем завтра в Ярославце, у меня в гостях, товарищ Хрин, — сказал Денис.

— Подождем Тьдня, а там будет видно. Да где-нибудь встретимся. Давай, давай, — сказал Хрин, протягивая ему руку. — Гостюй! Не прогоним!

Денис уже сидел в седле.

— А ну, стой же, я вас провожу, а то не по-хозяйски, — вдруг решил Хрин. — А по дороге покажу тебе и нашу резолюцию. Давай кони! — крикнул он. — А вот тебе и Шуба, у которого ты гостевал сегодня в Тулиголовах, — показал он на коренастого, такого же, как он, широкоскулого, весело улыбавшегося пария, подводившего двух коней.

— И ты с нами, Гнат?

Шуба кивнул головой.

Денис дал знак Евтушенко, и тот проехал вперед.

ГОСТЬ И ХОЗЯИН

Всадники пробирались той же просекой, которой проехали в табор Хрина и Шубы. На выезде из леса Хрин свернул вправо, приглашая Дениса и Кийка следовать за ним.

Между пнями что-то зачернело на снегу. Подъехавши ближе, Денис увидел несколько трупов.

— Что это? — спросил он Хрина.

— Мародеры, — отвечал гордо Хрин. — Наш закон суровый, мы — не бандиты! У кого довги руки — тому куца смерть!..

Выехали на поляну. Хрин остановил коня и прислушался. Остановили коней и остальные всадники. Послышался стройный топот идущей конницы. Карабины разом сползли с плеч Хрина и Шубы.

— Это идет моя кавалерия, — сказал Денис, и Хрин и Шуба, смущенно переглянувшись, повесили вновь карабины на плечи, вниз стволами.

В стройной строенной колонне шли два эскадрона. Впереди ехал Евтушенко.

— Откуда идут? С Тулиголов?

— Да нет, дядько Хрин, с Кочубеевой заимки.

— Расстреляю проклятых! — свирепо проворчал Хрин, поняв, что табор все время был в окружении, а его разведка ничего не доносила.

— Не стреляй, дядько Охрим, шкоди ж не вийшло! Дозорные твои в плену были — что могли сделать? — говорил Евтушенко. — Вот они, получай. Добрые гости берегут свои кости.

Два десятка всадников отделились от идущей по дороге колонны.

— Так ты уже не в гостях, а дома, в Кочубеевом урочище, — вздохнул Хрин и хлопнул на прощанье по Кочубеевой ладони всей пятерней. — Ну, побачимся, — может, и обратаемся.

Он и Шуба повернули коней к лесу, а Денис поскакал к своим эскадронам.

— Держи связь с Ярославцем, дядько Охрим! — крикнул вдогонку, оборотясь, Евтушенко.

— Я ж тобі одячу! — погрозил ему издали плетью Хрин.

В ЯРОСЛАВЦЕ

— У тебя есть на сегодня еще какое-нибудь представление? — спросил Денис Евтушенко, улыбаясь и зевая от доброй усталости. — Скоро и рассвет,

— Выспишься, брат, мы ж едем в Ярославец. Там успокоишься. Так и понимай: это день полной и окончательной победы. Гады Толченко, Ященко, Щекотюк, Маруська, — сосчитал он по пальцам. — Да это же самые подземные гады! И им — амба, и нет их на свете, — согнул он в кулак все пальцы. — А Хрин, и Худоба, и Шуба, и бандурист — це вже наши, цим никуды дитысь!

И он ударил себя плетью по голенищу, как цыган, закончивший счастливую сделку.

— С Артамоновым и Масловым Тыдень да Москалец сами поквитаются. Федосенко, Тимошенко, Бусел — пустяк дело. Живыми возьмем — и холера!.. Артамонову и Маслову крышка: уж если Тыдень приговорил их к смерти, то иначе не успокоится. А тут Худоба Хрину подморгнул — и это уже смерть мародерам, тут закон суровый. Убийбатько и Карай орудуют на Кролеветчине, и нас это не касается.

— Ну, положим, — сказал Денис. — Китайской стеной мы не отгорожены. Наши дела — мировые.

— А ты ж спать хотел? — рассмеялся Евтушенко, как будто Денис впрямь собирался тотчас же отправиться на Кролеветчину, в погоню за последними бандитами,

— Смертельно хочу спать, — сказал Денис.

— Ну, не плачь: тебя ждет кое-что и хорошее прежде смерти. А вот и твое «кочубеевское» поместье. Теперь ты тут «хозяин». Завертай!.. А в школе светится, знать не спят. Вот и добре!

Всадники въехали в широкий двор, весь уже заполненный лошадьми эскадронцев. Во дворе пахло сеном, конским потом и навозом.

— Хлопцы! А ну, прибыли, — сказал Евтушенко и позвал кого-то: — Иван Иванович, ходы сюды!

Дениса меж тем окружили его эскадронные.

— Все в порядке: фураж в полном довольствии и хлопцы расквартированы. Какое приказание будет на ночь?

— С утра быть готовыми к походу, держать строгий дозор.

— Как обыкновенно... Есть!

Денис, войдя в жарко натопленную комнату — квартиру учителей, помещавшихся в бывших кочубеевских службах, — снял бурку и сапоги и, подостлав бурку, лег на полу и немедленно заснул.

— Наморился парень. Ну, спи, коли своего счастья еще не знаешь, — сказал вошедший Евтушенко. — Завтра обрадуешься.

Все трое приехавшие уснули вповалку на полу, хотя учителя им и предоставляли гостеприимно свои кровати.

— Раз командир так — то и мы на кулак, — кивнул на Дениса Евтушенко.

Евтушенко проснулся до зорьки и вышел. Киёк и Денис еще спали.

Дверь отворилась, и в комнату вошла девушка. Киёк проснулся от свежей струйки воздуха, поползшей по полу от раскрытой двери, и, насунувши шапку на голову, одним глазом стал наблюдать за вошедшей.

Девушка помедлила минуту у порога, приложила палец к губам, как будто сама себя предостерегая.

«Это она, та самая, — вспомнил Киёк девушку. — Ее фамилия Гайда. Это она приезжала в город защищать «бандитов». Еще Евтушенко спас ее».

На девушке была серая чумарочка^[22] и серая смушковая шапка, надетая набекрень. Из-под шапки выбивались пушистые, легкие русые волосы. Серые, большие, живые глаза выражали сейчас девичье лукавое любопытство.

«Дивчина не простец! — подумал Киёк, невольно ею залюбовавшись. — А что ж это ей тут надо? Должно быть, что мы заняли ее квартиру?»

Но это скоро объяснилось.

Девушка, оглядев спящих, сделала несколько осторожных шагов на цыпочках в глубь комнаты и вдруг остановилась над спящим Денисом, как бы пораженная. Лицо ее выражало волнение, как будто она и искала его и не ожидала так встретить.

— Это он! — сказала она вслух раздумчиво. — Похоже!..

Она склонила голову немного набок, чтобы лучше рассмотреть Дениса, но вдруг неожиданно поглядела в сторону Кийка, как будто почувствовав на себе его взгляд. Киёк на мгновение прижмурил глаза, и она совсем успокоилась.

Она тихонько пробралась между спящими и постучала в соседнюю комнату.

— А кто там? — раздался оттуда сонный голос.

— Это я. Вставайте!.. Пора!

И дивчина стала выбираться из комнаты, так же на цыпочках обходя спящих. Но у порога она опять остановилась и, оглянувшись еще раз на Кийка, подошла к Денису, положила на его грудь письмо и вышла.

Киёк немедленно поднялся и подошел к окну. Дивчина перешла двор и вошла в маленькую беленькую хатенку на той стороне двора, у самых каменных ворот.

Денис продолжал спать. Киёк осторожно взял с его груди оставленное письмо и внимательно рассмотрел его. Оно было запечатано пятью сургучными печатями, и на нём было написано решительным крупным почерком: «Денису Кочубею от Надийки Гайды».

В соседней комнате что-то уронили, и Денис проснулся. Увидев улыбающегося Кийка, он протер кулаком глаза, мечтательно улыбнулся солнечному дню.

— Видно, уж не рано! Что, я долго спал?

— Нет, — отвечал Киёк. — А вот вам письмо,

— Откуда? — протянул руку Денис, думая, что письмо от брата Петра.

— Девушка какая-то принесла, — сказал Киёк, не открывая Денису того, что он знал эту девушку.

— Гайда! — сказал Денис. — Где-то я эту фамилию слышал... Ага! Это подруга моей сестры. Везде встретишь кого-нибудь.

Денис прочел письмо, небрежно положил его на стол, но потом вдруг взял его снова и спрятал за пазуху: что-то было в письме, очевидно, что задело его и заинтересовало. Текст же не содержал в себе ничего, кроме сообщения, что Надежда хочет передать привет его сестре Наташе. Но в самом почерке, совсем не женском, крупном и уверенном, было что-то интригующее и детски властное. А в разности букв, которыми были написаны верхние и нижние строки, была явная нетерпеливость желающего и не умеющего себя скрыть волнения.

— А откуда ж она взялась здесь? — спросил Денис Кийка.

— Эта девушка, видно, здешняя учительница. Приходила будить товарищей и вот положила тебе это письмо... прямо на грудь...

— На грудь, говоришь? Гм!.. — Денис рассмеялся. — Да, кстати, пройди сейчас же на телеграф, Киёк, может, там есть уже телеграмма от брата. Да свяжись с Глуховом; может, он и приехал. И если приехал, зови его к прямому проводу, я буду во дворе.

— А как же насчет тулиголовцев?

— Пускай эскадрон останется там. Я отошлю сейчас туда ординарцев,

УТРО

Огромный «черный двор» бывшего поместья графов Кочубеев продолжался парком и озером и со стороны парка весь был обнесен сплошной белой стеной каменных конюшен и служеб. Парк одной стороной спускался к огромному озеру, в которое стекали бегущие с холмов весенние ручьи. Назывались они по-украински «струмочки». Звук их журчания нежно пробивался сквозь неистовые, наглые крики галок, грачей и трехсотлетних воронов, быть может помнивших замазепинские еще времена. Екатерининские шляхи, широкие, как поле, пролегали отсюда через всю Украину и видны были отовсюду, окаймленные двухсотлетними могучими деревьями, посаженными когда-то в один день при проезде Екатерины в Батурин — к любовнику Потемкину.

Денис прошелся по парку, решив помечтать вволю, но, услышав во дворе ржание, взвизгиванье и топанье коней, подводимых к водопою, звон цебра и крики эскадронцев, не вытерпел и вернулся во двор.

И сразу его окружили боевые товарищи.

— Ну и сыпанули же мы им учора на хвист соли с полпуда: сотню, не меньше, как зарубили тех «буслов» да идолов! — сказал один, — Да шкода, самого главного — Бусла ихнего собачьего не споймали. Ушел не па нашему маршруту: лес не пускал.

— А почему это мы, Денис Васильевич, тех беспризорников в лесу оставили последних в: носу колупать? — спрашивали другие о Хриновом таборе в Кочубеевой заимке.

— А вот скоро все разъяснится, не все сразу саблюю рубается, — сказал Денис. — Попробуем еще и словом рубануть.

— Сабли они уже нашей попробовали. Теперь за тобою слово. А ну, это дело, конечно, политичное! — чуть-чуть сардонически отозвался Савка Татарин, не умевший обойтись без задоринки. — Мы ж уже одного такого Рубана «рубанули» — одним словом — в Козельце, а он тут опять объявился.

— Так мы его и тут дорубаем, как потребуется, — отозвался Денис.

— А ты, Татарин, поперед батька в пекло б не сыпал, — круто осадил Татарина Карпо Душка. — Ты ж не комиссар военный, а только полуэскадронный — имей о себе понятие.

— Да я ничего, — весело отвечал Татарин, все же смутившись. — Это я к примеру! Я, Денис Васильевич, напротив того, невпрочь. Агитация —

оно, конечно!

— А тебя никто и не спрашивает! — слышались голоса.

— Не сегодня-завтра это дело так или иначе кончим, — сказал Денис. — А завтра для всех будет полное разъяснение. К походу готовьсь!

Выйдя из партизанского круга, он пошел навстречу Кийку и Евтушенко, которых завидел на другом конце двора.

— Телеграмма из Чернигова. И брата твоего вызвал к проводу, он в Глухове, — сказал Киёк.

Денис взял зашифрованную телеграмму.

— Расшифруешь губкомовский шифр? — спросил Денис Кийка.

— Это могу. — Киёк достал из-за рукава вдесятеро сложенный лоскуток с таблицей шифров.

Евтушенко передал Денису сообщение разведки о том, что Тыдень устроил засаду Артамонову и Маслову в Волокитине и поэтому выехать сюда не может. Надобно ехать к нему, а конницу пустить к Кролеветчине, чтобы не дать никому ускользнуть, и сомкнуться к вечеру всем у Волокитина.

— Давай карту, — сказал Денис и дал указания подошедшим эскадронным.

— Ну что, расшифровал? — спросил он Кийка, занимавшегося Счислениями на пороге бывшей графской кузницы. — Пойдем на почту, там и расшифруешь.

Когда они выходили со двора, дверь маленького домика у ворот растворилась и в дверях показалась девушка. Она пристально посмотрела на Дениса, как бы требуя его внимания. Денис невольно обернулся в ту сторону, почувствовав на себе этот взгляд. Девушка кивнула ему и спросила, улыбаясь чуть застенчивой улыбкой, хоть в голосе ее были твердость и решительность:

— Вы письмо мое получили?

— Да, — отвечал Денис. — Вы Гайда? Наташа здорова. — Он подошел к ней и пожал ей руку.

По щекам девушки разлился румянец смущения.

«Это моя будущая жена, — вдруг ни с того ни с сего подумал Денис. И тут же он вдруг понял, что мысль эта пришла из самой глубины его существа, а сознание, чтобы ее расшифровать, должно будет потрудиться не меньше, чем Киёк над губкомовской телеграммой. — Это весна, — подумал Денис, борясь с неожиданным чувством. — Март — вот и все».

Он только и успел пожать руку девушке да сказать два слова о сестре, но он знал уже, что слова эти были не о сестре и не о сестре она его

спрашивала.

Денис шагал рядом с Кийком, совсем не слушая и не понимая того, что тот говорил ему. И вдруг сказал:

— Девушка, вот та, — моя будущая жена. Понял?

Киёк удивился неожиданному обороту мыслей Дениса, но тут же ответил понимающим взглядом, заметив, как сияют глаза у Дениса. Он сказал:

— Что ж, это так бывает.

...Телеграмма была такой, как и ожидал Денис: «Продолжай. Поддерживаю. Бубенцов». А Петро ждал его у провода.

— У меня тут Васька Москалец... Встретил меня в Махово... — сообщал Петро по проводу. — Тыдень ищет с нами свидания. Что у тебя? Информируй.

— Сейчас еду к Тыдню в Волокитино, — отвечал Денис. — Пошлю к тебе Савку с полуэскадром, получишь полную информацию от него. Я распорядился провести телефон из Ярославца: здесь будет штаб, это — центр района. С городом будь осторожен, займись им вплотную немедленно. Арест военкома — только начало. Остается вторая половина — артамоновская. Ваську не отпускай.

К ТЫДНЮ

Евтушенко поравнялся конем с Денисом и сказал:

— Тут тебя, товарищ Кочубей, одна дивчина спрашивала в Ярославце. Дивчина геройская.

— А чем же она геройская? — спросил Денис.

— А вот слушай. Еще когда оккупанты летом попробовали сунуться в Ярославец и мы их стукнули, она нам такое дело смозговала. У Кочубеев да у Терещенко, говорит, повсюду осталось много исторических ценностей и народных богатств. Оккупанты, переночевав в Кочубеевом доме, побили фарфоровую посуду и много картин попортили. Богдану Хмельницкому и Петру Великому глаза попрокальвали. Необходимо, говорит, все это отдать под наблюдение народа, нашей партизанской организации. Она берется организовать настоящий музей, если партизаны признают это дело стоящим. Поддержали это дело мы с Тыднем и с Кривущенко крепко: музей организовали в Ярославце, в Кочубеевом флигеле, там, где у нас сейчас высшие классы, слышь. Была у нас пятилетка, так она организовала семилетку. А кроме того, еще и вечерние курсы для взрослых. Так что ж ты думаешь: тот музей как появился у нас за спиной, то уж ни под каким видом решил народ не сдавать Ярославца. Целое лето сражались тут с полной артиллерией.

Но раз таки нам пришлось отступить на два дня от Ярославца на Тулиголово, и немцы опять заняли Ярославец и хотели расквартироваться в этом самом музее: Так она их туда не пустила. «Это, говорит, народный исторический музей, а не солдатское свинячье стойло», — так и сказала. «Мы, — говорят они, — должны сделать обыск, в этом доме прячутся партизаны». — «Ну, это вы ошибаетесь. Это вы от них прячетесь. И будете прятаться». Ихний командир спросил ее — не родственница ли она графу Кочубею, что так отстаивает графское добро. «Нет, говорит, я родственница моей родине и ее свободе и защищаю народное богатство». Что ж ты думаешь, офицер приказал своим солдатам не трогать музея. А таким кротким он прикинулся потому, что наутро хотел арестовать девушку и допросить — не спрятаны ли где еще золотые музейные ценности. А на самом деле в музее, — хитро подмигнул Евтушенко, — сидели и Кривущенко, и Полуботько, и Рубан, и другие ребята. И ночью они забросали оккупантов, заночевавших в каменном Кочубеевом дворце, гранатами. Новый был дом, пригодился бы нам, да не пожалели ребята и

дома. Так вот какая дивчина — огонь! Тут до ней уже чеплялися хлопцы, да ничего не вышло. «Я жду, говорит, своего сокола. То не сокол, что ходит около. Я того сокола сама сразу узнаю и сама выберу. И ходить за мной ему не придется».

Это она так Кривущенко сказала, а тот мне рассказал, и больше никто к ней не залицался. А все ж, когда Кривущенко убили и весь его отряд похоронили в той «казацкой могиле», она сама заявила в город и сказала тому гаду военкому, что ты сейчас взял: «Я, говорит, думаю, что не представитель ты советской власти, а низкий подлый трус, что бьешь в спину».

Ее арестовали, да и отдали мне под стражу в милицию. А я ее, конечно, как следует — под охрану» в Ярославль в ту же ночь справил под видом того, что выкрали партизаны.

А пока сидела она у меня в милиции, я с нею трохи поговорил. Вот она меня сегодня повстречала во дворе и спрашивает: «Какой с вами Кочубей приехал: Петро, Иван или Денис? Их трое». — «Денис», — говорю. «А где он?» — «У учителей, говорю, ночует». — «А мне он нужен». — «Да спит еще», — говорю... Дак ты с ней познакомился?

— Познакомился, — отвечал Денис.

И Евтушенко, оглядев его, заметил, что тот смутился, Денис дал шпоры коню, и Евтушенко, догоняя его, подумал, что, пожалуй, уже больше спрашивать его ни о чем не стоит. Должно быть, нашла та дивчина своего сокола, как говорила.

Евтушенко на себе испытал очарование девушки, когда сидела она у него в милиции под арестом. Он не мог не выпустить ее, хоть и рисковал сам поплатиться за это жизнью. Однако ж он нашел способ для объяснения. Он сваливал все на Ваську Москальца, который был в тот день в городе с протестом от Тыдня.

Ему-то и поручил Евтушенко «выкрасть дивчину». Васька ее и выкрал.

«Поймать ее — и шлюхой сделать!» — сказал военком Евтушенко. «Есть! Слушаю!» — отвечал Евтушенко и подумал, что поручение это он попомнит «военному», когда придет время.

Евтушенко признался Денису в непреодолимом своем желании совсем сокрушить военкома.

— Чего же ты его тогда еще не искалечил? — спросил Денис. — Теперь уже поздно. Теперь его ждет одна положенная пуля.

Евтушенко скрипнул зубами.

— Да ведь я был связан клятвой с партизанами, что не выдам себя и ничем себя не обнаружу, чтобы только все знать и все видеть, что творят

«подставные комиссары», и только потому и оставил его целым при том случае.

— А теперь он должен быть цел для суда, и трогать его и пальцем нельзя. Гляди, Евтушенко, не то...

— Понятно!.. — сказал Евтушенко, вздохнувши. — Ну, все ж, если гад тот имеет свою организацию, как ты кубло докопаешь? Могила ж нам не ответит.

— Конечно, кубло имеется, и мы его найдем, — отвечал Денис.

— Или у нас с тобой всевидящие очи?

— У народа — всевидящие очи, народ будет судить, он и спрашивать будет.

Евтушенко достал из-за пазухи и протянул Денису пакет.

— Тут все, — сказал он. — «Донос на гетмана зло-' дея» от Евтушенко Кочубею, — продекламировал он.

Денис вскрыл пакет и прочел: «Протокол предварительного допроса бывшего военкома офицера Толченко по поводу контрреволюционной его деятельности».

— Когда делал допрос? — спросил Денис.

— Сегодня утром.

— Почему ж меня не спросил?

— Да ты ж спать хотел, а мне не спалось. Грызла меня мука: боялся — утром отправишь ты его в губернию, и черт его найдет со свечкой.

— Ах ты неспячий! Без допроса ж я не отправлю, — сказал Денис, пряча бумагу в карман. — Значит, еще не веришь в советскую власть?

— Не лови меня на том. Гадам я не верю, а советской власти верю до гроба.

— Сходятся его показания с тем, что ты знаешь?

— Не все сказал, гадюка!

— С Яценко он был связан?

— Вот именно, что был, этого я и допытывался, — * оживился Евтушенко. — Концы — вот они все тут, — он поднял руку, сжатую в кулак.

— Долго ж ты дослеживал. А я так сразу понял, — сказал Денис.

— Ты — стоглазый!

— Да нет, не стоглазый, а выводы делаю. Вот слушай и мотай на ус.

— Ну, может быть, теперь ты поймешь, кто в «казацкую могилу» загнал партизан и убил Кривущенко.

— Верно! — хлопнул себя по лбу Евтушенко.

— Так стоило ли, чтобы это узнать, пускать в ход кулаки?

«БОГА НЕМА ТАЙ НЕ ПРЕДВЫДЬЦЯ»

— Ну вот, уже видно и Волокитино! Вот и дозорные навстречу скачут по тому кургану!.. Стой! — закричал Евтушенко, приподнявшись на седле, и, заложив пальцы в рот, свистнул.

Отряд, мчавшийся с горы, на минуту остановился, затем от него отделились несколько всадников и поскакали вниз, навстречу отряду Кочубея.

— Сам Тыдень встречает! — сказал Евтушенко. — Видно его по повадке. Ёйдишь, карабин на левом плече: левша...

— Должно, ушли за границу!.. — сказал, подъезжая, Тыдень.

Он осадил лошадь на галопе, поравнявшись с Денисом.

— Кто это ушли за границу? — спросил Денис, делая вид, что он не понимает, о ком идет речь. Ему хотелось, чтобы Тыдень не так уж вдруг фамильярно заводил его в свои сообщники. Нюхом Денис чувствовал, что Тыдень хочет сразу упростить обстановку.

— Артамонов и Маслов, товарищ комиссар, — сразу меняя тон на резкий, с холодком, отвечал Тыдень.

«Ухо у него музыкальное, — подумал Денис. — И то хорошо».

— Бандюги ушли... Если бы то не граница! Ох мне ж та граница! — вздохнул Тыдень и поднял вверх плетку, показывая вдаль. Он, видно, имел в виду границу с РСФСР, проходившую здесь по Клевени, в десяти верстах от Волокитина.

Они тронули коней и скоро подскакали к «Золотым воротам» поместья знаменитого миллионера-сахарозаводчика Терещенко.

Денис сказал:

— Теперь, Тыдень, на Клевени нет «границы», и ты ее не устанавливай! Сейчас мы там будем. Дай коням передохнуть... Бояться нечего: мы на советской земле.

— А скажи: ты, видно, грамотный? — оглядел Тылень Дениса, как будто увидел его впервые, с ног до головы. — Что за дурость написана вон на той мраморной доске золотыми буквами? Не понимаю по-французски. Наверно, какая-нибудь подлость супротив народа, а?..

К бронзовым воротам была прикована черная мраморная доска с высеченным на ней золотом девизом инквизиции: «Ad majorem gloriam dei».

— «В величайшую славу бога», — перевел Денис. — Это, брат, когда попы людей за правду сжигали, так на лбу у них писали, по-латыни.

— А ну ж, давай, теперь я им ответ отпишу. Давай, хлопцы, швыдче дегтю да липовую доску! — крикнул Тыдень своим сопровождающим.

Мигом были принесены доска и мазницы с дегтем.

— Прицепляй доску над тою! — командовал Тыдень. — Та давай сюда квач!

И, перекинув стремя и став на седло, Тыдень под дружный хохот партизан вывел квачом на липовой доске:

«Бога нема тай не предвыдыця!»

Вслед за этим ворота отворились, и Тыдень с Денисом и Евтушенко въехали в длинную чудесную липовую аллею, ведущую к дворцу миллионера.

Денис, входя с Тыднем в одну из комнат дворца, увидел обломок фарфоровой статуэтки.

— Откуда это?

— Вот какая у нас глина, комиссар! У нас тут недра! — говорил, гордясь богатством своей земли, Тыдень. — Это из нашей глины. Такой глины на свете нет.

И он рассказал Денису о знаменитом фарфоровом заводе Терещенко.

— А спирт пьешь, комиссар? — спросил он Дениса. — Выпей вот, согреешься. Сейчас будет и яишня и огирки, все, что полагается у дорози. Хлопцам тоже полные харчи будут. Евтушенко там сам похозяйнуе, а мы побалакаем.

Тыдень поднялся с налитым до краем стаканом спирта в руке:

— Выпью ж за твое гостеванье, Денис Кочубей!

Он выпил.

— Не пьешь? Понапрасну не пьешь: это аптекарский, без никакой вони, — и голова не дурет, и сердцу веселей.

— Все равно, он воняет бандитизмом, — сказал Денис. — И советую тебе не пить, если ты хочешь бороться с бандитизмом и стоять за правду и советскую власть, Борись прежде всего с собой.

— А это верно!

Тыдень бросил стакан об пол, разбив его на мелкие осколки.

— Ну, не буду! — торжественно сказал он. — И хлопцам велю не пить от сего часа.

— Ты меня не знаешь, — сказал он Денису, присаживаясь. — Я в горе сейчас. Я в горе, потому что ты меня не видишь. Я революционер и честный человек. Я рад, что ты приехал. Э, да что там! — махнул он рукой. — Давай поговорим о делах. Я уже знаю про тебя все, что мне надо знать. Партизанская разведка — ты ж знаешь, что такое. Только дай мне

того военкома — он мой. А я сдаюсь советской власти — настоящей, а не поддельной. Не контрреволюционной заманке, что у нас на Глу-ховщине была. Тут была такая контрреволюция, что и оккупанты того не сочинили для чужого народа, как эти для своего. Какой он им «свой»? Это издыхающие гады. Издыхающий гад жалит, и хвостом жалит. Тут был такой гад, я наступил ему на хвост! — и больше ничего. В чем я виноват?.. Да, виноват! — крикнул он, увидев, что Денис собрался ему возражать. — Знаю, я виноват. И за все я отвечу. Я жизнью отвечу. Если для советской власти нужна моя жизнь — вот она!.. Мне она не нужна для себя.

Он распахнул грудь, и выражение его глаз было таким, что нельзя было сомневаться в его действительной готовности умереть хоть сейчас.

— Но того гада ты мне отдай. Иначе народ не успокоится. Народ — не человек, которого можно уговорить. Он требует своей мести, и ты ее не отменишь. Никто ее не отменит. Он требует справедливости, и ты его удовлетвори.

— Ты неправильно рассуждаешь, Тыдень. Ты забываешь, что этот гад совершил преступление перед государством, и оно-то и будет его судить. И оно скажет народу о своем суде. А ты хочешь самосуда.

— Может, ты и прав, — подумав, сказал Тыдень.—

Я мог взять его для мести. Почему я этого не сделал? Потому, что я, как и ты, искал не мести, а справедливости. Давай руку. Зря я кричу.

И Тыдень, подавший Денису левую руку, спохватившись, пожал руку Дениса обеими руками.

Вошел Евтушенко.

— Ну как, Евтушенко, все в порядке? — спросил Денис,

— Все в порядке: люди накормлены, и кони отдохнули. Так как, товарищ Кочубей, будем догонять твою банду?

— Нет, — сказал Денис, — поручим это дело Путивлю. У нас здесь других дел до черта.

— Как? Значит, не пойдем в догоню? — вскочил Тыдень. И вдруг махнул горестно рукой и сел.

Денис незаметно для Тыдня сделал утвердительный знак Евтушенко, и тот вышел.

— Думаешь, кто это поковырял паркет? — спросил Тыдень, помолчав. — «Культурная» гайдаматчина да бывший офицер и мой командир Дубовицкого полка Артамонов вместе со своим адъютантом и политкомом Масловым, окончившим сельскохозяйственную академию и имеющим золотые очки на носу. Слышишь ты это? Видно, у тех людей нет будущего! Это ж — чума!.. Я, темный крестьянин, кузнец-самоучка,

окончивший поповскую школу да сверх — десятилетнюю каторжную одиночку, где можно одичать и стать сумасшедшим и зверем, — хуже зверя! — я отнял этот дом у воров, разграбивших здесь народные драгоценности. Про ту их звериную «культуру», про эту немецкую «стервенцию» я не говорю уже: им чужое не дорого, но, говорят, у них дома садов не загораживают и мальчишка вишни не съест або яблоко с чужого дерева, бо то — дома. А эти ж — свои! Это ж наше народное имущество, — проклятые бродяги! Нет, ты мне ответь: когда кончится обман и презрение человека?

— Мы — в Советской стране, где есть наши законы, человеческие строгие законы победившего пролетариата, то есть народа. Чего ты волнуешься?

— Ты — в Советской стране, Кочубей, а я еще «за кордоном», — отвечал мрачно Тыдень. — Вот я до сих пор не знаю толком, — хоть ты со мной говоришь, как с человеком, — кто ты такой, чего сюда приехал? Может, и это обман? Может, я уже арестованный тобой преступник и ты только играешься со мной, как кот с мышью.

— Передо мною ты не преступник, хоть я всего еще о тебе не знаю. Но для советской власти ты преступник — и должен будешь отвечать, если не оправдаешься.

— Отправь меня до Ленина, я оправдаюсь, потому что вы мне все не судьи.

— Мы будем судить тебя по ленинским законам. И, может, тебя и оправдаем. Пока я еще не знаю за тобой таких преступлений, для которых нет оправданий. Может, они и есть, да я их не знаю. Судить буду не я. Но я буду защищать тебя перед судом и советской властью.

Тыдень молча протянул руку Денису и крепко, благодарно ее пожал.

— Куда ты послал Евтушенко? — спросил вдруг Тыдень, как будто что-то заподозрив и беспокойно оглядываясь.

— Ну, теперь я тебя утешу: Евтушенко я послал на телеграф и поручил ему связаться с Глуховом, с моим братом, и Шосткой, и с Путивлем, чтобы повсюду приняли меры к задержке Артамонова и Маслова. Расскажи-ка ты мне по порядку обо всех этих жожаках, твоих сподручных и несподручных. Да скажи мне по правде: что такое здешняя «анархия» и откуда она взялась?

— Давай, скажу. — Тыдень взял со стола флягу со спиртом, встряхнул, подумал и бросил ее об пол так, что она разлетелась. — Точка! — сказал Тыдень. — Это ж не сила! Зилля больному надо, а я выздоравливаю.

ГАЙДА

Стройными колоннами с четырех сторон — со стороны Кролевца, Тулиголов, Краснополя и Холопка — въезжали эскадроны в полдень одиннадцатого марта в Ярославль. За каждым красным эскадроном следовали эскадроны глуховских партизан, именовавших себя анархистами. Эскадрон, идущий из Тулиголов, вел Шуба, эскадрон из Краснополя вел Хрин, эскадрон из Кролевца — Рубан, и эскадрон из Холопка вел Тыдень. Денис был впереди волокитинской группы, рядом с ним ехал Евтушенко, ведущий свой полуэскадрон вместе с четвертым эскадроном Дениса.

Над двором бывшего графа Кочубея развевалось красное знамя партизан-кочубеевцев. И говорил народ: «Обменяли мы графа Кочубея на червоного Кочубея».

Каждый эскадрон ехал со своим значком. Анархисты везли красно-черные свои знамена, которые они собирались сегодня торжественно сложить в Ярославле, как требовал того Денис.

День был воскресный, и села, через которые они проезжали, пестрели народом, гремели песнями. Вся округа уже знала о разгроме бандитских отрядов и о сдаче анархистов.

И в гривы коней и на шапки всадников — по тогдашнему молодому революционному обычаю — были вплетены и повязаны красные банты и ленты. А если не хватало красных, то и всех остальных цветов, кроме желтого, считавшегося петлюровским^[23].

— На що им дивчата, коли у них кони заквитчани!^[24] — острили задорные дивчата.

— Вы краще б нам эти ленты подарували!

— А то ж нам наши дивчата подарували, то як же мы их вам поотдаваемо? — задирали дивчат партизаны,

— То чого ж вы своих дивчат с собой не привезли? — не унимались красавицы. — То-то, мабуть, красуни!

— Мы ж не знали, що вы таки дыки!^[25] — отвечали партизаны, окончательно вызывая на бой таким определением дивчат.

— Ой, з нами вже буде не так легко, як з отыми «анархиями»! — отвечали дивчата.

— Побачимо, що буде завтра! — говорили партизаны. — Зрання и курка сокоче, та в вечери — в борщ чи хочь чи не хочь.

— От тоби и борщ! Вам быхоча б поснидаты; мабуть, голодни, що навмисне — борщ.

Задорными колкостями обменивались партизаны с дивчатами, едучи меж их сплошного кордона вольным строем.

— Та нам абы порядок! — крикнула, проходя, пожилая женщина. — Не слушайте вы тих цокотух! Доволи було цього бандитизму, хай ему антихрист! Безладдя и бозладдя: анархия, канархия-монархия, а хозяина иемае, як зайде, тут и скоро паде, и дила немае! Никому и молотыты. Може, вы що и зробите добре — може, й посиємо або що.

— Правильно, — поддержали ее бородачи.

— Видимо, дело по порядку йде. Час добрый, товарищи!

Денис видел и слышал прославление народом советской власти, и сердце его наполнялось радостью.

По мерзлomu ледяному насту ярославецких улиц зацокали тысячи подков разом со всех концов въехавших всадников. Перед крыльцом волостного двора, на котором стояли в ожидании их прибытия Петро Кочубей вместе с Кийком и Васькой Москальцом и еще с несколькими неизвестными Денису товарищами, продефилировали тысячи всадников, отсалютовав вынутыми клинками. Въехав на широчайший кочубеевский двор, всадники разом спешили и построились тут же, отдав коней коноводам.

А Денис, въезжая в знакомый двор, с немного сомлевшим сердцем обернулся к маленькой сторожке, ставшей теперь ему дороже всего на свете, и увидел ту, кого хотел. Она стояла в той же позе, в которой он и оставил ее, уезжая. Как будто так и не сходила с места целые сутки.

Она стояла, распахнув настежь дверь и опершись о косяк высоко поднятой рукой. Денис улыбнулся ей и, соскочив с коня у ворот, подошел и взял ее за обе руки.

— Здравствуй! — сказал он ласково, еще боясь произнести ее имя.

Она же, закинув руки ему за голову, поцеловала в губы.

И хоть видел он ее и она его перед тем всего лишь пять минут, но что-то было для них обоих настолько надежное в этой встрече и верно узнанное друг в друге, что этот поцелуй за день разлуки был достаточно подготовлен и в нем не было ничего неожиданного для обоих.

Лишь партизаны Дениса удивленно переглянулись: откуда это у Кочубея так быстро все образовалось, что целуется с дивчиной при людях на зависть товарищам?

Но тут подошел к Денису Петро, и Денис представил ему Надийку как свою «дружину»^[26]. Петро удивленно взглянул на Дениса, потом сощурил

близорукие глаза и, близко подойдя к девушке, взгляделся в ее милое лицо,
— Ну, идите же, вас ждут, — толкала она обоих братьев, заглядевшихся на нее и забывших, что народ ждет их.

Она показала на трибуну, сооруженную посреди двора.

— Полезайте на «голубятню».

Братья улыбнулись и направились к трибуне.

КОНЕЦ АНАРХИИ

— Товарищи! — сказал Денис. — Почему вы не на фронте? Уже три месяца как Красная Армия в славных и победоносных боях теснит и гонит белого и желтого врага — иуду Петлюру, продающего Украину иностранным империалистам. За эти три месяца ваши земляки — славные черниговцы из всех других уездов — покрыли славой свои боевые партизанские знамена, ставшие знаменами регулярной Украинской Первой Красной Армии. Вы же бежали из этой армии и тем вывели себя из строя. В этом основное ваше преступление.

Но вы же знаете, что движение армии началось непосредственно вслед за вашим бегством с нейтральной зоны. По пятам за вами пошел в поход геройский командир Новгород-Северского полка Тимофей Черняк — ваш сосед, по чьему зову вы и явились туда, чтобы стать б ряды пролетарской армии. Черняк должен был покарать вас как дезертиров, но он пощадил вас, веря, что вы еще одумаетесь и примкнете к рядам революционной армии. Вы это должны понимать.

— Мы это понимаем, — был ответ из рядов. — Тимофей Черняк нас не тронул.

— Вы не пошли вслед за ним. А вы за его плечами да за плечами других товарищей, проливающих свою кровь за родину и за вас, начали заниматься авантюрой, бандитизмом — вы, которые являлись в восемнадцатом году в борьбе с немецкими оккупантами образцом героизма для всей Северной Украины! Но неужели вы думаете, что, отогнав врага от своей хаты, вы этим выпол-

нили свой долг перед родиной? Что ж, страна и ее судьба вас не касаются? Что же вы за дикий остров такой? Вы скажете, что в Глухове, мол, сидели контрреволюционеры? О них вам доложит председатель ревкома Петро Кочубей. Призываю вас к трезвости и правде. Если у вас будут вопросы и возражения — пожалуйста, трибуна открыта для всех. Но первое слово я даю председателю ревкома Кочубею. Твое слово, Петро.

Гром аплодисментов, провожая Дениса, встретил Петра.

— Товарищи! — сказал Петро. — Рад, что вижу вас здесь не обезоруженных советской властью, а стоящих с оружием в руках рядом с красноармейцами. Я рад потому, что это свидетельствует о настоящем вашем лице — лице революционном, о котором мы знали по подполью восемнадцатого года, когда держали с вами связь и контакт из Чернигова, и

с Городнянщины, и с нейтральной зоны, и даже из Москвы. И вам самим надо исправить теперь вину, пока не поздно. Я не буду здесь сообщать подробностей о раскрытом нами сейчас на Глуховщине контрреволюционном клубке. Скажу только, что из четырнадцати уездных комиссаров нами арестовано восемь, остальные взяты под надзор и проверку. Вся работа уездного аппарата будет проверена до конца, и вы должны помочь нам в этом. Удовлетворены вы этой информацией? И есть у вас доверие к нам?

— Удовлетворены и довольны! Да здравствует советская власть! — неслись возгласы и аплодисменты из толпы.

— Я предлагаю дать следующее слово Тыдню.

— Согласны! Правильно! Пусть Тыдень скажет!

— Говори за всех, Тыдень! Говори чисто все!

Тыдень поднялся на трибуну. Петро остался с ним, а Денис спустился вниз, увидев стоящую в толпе без шапки, с развевающимися на ветру волосами, восторженную, всю какую-то весеннюю и радостную Надийку.

— Тут товарищ Кочубей говорил, что жалко тех убитых людей. Верно. Жалко нам тех, что забиты в «казацкой могиле», жалко отряда Кривущенко, и его самого жалко. Мстить будем за них! — крикнул Тыдень и судорожно развернулся левым плечом, как бы готовый к удару наотмашь. Он цапнул свой маузер и, убедившись, что он на месте, помолчал. — Но не жалко нам других — тех, которых перебили мы сами, и тех, что уничтожены сейчас кочубеевцами. Это не наши, это чужой элемент. То кулачество, товарищи, куркульство! Так или нет, я спрашиваю?

— Так, так, верно говоришь, Тыдень, то куркули!

— Верно говорю, — подтвердил Тыдень. — Дубовицкий полк здесь нерушимо весь, только малая часть ушла за Артамоновым, дербанщики ушли. Мы их найдем и не пощадим. Мы хоть и виноваты перед советской властью, но от всего партизанского круга я признаю это. Не надо было уходить нам с нейтральной зоны, погорячились. Это наше нетерпение, наша «анархия», которую правильно здесь опровергал Кочубей. Куркульский элемент еще покажет клыки, но мы их обобьем. Каждый бедняк понимает по своей жизни, за что он бьется, и куркуль свою партию понимает. Были они с нами — те «маруськинцы», «бусловцы» да «щекотнюковцы». Разве то вожди бедноты? Разве беднота с ними шла, спрашиваю я вас? Откуда они взялись? Панской авантюры это сукины сыны и холопы мирового буржуа. Что ж касается остального, то Кочубей Петро, наш теперешний председатель, прав: дело в подробностях разберет настоящая советская власть, которой я с головою и сердцем помощник и

товарищу Ленину покорною головою слуга. Важно основное наше общее понимание, оно заключается в том, что мы безоговорочно признаем советскую власть и сами ее создавать тут будем. Так что — ура, товарищи!

— Ура! — загремело кругом.

ПРИЕЗД АРТАМОНОВА

Пока Тыдень говорил, Денис слушал его, положив руку Надийки в широкий карман своей шинели и по рассеянности не выпуская ее. Надийка оглянулась назад и вдруг выдернула руку.

— Денис, да ты оглянись назад, там какой-то шум! Что-то случилось!.. Артамонов едет! — воскликнула она.

Денис оглянулся.

В ворота порывалась въехать тройка серых в яблоках коней, но ее не пускали, схватив под уздцы и что-то крича, партизаны. В тачанке стоял во весь рост бородач и тоже что-то кричал. От коней шел пар. Бородач, в шинели, с лихо заломленной серой папахой на затылке, кричал и ругался. Бородача обступили партизаны и пытались схватить его. Но вдруг, подойдя к тачанке, мигом отпрянули все, как будто наткнулись на что-то страшное, Артамонов гикнул, тряхнул вожжами и подъехал прямо к трибуне.

Денис выхватил маузер.

— А ну, стой, черт!

Бородач, увидевши Дениса и, видно, догадавшись, кто он, сказал:

— Я Артамонов, приехал сдаваться!

Он бросил вожжи и слез с тачанки. Тыдень, увидевши, эту сцену, прекратил речь и, прыгнув сверху, выхватил маузер. Кто-то из стоявших позади Артамонова партизан попытался схватить его за руки. Несколько конников бросились из рядов, шашки сверкнули над головой Артамонова.

Денис поднял руку и крикнул:

— Не смей стрелять! Не трогать!

Петро, с трибуны заметив сдвинувшиеся ряды тысячной толпы партизан, метнувшихся к коням, тоже поднял руку и прокричал:

— А ну, смирно, товарищи! Стоять на местах!

Эскадронцы и партизаны стали вновь занимать места.

— Подымайся на трибуну, — сказал Денис, беря Артамонова за руку, в то время как Тыдень снимал с него португепю и пояс с оружием.

— Напрасно трудишься, Оса, я сам сниму, — двинулся к Тыдню Артамонов. («Оса» было партизанское прозвище Тыдня.)

— Молчи, босяк! — крикнул Тыдень.

Когда Артамонов появился на трибуне рядом с Тыднем и Денисом, все во дворе разом успокоилось.

— Товарищи! — поднял руку Денис. — Артамонов явился сам. Пусть

он нам сейчас скажет, с чем явился.

Артамонов тяжело дышал. Он волновался. Наконец он начал говорить:

— Я явился сюда, чтобы доказать и Тыдню, и червоным комиссарам Кочубеям, и всем вам свою невиновность. Ни в чем я перед вами не виноват. Тыдень обвинил меня в бандитизме и дербанке, в измене общепартизанскому делу, объявил меня и мой отряд вне закона. Я не имел возможности даже с ним объясниться, так как всем известно, что он сразу бы в сердце пульей ужалил, — Оса! Он преследовал меня и моих людей всюду и вынудил уйти на русскую территорию, где мы искали от него спасения.

Я приехал сюда теперь, чтобы снять с себя все обвинения, и привез с собою наглядные доказательства. Вон они, там на возу! — показал он пальцем на тачанку. — Там лежат трупы Маслова, Бусла и Карая. Бусла и Карая я расстрелял, а Маслов застрелился сам!

Почему я их убил? Через Ваську Москальца, моего племянника, которому Тыдень поручил убить меня, я получил вчера письмо от председателя Кочубея, из Глухова. Не знаю, здесь он или нет?

— Да, я писал вам, — отвечал Петро.

Артамонов обратился к нему:

— Я получил ваше письмо. В этом письме было написано, что на предварительном расследовании по делу о контрреволюции в Глуховском уезде выяснено, что помощник и политический мой руководитель Маслов связан с панской разведкой через Яценко и графа Браницкого, о котором я ничего не знаю и не слышал даже, есть ли такая собака на свете; что в организации объединенных действий Украинской директории и Польши состоят, кроме Маслова, Бусел и Карай. Что по предварительным данным известно, что я — Артамонов — не состою в связи с этими людьми и они боятся раскрывать даже передо мной свои планы, но думают сделать меня слепым орудием своей контрреволюционной авантюры. А потому мне предлагается взять живыми или мертвыми упомянутых организаторов «контры» и доставить их в Глухов или в Ярославец, к командиру отряда Денису Кочубею, который будет об этом предупрежден, и что таковые мои действия целиком оправдают меня перед лицом советской власти.

Одна моя вина, я должен признаться, товарищи: когда я стал допрашивать Маслова, он мне сказал: «Я тебе открою все, но оставь мне один патрон напоследок». И я дал ему свое слово, чего я, как сам сознаюсь, не имел права делать. И он мне открыл действительно всю картину своего разбоя и измены революции и назвал мне... тут у меня имеется протокол допроса.

Артамонов достал из-за пазухи бумаги и отдал их Петру Кочубею.

— И за это за все я разрешил ему использовать одну пулю для себя. Если вы считаете, товарищи, что пятно с меня не смыто, и обезоруживаете меня сейчас, то вы не держите своего слова.

— Погоди, не горячись! — сказал Тыдень и спустился вниз.

Среди общего напряженного молчания он подошел к тачанке и приподнял брезент. Он несколько раз повернул труп Маслова и, поднявшись вновь на трибуну, сказал:

— Объявляю, что все сказанное Артамоновым — правда. И если мне прикажут законные революционные власти, то я сниму с Артамонова свой приговор и верну ему оружие.

— Отдай ему оружие, — разрешил Петро,

Тыдень протянул Артамонову его пояс, маузер и саблю.

— А патроны и бомбы получишь потом. Пока возвращаю тебе вообще — для примера. А когда дело покажет, то получишь и боеприпасы.

— Спасибо, — сказал Артамонов. — Я У тебя одну пулю не попрошу, мне надо больше.

— Товарищи! — обратился к собранию Денис. — Клянись же все здесь в верности революции.

Заблестели клинки, и вскинулись вверх винтовки, обрезы, револьверы, бомбы — что у кого было.

— Клянемся! — загремело вокруг.

— Залп!

Раздался дружный оглушительный залп, подтверждавший партизанскую клятву в верности революции.

БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ

Денис соскучился по товарищам. Все пять дней, проведенные на Глуховщине и наполненные боевой деятельностью, новыми дружбами и неожиданной, еще не испытанной никогда любовью, — все это казалось целой жизнью: так много вошло за короткий срок нового и ценного в сознание и в душу.

Все четыре эскадрона находились в разных местах. Оставшийся с Денисом Четвертый эскадрон тоже был в непрерывном движении. Денис и команду незаметно передоверил эскадронным, а сам превратился в начштаба и политкома. Кроме первого боя в монастырском лесу, ни в одном из десятков боев, проведенных за эти пять дней его четырьмя эскадронами, он сам не участвовал. Партизаны, довольные успешным развитием операции, не чувствовали усталости. Убитых не было вовсе, кроме Батюка, а раненых было человек двадцать, из которых большинство оставалось в строю. Шесть человек, тяжело раненных, лежали тут же, в ярославецкой больнице, — к ним и хотелось пойти теперь Денису.

Но один идти он не хотел и решил по пути захватить с собою кого-нибудь, хотя бы Грицька Душку. Поэтому он зашел сначала в конюшни, отепленная часть которых была превращена в караульную для разведчиков и находилась тут же во дворе, где стояли и кони всех проходящих эскадронов. Второй эскадрон еще не вернулся из Шостки: он был на походе и имел приказание оставаться в подчинении Широкого и Коротченко. Во дворе было пусто. Денис вошел в караулку и весело приветствовал друзей:

— Здравствуйте, ребята!

Никто не поднялся ему навстречу, никто не ответил на приветствие. В караулке находился взвод Савки Татарина, прибывший вместе с Петром. А на его место в Глухов был направлен Третий эскадрон под командой Карпа Душки.

Партизаны лежали вдоль лавок на широком настиле. Некоторые брились у стола перед большим круглым зеркалом, которое переходило из рук в руки, катаясь по столу колесом. О праве пользования им велись споры:

— Да ты погоди, не к тебе счастье колесом катится, а то ус срежу.

— А на черта тебе ус? Хоть бы ус был стоящий, а то рыжий и торчит, как у кота, вперед носа!

Денис остолбенел. Такого пренебрежения, такой невежливости к

командиру и другу ничем нельзя было объяснить. Нельзя было понять, почему бойцы, любившие своего командира, не отвечают на его приветствие, и все это после того, как они были разлучены и пора было соскучиться им, как соскучился он. Прежде они облепляли его, как пчелы матку.

Денис только заметил, что при его приближении к караулке дежуривший на крыльце Сапитончик шмыгнул внутрь. Он сидел теперь с лукавой улыбкой у дверей. Денис поглядел на него и спросил:

— Ты дежуришь? Поди, стань!

Сапитон вышел, гремя винтовкой, волоча ее по полу.

Дениса прорвало:

— Да что вы — белены объелись, что ли? Сидите, как сычи, и даже не отвечаете на приветствие. Савка, отвечай, что это значит, дьявол вас побери!

— А ты не лайся! Садись! — сказал Савка. — Сейчас скажем!.. Кто будет говорить? — обернулся он к остальным. — Меня уполномачиваете, что ли?

Остальные утвердительно кивнули, как заговорщики в спектакле.

— Ну ладно, я буду говорить, — повернулся Савка к Денису и вытер насухо свою птичью физиономию, полотенцем. — Ты что ж это, женился? — спросил он таким тоном, как будто Денис совершил тяжкое преступление,

Денис широко открыл глаза.

— Ты что окошки открываешь? — спросил Савка до того свирепо и вид у него был такой прокурорский, что Денис не выдержал и захохотал, повалившись на скамью..

— Чего катаешься? Чего ты иржешь? — спрашивал, нимало не сбавляя судейского тона, Татарин. — А ты кого спросился?

— Да ты что за спрос? — поднялся Денис, вдруг посерьезнев. — Почему я должен отдавать тебе отчет?

В рядах сидевших произошло движение. Денис ничего не понимал.

— На ком ты женился? На анархистке?

— Савка! Говорю тебе, я из тебя дух вышибу, — подошел к нему в гневе Денис.

Откуда-то из-за угла вынырнул не замеченный ранее Денисом Грицько Душка и встал между Денисом и Татаринцем.

— Денис Васильевич, успокойся, тут дело товарищеское! — сказал он своим певучим голосом. — Не кипятись!

— Ну хорошо! — отошел Денис к своему месту и снова вытянулся на

лавке, подложив под локоть седло. — Товарищеское, говоришь, дело? Значит, мне, по-вашему, нельзя жениться? Монах я вам, что ли? И ли обещание такое я вам давал? Или вы все неженатые? В чем дело, спрашиваю, толком говорите! Тут какая-то Савкина провокация! Кто это тебя надоумил, что моя жена анархистка?

— Тебя черт не поймет, — отвечал Савка, тоже садясь на прежнее свое место. — Мы кого тут ликвиднули? Анархию или нет? — чинил он свой допрос Денису. — Анархию, — отвечал он сам, как бы продолжая развивать вслух свои размышления о преступлении Дениса. — Ты за какого господ бога борешься — или как? За советскую власть, большевистскую или за анархию? Конечно, за большевистскую власть. Так при чем тут эта свадьба?

— Послушай, Татарин, — успокоился Денис. — Я отвечу тебе по пунктам. Я большевик, не будучи еще партийным человеком. Я должен заработать это право на партийность, и я постараюсь его заработать. Я никогда не изменял партии большевиков и со всеми изменниками буду бороться до смерти. И борюсь, как видишь. Я послан сюда партией, знающей обо мне, кто я такой, и верящей мне. И что я, по-твоему, здесь сделал неправильного? Подвел я советскую власть или помог ей? Отвечай!

— От любви это, Денис Васильевич, у нас, не иначе. Ты так и понимай. Но очень для нас тревожно, что ты — рраз, да и женился. Значит, вроде есть в тебе еще анархический дух. Чтобы потом чего не получилось! Вот об чем речь. Баба, ведь она, знаешь, на горячее идет.

— Дурак ты, Савка! — расхохотался Денис. — Девушку эту я давно знаю. Она подруга моей сестры. Вместе они росли и учились. В детстве я ее видел. Она мне как бы родная. Вот вам и весь мой сказ, — поднялся вдруг Денис со скамьи и шагнул к порогу,

У дверей он остановился.

— А за любовь вам спасибо!

И вышел.

«Нет, никогда никуда мне не уйти от них! — думал Денис, заново переживая счастье полного слияния с душой и дружбой народной. — Только соперник ли такая любовь моей любви к Надийке?»

— Ах, как давно хочу тебя я видеть! — говорила Надийка Денису. — От Наташи о тебе много слышала. И никогда не искала встречи, как бы чувствуя, что она сама произойдет, что ты ко мне придешь. И вот ты здесь! Господи, как я волновалась, когда вошла в знакомую мне комнату, где я бывала чуть ли не каждый день и где ты спал на полу. Мне показалось, что

тебя я и должна была увидеть именно так, спящим на полу, — как будто мне это снилось когда-то. Впрочем, я помнила тебя мальчиком. А днем перед этим таял снег и светило солнце, обжигающее после зимы, как первый поцелуй. И в парке журчали ручьи, как первая речь твоя, и пели мне об исполнении счастья, мечты всей жизни. Я стояла на мосточке... Ну, вот и все. Больше прибавить нечего, — улыбнулась почти грустно Надийка, глядя на то, как Денис, слушая, улыбался ей снисходительно, как ребенку. — Я поведу тебя на тот мостик!

— Ну что ж, пойдём! — сказал Денис, вставая.

Надийка все еще сидела, подперши щеки руками, и вдруг, увидев, что Петро, вытаскивая из печки картошку, обжегся, рассмеялась таким жизнерадостным смехом, что Денису показалось, что в комнату залетела целая стая птиц. И казалось, что не помещались в маленькой комнатушке эти птички рассыпавшегося смеха.

— Я прошу тебя, когда я буду умирать, рассмеяться так, как ты сейчас смеешься. Пойдем, весенний жаворонок.

— Мне очень понравился твой Тыдець, — сказал Петро. — Я, собственно, не знаю, в чем же состоял его анархизм. Ведь он же тут еще в тысяча девятьсот восемнадцатом году коммуны строил. И рассуждает он насчет куркулей и классового расслоения совсем по-революционному. Как же ты решил с ними поступить?

— Да придется мне ехать с ними к Щорсу и отдать Черняку, по старому их знакомству. Он, конечно, самый прямой для них адрес.

— Правильно рассудила, — поддержал Петро. — А разве ты все-таки сейчас же собираешься ехать к Щорсу? — лукаво поглядел Петр на Надийку.

— А ты думал, что все это кончится одной поэзией?

ПЕТРО И ТЫДЕНЬ

Петро вышел на улицу. Напротив домика на ступеньках кузницы сидел Тыдень и, видимо, ждал кого-то. Ждал он, конечно, Кочубеев. Петро понимал его нетерпение. И, встретившись со взглядом Петра, Тыдень прочел в этом взгляде ответ на все то, что его волновало. Ставши невольно в положение отщепенца по отношению к советской власти со времени нетерпеливого ухода дубовлян с Зоны, он, будучи революционером, конечно, не мог не чувствовать своей вины и не понять всей горечи своего положения. Пока боролись с оккупантами и гайдамаками, все было в порядке. Но как только борьба была задержана, а выступление против советской власти, хоть и спровоцированное мнимыми ее «представителями», оказалось таким преступлением, — и Тыдень и его люди почувствовали невозможность дальнейшей изоляции и сепаратизма. Но не находилось до сих пор людей, которые помогли бы разрубить узел дубовлянского конфликта.

Черняк прошел мимо со своим полком, не решившись ни покарать Тыдня, ни сказать ему суровое дружеское слово. Да, впрочем, было ему не до того в быстроте марша. Нет, ни слова не сказал гневный и презирающий Черняк. А потом и пошло и пошло...

— Скучаешь, Тыдень? — спросил Петро, садясь на крылечке. — Или кузница тебя тянет? Я слышал, что ты знаменитый кузнец.

— Я кузнец, каторжный кузнец, — с гордостью сказал Тыдень и махнул рукой. — А вот взялся ковать народное дело, да и не сковал. Языка мне настоящего не сковано, Кочубей.

— А мне понравилось твое выступление против жалости к куркулям. Теперь я тебя понимаю.

— Ну, спасибо ж, что хоть ты понимаешь, — протянул Тыдень Петру левую руку. — Признаюсь, я и черта не боюсь, а тебя боялся, хоть и молодой ты, — перебил он вдруг себя, улыбаясь. — И вот, правду говоришь, тосковал я по другу, как бы сказать, и боялся: не поймете вы меня, не поймете.

— Не журишь, пойхмем, — хлопнул его дружески по плечу Петро. — Поговорим о коммуне, Тыдень. Про этот твой опыт давно слышал! А что она, существует, не развалилась?

— Нет, — оживился Тыдень. — А когда же ей зимой разваливаться? Скоро и приступим опять до работы. Это моя, брат, каторжанская мечта, да

вот кутерьма завязалась... Какие у меня поросята! Вот поедем завтра ко мне в Чарторыги — увидишь. Увидишь и кузницу. В моей кузнице пистолеты делаются. Мало чем хуже маузера. Только что обойма винтовочная, на пять патронов.

— Из винтовок, стало быть, делаете? Обрезы?

— Обрезы-то обрезы, да особенные. Из одного винтовочного ствола я делаю три пистолета. Замок — моего производства. Да вот... — Тыдень достал заткнутый за штанину «пистолет». Петро повертел его в руках. — Вот, смотри, — взял у него Тыдень пистолю. — Видишь гречей вон там, на тополе?

Раздался выстрел и за ним второй, и с тополя упали, трепыхая крыльями и роняя перья, два грача.

— Бьешь с руки, — спросил Петро, — без прицела?

— Навскидку, левой, — отвечал Тыдень. — Рука должна иметь точность соразмерно глазу. Я на мушку не целюсь и правой могу, хоть незручно. Я левша.

— Так сколько ж у тебя дворов в коммуне?

— Сто пятьдесят дворов в Чарторыгах да до ста в Дубовичах, хозяйничают на панских землях. А теперь я и куркулей переполовиню: сделаю сплошную артель. Объединю скот и коней, чтобы на весну перепахать межи. Я насчет семиполки думаю. По нашим землям трехполье ни к чему: у нас — технические культуры. Конопля самая знаменитая, Америке продавали со старины еще.

— Это дело надо посмотреть, — заинтересовался Петро. — А как же в остальных селах?

— Всюду то же — будет, дай срок! Это дело мы организуем. А ты хозяйственник, я вижу? Жилка в тебе есть.

— Да как сказать, — отвечал Петро. — Разве что «жилка». Люблю хозяйничать, да некогда. От книжки недавно. А про коммуну я тоже мечтал.

— Эх, Петруха!.. — И Тыдень хватил Петра железной левшой по плечу. — Дак я ж тебе и конюшни покажу. Ты наших коней видел?.. Стой, я тебе завтра полный смотр устрою своего хозяйства. Вижу я — кончилось недоумение.

— А как же фронт? — спросил Петро, с улыбкой покосившись на Тыдня.

— От фронта я не прочь. Ты же видишь — боевую удачу имею.

— А кто ж тут останется коммуну строить? — спросил Петро.

— Найдутся, конечно, люди. Да мне, вот видишь, хоть разорвись... Я из-за развала той коммуны и с Зоны двинул, когда оккупанты на наш

урожай нагрязнули. Мало, что они тут карали беззащитные семьи, — они коммуны мою разоряли: скот, поросят и всю живность забрали, сырню, маслобойку сожгли. Все перепортили. Вот оно что, — вздохнул Тыдень. — Это оккупанты нас и разорили.

— Ну что ж, не ходить тебе на фронт, значит. Так тебе тут хозяином коммуны и оставаться. Только, глядите, не «лисуйте» больше, а то опять одичаете.

— Да что ты в самом деле, Кочубей! — тряхнул головой Тыдень. — Нас будет видно со всех концов света.

— «Видна стала и земля галичская», — сказал Петро. — Скоро там будем. Слышал, Щорс уже к Галичине подходит? А ты лесом заслонился, и не видать тебе ничего было.

— Ну, вот и дошли. Тут наш штаб. Вот уже и народ весь собрался. Навстречу им шел Артамонов.

— Ну что? — спросил Тыдень, сурово нахмурясь при его приближении. — Зарыл своих собак?

Артамонов промолчал, так же сурово оглядывая Тыдня. (Тыдень приказал ему вывезти за село и зарыть в вороньем яру поганые трупы предателей.)

— Что же ты не отвечаешь? Зарыл, спрашиваю?

— Слушай, Оса, — сказал Артамонов. — Имей терпенье кусаться. За Клевеишь переступить побоялся? — кольнул он его.

— Посоли язык, говорю...

— Ну, сполнил! — ответил наконец Артамонов. — Какую ты силу надо мной имеешь, Оса! И все это от моей любви! Ну, давай левую!

Петро любовался проходящими мимо него смуглыми, обветренными партизанами и вспоминал Денисово определение — «красавцы».

«Жалко их Черняку отдавать, — говорил Денис. — Зачем он их проморгал? Отдам Щорсу и Боженко или сам буду ими командовать».

А Тыдень стоял рядом с ним, отмечая проходящие группы:

— Дубовляне, чарторыжцы, тулиголовцы, холопковцы, уздичае, ярославляне...

В каждой группе хоть и похожих меж собой людей было что-то отличное. Суровее всех показались Петру Тыдневы чарторыжцы и красивее всех — ярославляне.

— А что ж, Денис не придет? — спросил Тыдень.

— Придет. Гайда знает сюда дорогу?

— Она знает, — протянул Тыдень, и Петро заметил, как мимолетная озабоченность скользнула по лицу Тыдня. Петро понял, что и Тыдень

боится того же, чего боится и он. Боятся они Денисовой любви, чтобы не приковала она его.

Но Денис явился как раз в минуту, когда все расселись и водворились порядок и тишина. Пришла с ним и Надийка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОХОД



В КИЕВЕ

Боженко лежал на бархатной кушетке в богатой гостиной сахарозаводчика миллионера Терещенко. Бывший министр Временного правительства бежал вместе с гетманом в Германию. Сыновья его, возглавлявшие карательные экспедиции, были убиты партизанами. Их фотографии еще висели на стене. Комендант штаба Таращанского полка Казанок тронул плеткой одну из фотографий.

— От цього кабанюка я шось памятаю. Це ж мы его прошлого ще году при установлении границы в Терюху под лед спустили.

— Он самый и есть, гайдамацкий полковник Терещенко! — сказал подошедший другой таращанец, разглядывая фотографию. — Тым делом командовал Денис Кочубей та ще який-то знаменитый храбрюга.

— А ты ще й доси не вгадав, який то храбрюга? — спросил командир броневика, матрос Богуш. — Да то ж наш дружок — Микола Александрович Щорс был.

— Да не может того быть! — удивился Казанок. — Да как при чем же он там был?

— Вот теперь и я тебя, Казанок, что-то примечаю, — отозвался Богуш. — А тебя какая планида туда спокинула? Ты ж, сдается, не наш, не городнянский.

— Как есть я при той операции был, хоть и не городнянский. И наши эшелонцы и убили того бугая. Так що ты говоришь, той чубатенький и был Щорс? И ты при том был?

— Ой самый и есть. И я при том был: я как есть за машиниста орудовал. Ще й вашего Кочубея выручали.

Батько прервал воспоминания бойцов. Ему надоело лежать на кушетке.

Звони в телефон, Казанок, до штабу бригады? зови мени Щорса... Три денечки без всякого дила сидимо. Що я — Магомет турецкий?

— Ходу давай, Микола Александрович, — кричал батько в телефон. — От как раз то мени и надо! А то какой же мени с того толк, чтобы Тараща на терещенковських пуховиках вылеживалась? На Таращу, говоришь? Да я и там не загостююсь и хлопцев не растеряю. Не поженятся!.. До Винницы за тыждень буду, тай ще й швыдче... Вырушать?^[27] Та хочь завтра!

Этот разговор означал, что Щорс дает Боженко благословение на поход

на Васильков, Таращу и Винницу.

— Пока Щорс богунов подформирует, мы тую петлюрню на мыло змылим! — мечтал вслух Боженко.

Он отдал Казанку распоряжение о выступлении таращанцев из Киева.

— А то балуются хлопцы. Город большой, и добра б нем на санках не увезешь, к седлу не приторочишь... Да досмотреть мне, Казанок, чтобы не было никакой барахлятины. Кобуры осмотреть, карманы повывертать, о ворах и злодююках мне донести и про Таращу хлопцам покуда не сказывать. Завернем туды чи не завернем — по неожиданности похода, — то неизвестно. Направление держим на Винницу через Васильков — Фастов. А тебе, Богуш, бронепоездом путь прочищать, наш поход прикрывать будешь. Услед тебе нежинцы эшелонем пойдут. А то не наше дело у теплушках, как той скот, душиться.

И запели таращанцы, выступая из Киева. Батько ехал впереди эскадрона.

Ой, то не полем-полем київським
А битим шляхом Васильківським.
Гей та татарська орда налягає.
То там таращанці с батьком Боженком
На конях буланих їдуть гаєм,
Просить пан Петлюра у Боженка жалю,
А у батька жалю — немає.
На того Петлюру, на його натуру
Приготуйте, хлопцу нагаїв,
Бийте його, хлопці, бийте, не жалійте,
Бо то не Петлюра, а Іюда.
Повернув Петлюра хвостами отсюда:
«Змилуйся, Боженко! Не буду...

Насмешливая песня, тут же сочиненная, в подражание думе, песенником-поэтом Мыкитою Неживым, вызывает смех и всеобщее одобрение. Улыбается и батько, любящий поэзию и песни.

Он ведет с собою теперь в рядах таращанцев старых киевских товарищей — арсенальцев и других заводских рабочих, из которых знает каждого по имени-отчеству,

Вот один из них, Савка Буланый, — столяр-арсеналец, как и сам Боженко, работавший у станка рядом о ним добрый десяток лет. Все знают

друг о друге два товарища, о многом переговорили и передумали вместе. Знает Савка Буланый неукротимый характер своего друга Боженко, но все же дивится он тому, в какого знаменитого полководца за один только год революционной боевой деятельности вырос столяр, его друг: и тот и не тот теперешний Василий Назарович. Савка косится не-, заметно на едущего рядом с ним батька.

«Откуда у него все это? Верно, с детства, с тех пор как пас коней в ночном, будучи батрачком в Тараще, лет примерно тридцать пять — сорок назад, и не садился он на коня верхом, хоть и дослужился когда-то до фельдфебеля в пехоте, а вот же сидит теперь на лихом коне, как заправский богатырь какой, несмотря на то, что уже разломаны ревматизмом кости».

А батько, чувствуя на себе его пытливый взгляд, приосанивается в седле и, набивая трубочку, спрашивает Буланого:

— А что, Савка, саблюку б на лозе спробовал: может, не гостра, оселка требует? По шияци гайдамаци щоб не промахнула... Га?

Таращанцы, о которых киевские обыватели да провокаторы распускали слухи как о грабителях, были обысканы перед походом.

— Один только идол попался, дорогой папаша, — докладывал Казанок, — ну, я его стукнул при том случае, без подробностей, бо рецидивист пришился и нашу честь марает. Чистое казначейство в кармане обнаружил.

— Чтоб ты того не делал, Казанок, без моего ведома, бо не жить тебе на свете! — внушительно сказал батько коменданту. — Моя рука тяжелее твоей, ну и я от того дела воздерживаюсь, бо имею на то указание нашей высшей власти. Есть у нас суд, трибунал военный, и в другой раз будешь ты у меня перед тым трибуналом за такое дело отвечать. А покуда, вскоростях, я то тебе прощаю, ну гляди в другой раз!

И Казанок, смутившись, отъехал. Батько успокоился,

«Вот дурно поклеп на хлопцев взводили. Я ж говорил Миколе, — думал Василий Назарович, — что та лютая слава про таращанцев — буржуйские хлыпы».

.. Снежок посыпал и таял. Зима, лютовавшая весь декабрь и январь, стала сдавать. Надо было спешить с походом, могла наступить и распутица.

Батько, едучи по талому снегу, вдруг вспомнил об этом и решил «переменить стратегию», как он выражался. Он повернул на Боярку и, узнав от разведывательного бронепоезда, что путь на Васильков свободен, а город обстрелян броневиками и, должно, Петлюра «лу-занул» до Фастова, велел пехоте погрузиться в эшелоны и двигаться на Васильков скорым маршем, а сам пошел с кавалерией в обход с фланга, через Глеваху.

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Загремели первые орудийные выстрелы со стороны неприятеля. По звуку разрывов было ясно, что противник бьет через голову таращанцев по Киеву из дальнобойной. Слышны были только разрывы. Но по звуку своих ответных артиллерийских выстрелов батько догадывался, что артиллерию неприятеля Хомиченко нащупал. Петлюра, отступивший к Василькову, очевидно,

повел теперь наступление на Киев или, разведав о выступлении таращанцев, повел контрн наступление. Надо было опять снять неприятельскую артиллерию. Батько повернул к Боярке, откуда слышна была пальба богушевского броневика, и, подскакав к броневнику, крикнул:

— Чего ж ты топчешься, Богуш, что я тебя конем обгоняю? Катай без остановки до Василькова и крой врага долой с пути, а я его тут саблей поддену.

Богуш выглянул из бойницы, красный, вспотевший, оглохший от стрельбы, и услышал только последние батькины слова.

Он кивнул головой и спрятался, подав команду:

— Полный!

Броневик помчался к Василькову, а батько взял наискось и полетел с эскадром на Глеваху и Дроздовку, предполагая в той стороне местонахождение дальнобойки, обстреливающей Киев, и приказав полку, погруженному в эшелон, что должен был пойти вслед за броневиком, высадиться под Васильковым и взять город немедля.

Батько любил кавалерийский обхват. А уже под Глевахой стало ясно, откуда бьет дальнобойка.

— Вон за этим узлиссям^[28], папаша, — показал пальцем подскакавший разведчик, придерживая тряпкой рану, из которой лилась на снег кровь.

Батько приподнялся на стременах и выхватил саблю.

— В атаку!

Почти месяц не видели таращанцы крови, и кровь разведчика Неструга, прискакавшего на белом окровавленном коне с донесением, кровь, обильно лившаяся по боку коня на белый влажный снег, разозлила не только заволновавшегося батька Боженко, но и всех эскадронцев. Молча и гневно мчались всадники к лесу.

Обскакав лес под выстрелами, батько скомандовал:

— Долой с коней, ложись! — и свистнул команду подскакавшей артиллерии.

Враг держался в лесу, надо было его выбить оттуда. Скорострельные пушки «гочкис» забросали лес гранатами. Лес наполнился эхом разрывов и криками подпеченного огнем врага. По ту сторону леса была железная дорога, и по линии на Васильков прогуливался красный бронепоезд, тоже бомбивший лес. Пулеметчики расположились по флангу и в свою очередь строчили по лесу. Лес простреливался насквозь. Там поднялась невообразимая суматоха, и петлюровцы пошли на вылазку.

— Сдана! — закричали они.

— Гей, невелика ж слава! — отвечал батько, вымчавшись на них впереди эскадрона.

Тут-то он их и встретил. Недосеченных пулеметами рубанули эскадроны, выхватившиеся разом на коней. А с другой стороны леса и по лесу понеслось: «Ура!» Та батальон, шедший вслед броневнику, выбросившись из эшелона, пошел на поддержку батькиного фланга, ломая фланг Петлюры.

Построенный по треугольнику маневр петлюровцев был смят. Сложная операция — тем более рискованная, что мало разведанная местность оказалась сплошной засадой, — была закончена. Но ни Боженко, ни бойцы ещё не были удовлетворены. Распаленные коварством и сопротивлением врага, они рвались в бой. А подъехавшая кухня как раз своими запахами разбивала их азарт и боевое вдохновение.

— И на черта ты тут зъявився, — ругали эскадронцы кашевара. — Корми пехоту до поту, а мы в Василькове сметаной поснидаем^[29].

Батько, услышавший те похвальные речи эскадронцев, хоть и сам голодный, сглотнул слюну — «при том проклятом аромате борща, что хоть кого свалит», — как выразился остряк Левентуха, — и повел эскадрон на Васильков.

Надо было поспешить, тем более что и солнце уже скатывалось на запад, пылая алым огнем и как бы спеша водрузиться своим пламенным стягам в той стороне и призывая туда бойцов. Надо было до ночи помочь бронепоезду и пехоте закрепить Васильков:

От Глевахи до Василькова было километров девять с гаком. А Васильков, видно, не сдавался: с двумя бронепоездами вел поединок Богуш.

Наконец, закрепившись на закруглении у будаевского поворота, он взял под боковой обстрел железнодорожный профиль — дугу на Васильков — и свалил один бронепоезд.

На полном ходу слетел «Мазепа» под откос. А другой бронепоезд, «Сичевик», увидевши, с какой удобной позиции бьет красный «Гром», «поджавши хвост, как собака, — как говорил потом Богуш, — потянул хвоста аж до Фастова».

Батько Боженко как раз и подошел к Василькову в этот момент.

Таращанцы разлютовались и рубили сичевиков без пощады. Попробовали было сичевики сдаваться, да не берут таращанцы.

— Быйтесь, сукины сыны, бо мы вас бильше не беремо, хай вас сатана визьме! Гады прокляти! — кричал батько, проделывая саблей настоящие фокусы.

«И где только научился он такие выкрутасы саблей выделявать?» — думал, глядя на него, Савка Буланый.

И падали сичевики и галичане, кровавая снег, и проклинали, умирая, Петлюру.

— Га! Ото победа, що клянут сичевики своего Юду! — кричал батько. — Ну, нет на вас от моего сердца жалю, бо люблю я свободу, а вы ж ее предатели, собачьи сыны!

Так сражались таращанцы до ночи, голодные и злые, забывшие про борщ и сметану, которых думали поесть б Василькове, не ожидая такого великого боя. Так и уснули, не поевши, — наморились в бою,

«ПИШЛИ ЛЯХИ НА ТРИ ШЛЯХИ»

А в это время «Гром» гремел уже и по Фастову, преследуя «Сичевика», пятывшегося задом. Надо было подавать туда опаздывающие молнии сабель.

И, немного отдохнув, таращанцы двинулись на Фастов. Разгромленный снарядами Богуша, Фастов был оставлен петлюровцами, не принявшими боя. Петлюровцы удирали по трем шляхам.

«Пишли ляхи на три шляхи», — острили таращанцы. Пошли петлюровцы на Паволочь, на Скраглевку, на Триполье и на Берники.

Семь часов сопротивлялись под Скраглевкой сичевики первому батальону, но сломили им хребет таращанцы, показав и в этом бою чудеса храбрости.

Эта храбрость бойцов и решила бой, который мог бы затянуться и на ночь.

Паника овладела петлюровцами. Они видели всюду свою гибель. Их охватило чувство страха перед неистоцимой, стремительной, победоносной силой красных войск. И бежали они без оглядки.

Батько Боженко считал стремительность условием успеха. И, раз начав движение, не ослаблял его до полного разгрома врага. Бойцы не считались с усталостью и, отказываясь от сна и еды, не прекращали преследования до победы. Этим выделялись таращанцы изо всех частей, кроме лишь богунцев, стойкость и храбрость которых, воспитанные отважным Щорсом, ни в чем не уступали таращанцам.

Фастов был взят совместными действиями обоих знаменитых полков — Богунского и Таращанского. Из Фастова богунцы пошли по направлению Житомира — на Ходорков, на соединение с Ходорковским партизанским отрядом Шамеса, а таращанцы — налево, в направлении Таращи, куда многим из них, естественно, хотелось завернуть. И это в особенности создавало настроение нетерпеливого неистовства. Все, что стояло на пути к Тараще, сметали они с силой рвущегося вихря. Однако батько сдерживал этот порыв к своей хате у бойцов и категорически заявлял, что до тех пор, пока не будет ликвидирован неприятель на основном направлении — к Виннице, он не отклонится к Тараще.

— У вас нету никаких понятиев, бойцы, что перед нами великий поход, аж до Черной Горы, до Карпат. Наша родина — вся украинская

земля, да и весь свитовый народ, который при нашей помощи должен освободиться и хочет освободиться. А таращанские дивчата, хоть, може, и заскучали по парубкам, та немає чести для бойца милуваться до победы. А ну ж, визьмить мени Паволочь, Попельню та Вчерайше. А один батальон для заслону пойдет на Белую Церковь, набить морду тому Зеленому, щоб не брехав, запроданец, атаманчик, що таращанцы за дивчатами заскучали.

— Верно, батько, дивчата пидождуть, — отвечали таращанцы, возбужденные речью батька, всегда подчеркивавшего интернациональный смысл похода.

Батько отучал молодых бойцов от взгляда на родину, ограничивавшего ее пределы не только «ридною Украиной», а зачастую даже родным селом или местечком.

— «Абы мени у Капустянци слобода, — передразнивал батько домолюбов. — А за Капустянкою хоч не росты капуста, хоч тоби и борщ без капусты!» То таки слобода, а то таки слобода!

И эта незамысловатая, но остроумная агитация батька, задевавшая боевое самолюбие бойцов, расширяла их политические взгляды и достигала наилучших результатов.

— Ведется борьба классов, товарищи. Ще не выздох той класс, пид яким вже ноги ломляться, и не выстоять вин на тих цыплячьих нижках, бо воны у него тилько об землю дряпаются, а наши дубовые ноги выстоять, бо воны с земли растут. Бо нас матка земля ростыла, окропленная нашим потом та кровью спокон веку. На ту золотопогонну кумэдию велький витер дме, не так той витер, як великого ума сыла — нашего пролетарского люду.

И хоть батьку и самому хотелось установить в своей Тараще советский порядок, а может, и погостевать денек-два да повидаться со стариками-сверстниками, с которыми когда-то в детстве пас он батрачком коней на таращанских заводах, — сурово осуждал он тех, кто рвался «до дому». Второму батальону Кабулы, который сам был белоцерковцем, поручил он идти на Белую Церковь и сказал ему при расставании:

— Ото ж твое испытание, сынок: какой из тебя коммунист. Не за чорными бровами твоей милой — бо я в тому не сумлеваюсь, что в Белой Церкви подмаргивал ты тым чорным бровам до походу, — не за тыми чорными бровами, сынок, поручаю я тебе это дело, а штоб гада Зеленого ты мне доставил на аркане, — и быть тому, как я сказал. Слыхал? Иначе я и ие отец тебе больше.

— Слыхал, отец, притяну тебе того Зеленого змея на аркане.

И пошел Кабула на Белую Церковь, а батько — на Попельню и Вчерайше.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КУМ

В этот день по требованию батька добавил ему Щорс новую тяжелую батарею — гаубичную. Она прибыла прямо из Киева и выгрузилась на Попельне под прикрытием сопровождавшего ее богушевского броневика.

Бятбко доверил ее своему лучшему артиллеристу, знаменитому Хомиченко.

— А ну ж, покрести тую новую батарею огневым кинжальным ударом, — сказал ему батько. — Посмотрю я, как: она работает. И чи не перекроет она мои. знаменитые «гочкисы»?

— Не сумлевайся, отец: будем из нее бить, как из бомбомета, — отвечал Хомиченко, зная любовь батька к «кинжальному» бою. Он даже артиллерию вводил в рукопашный бой, вплотную к противнику, постоянно добивая его на месте артиллерийским расстрелом в упор.

— Что его гонять от села до села — тую «петлюру»? Так он перед нами год будет зайдем бегать.

И, подъехав эшелонем вплотную к. Вчерайшему, батько выгрузил своих два батальона под. артиллерийским и пулеметным огнем, неприятеля и выехал с эскадром на открытую, позицию, пустив батальоны наступать. на Вчерайше и вслед за ними — тяжелую батарею.

Подойдя на расстоянии километра ко Вчерайшему, батальоны рассыпались в цепь, а батарея, тут же выехав карьером на горку и снявшись с передков, открыла в упор по противнику ураганный огонь.

— Правильно работает Хомиченко, — замечает батько, посасывая трубку и стоя под горкой в прикрытии, впереди эскадрона.

Цепи батальонов, не размыкаясь и не ложась, без перебежек, идут вперед со штыками наперевес, как на награде. Они приближаются вплотную к противнику и, это время как батарея открывает огонь, с криком «ура» кидаются в штыки.

Тут сам батько поднимает саблю и бросает с фланга в атаку эскадрон наперерез бегущим врассыпную галичанам.

Не вернулись петлюровцы во Вчерайше. Пригвоздил их батько на месте.

А батько подъезжает к батарее Хомиченко и, глядя на отважного, задымленного порохом артиллериста, говорит:

— Спасибо, Антон Егорыч, за ту баню. Орудии способные]
Хомиченко вытирает пот с лица.

— Новая краска в пузыри пошла. К орудию до сих пор руку приложить невозможно: бифштекс получится. Ну, раз выдержали, значит крещеные, хоть и попузырились. Новую закалку даем. Эту вот батарею, с твоего разрешения, «Маткой» будем звать — в честь твоей сурьезной хозяйки, отец. Горячая она у тебя, хай буде здорова, и тоже пузырится.

— А что? Может, подлестился невзначай? — спросил Боженко.

— Да не... — смущается Хомиченко. — Так, пошутковал трохи.

— Ишь ты, «пошутковал», кум. Ну, за эти крестины «кумом» тебя буду звать. Приходи до меня во Вчерайше. Може, и хозяйка моя подъедет — то выхлопочу я тебе ейное прощение, коли в чем пообиждалась,

— Это — выхлопочи, а то осерчала...

— Пошел на Вчерайше!

Батько с Хомиченко поскакали впереди артиллерии по полю с гордостью только что вышедших из боя и обновивших оружие бойцов, оглядывая страшное поле, усеянное трупами врагов.

ЗЕЛЕНЬИЙ НА АРКАНЕ

Кабула сдержал слово, данное батьку. Он ночью окружил Белую Церковь, сияв заставы Зеленого при переходе через Рось, я, зная все ходы и выходы, при помощи разведки из местных жителей, своих друзей, взял Зеленого живым. Он отправил его, как того требовал батько, на аркане до Вчерайшего, а сам пошел на Таращу, не задерживаясь в Белой Церкви гостеваньем.

Выполняя данное батьку обещание, скрепил свое молодое сердце таращанский сокол и, только уезжая, велел своей матери передать от него низкий поклон невесте своей Катерине Федоровне и просить у нее от его лица прощения, что по скорости похода не загостевал и не заслал он ей усатых сватов со сказками и рушниками. Просил, чтоб ждала его, если имеет на то крепкое сердце, до осени, когда думают красные бойцы победоносно окончить свой поход.

Каково же было изумление Кабулы, когда при выезде из Белой Церкви преградили дивчата дорогу эскадрону, разостлали на дороге перед бойцами рушники и, смеясь, запели им свадебные песни, хотя была уже масленица и не время для свадеб. А среди девического насмешливого хоровода стояла и улыбалась Кабуле Екатерина Федоровна. Не стерпело сердце Кабулы, соскочил он с коня, и надел на руку своей любимой золотое колечко, и расцеловал ее жарко при людях, под общее одобрение, и, вскочив в седло, понесся, не оглядываясь назад — не видя уже того, что и остальные бойцы последовали его примеру и перецеловали весь хоровод дивчат белоцерковских.

Догоняли бойцы ускакавшего Кабулу, и хорошо, что догнали вовремя: попал Кабула под обстрел зеленовцев в Сухолесье и потерял пятерых кавалеристов.

Задержался он в пути, подтянул батальон и окружил и Трощу, и Ракитну, и Ольшаницу, долбанул бандитов, — и только с боем добрался до Таращи, где перед тем побывал уже Гребенко со своим кавполком и установил советскую власть.

— А я того Зеленого, как собаку-изменника, отправил до своего батька Боженко, и немало удивляюсь я товарищу Гребенко, что он дал пощаду тому гаду, хоть и держал он, гад, нас в обмане, имея мандат от команд-укра, которого обманул лисьим лаем. Ну, старый партизан Гребенко должен был тот обман обнаружить. Так что ставлю я в упрек славному командиру тую

пощаду и требую от вас, жители таращанцы, не ронять вперед нашего знаменитого имени, бо мы носим с гордостью имя Таращи всем нашим славным полком. И командир нашего полка — тоже ваш знаменитый уроженец Василий Назарович Боженко — может заявиться до вас в гости при походном положении, то чтоб не стыдно было вам глянуть ему в глаза, бо он вместе со всеми вами, таращанцами, проливает кровь за свободу и бьется за весь пролетарский свет неустрашимо.

Вышел на трибуну усатый старик, старый знакомый таращанцев, отец командира Гребенко и старый друг батька Боженко, и сказал в ответ:

— За то спасибо тебе, сынок, что заарканил ты атамана Зеленого, бо он враг советской власти. Но в оправдание сына моего скажу, что не его то ошибка, а имел он строгий приказ при переходе через родные местности не заводить зла с Зеленым. Хоть и кипело его сердце против того замирения с петлюровским подкиданцем, да не имел он права надевать на него аркан. Имел он в Киеве большую руку. Мы гордимся вами, таращанцами, сверх всего гордимся старым другом моим Василием Назаровичем Боженко, которому велю передать от нас, что в обиде мы на него, что не прибыл он до нас самолично; и, может, еще будет близкая стратегия, то пуцдай не забывает свою родину. Ну, только знаю я его думку, что он за родину считает весь бедняцкий класс во всем свете, и в том его правда, бо бедняк бедняка бачить здалека. И если б не подранили меня еще на нейтральной зоне, то вы знаете, сынки, что был бы и я с вами. Да вот охромел, как хромой черт.

Разозлился старик на свою хромоту и стукнул кулаком по столу.

— Вот передай от меня старому в подарок от Таращи люльку, зробленную с корневища того дерева, что стояло когда-то на боженковском дворе.

Нечего было отвечать молодому Кабуле, как только поблагодарить старика и извиниться за обидные упреки его храброму сыну.

Поблагодарив Таращу, сходя с трибуны, Кабула получил от населения каравай и вышитый крупными цветами рушник с надписью: «Знаменитому земляку Василию Назаровичу Боженко от родной Таращи».

Погостевали хлопцы в Тараще три дня и три ночи, и многие из них успели засвататься за дивчат, но пожениться не успели, потому что по обычаю не полагалось жениться в это время — наступил уже великий пост, а дивчата не могли еще тогда нарушать без разрешения отцов старого обычая, хоть и были им милы одинаково и в великий пост их лихие женихи-бойцы.

И, подражая Кабуле, своему славному командиру, подарили бойцы

дивчатам — у кого были — золотые кольца, а у кого их не было — серебряные, купленные за шесть гривен на тарашанском базаре. Ну и дивчата им в ответ подарили свои — грошовые, медные. Да выплели из кос своих и подарили бойцам на банты красные ленты, как благословение любви.

Отгуляли бойцы и отдохнули за три дня и три ночи, как за три года, не страшно было идти им вновь на смертельный поединок с врагом.

«МАМАША»

В самом Вчерайшем, окруженном со всех сторон, были захвачены петлюрозские резервы, не успевшие уйти на Казатин с эшелонами, так как по линии на Казатин батько пустил три бронепоезда.

Батько, чувствуя себя победителем и в особенности довольный сегодняшним неслыханным артиллерийским боем, решил амнистировать пленных и предложил им влиться в Таращанский полк, а кто не захочет, разойтись по домам. Половина пленных влилась в полк, другая половина была отпущена по домам. Это был первый батальон знаменитого Палиева «курень смерти».

— Курень смерти, а не вмиете вмерти, — острил батько. — А ну ж, расстреляйте мне сами своих офицеров.

Петлюровцы не решались.

— Ну, тогда я прикажу вашим офицерам расстрелять вас.

И батько предложил десятку взятых в плен белых офицеров расстрелять сдавшихся своих «стрильцив», пообещав им пощаду. Офицеры согласились. И после этого «стрильци» без рассуждений расстреляли их.

Однако один из офицеров перемаскировался и не был выдан сдавшимися петлюровцами. И в ту же ночь рота «курень смерти», получившая обратно оружие, под предводительством этого офицера напала на штаб-квартиру, решивши расправиться с батьком Боженко. Но батько расквартировался в другом месте из-за приезда жёны, и гранатой, брошенной в штаб, были убиты два писаря и дежуривший ординарец... Таращанцы, поднятые тревогой, уничтожили восставших петлюровцев до одного и дали клятву никогда больше не доверять врагу.

Доставить Зеленого к батьку Кабула поручил комвзвода Коняеву и дал ему целый взвод для этой цели, потому что надо было прогнать того поганого атамана через всю Белоцерковщину, где было не мало сочувствующего ему кулачья, которое могло и отбить пленного предателя.

В Паволочи стояли нежинцы, шедшие резервом вслед таращанцам. Они уверили, что Боженко находится уже в Фастове, а не во Вчерайшем, и Коняев погнал Зеленого на Фастов, решивши, что так ближе. Это и испортило все дело. В Фастове у Коняева отобрал Зеленого

Особый отдел и доставил его в Киев, где Зеленый был амнистирован и, вырвавшись на свободу, обозленный, поднял всю кулацкую банду на Киевщине против советской власти. Долго потом жалел Кабула, что не

зарубил Зеленого на месте или что не послал его к Боженко поездом.

Когда Коняев, по прибытии во Вчерайше, доложил обо всем случившемся батьку, тот, взбешенный, сказал:

— Не було головы у Кабулы — срубить голову тому гаду. Не всякое лыко в строку — и не всякое слово повинно понимать в точности! Может быть, я бы и отсыпал Кабуле плетюгана за неповиновение тому моему приказу, ну, а теперь отсыплю ему втрое за тую нерассудительную шкodu. Врага, застигнутого в бою, рубай на месте, пока не остыло. Сумлеиия не может быть в смертельной борьбе. Закон войны есть суровый закон. Да и не было еще такого сурового закона, какой требуется сейчас в нашей борьбе за революцию, потому что тут два заклятых классовых врага, два мира сошлись на смертный бой. Боюсь я, что в Киеве того дела не смозгуют и опять амнистируют того гада. Уж он один раз взял обманом командукра, склизкая гадюка. И тогда загонит он нам занозу в зад. А потому, Коняев, даю тебе особо строгое взыскание — не допускать тебя до бою целый тыждень. Иди сдавай оружие.

Испорчено было гостевание и настроение у батька, созвавшего своих отважных командиров на совет по поводу вчерашней победы во Вчерайшем и ради приезда его жены, прибывшей из Киева с пирогами и с пушкой, посланной Щорсом.

Еще в то время, когда снабжение армии не было налажено, привыкла хозяйственная жена Боженко, «мамаша», как звали ее полущутя бойцы, к тому, что за Боженко — да и за бойцами — нужно присматривать по-домашнему: и обед сварить, и пуговицу пришить, и белье постирать, и латку налатать.

— Та у нас же полная комендатура теперь, и интендант снабжения, мамаша ты моя дорогая, каптенармусы дуют в усы, и кухни походные есть, как полагается в армии. Квартирку с полным довольством имеем повсюду, хоть бы в самом большущем городе или на кулацком хуторе — все одно, а ты из Киива с горячими пирогами да в самый горячий бой. Га? Этому делу надо поставить точку та ще й запятуу, моя люба. Ото ж, хай будэ послидне таке пирогування, и видъизжай ты до Киива, моя матусенька, вовсе аж до победного конца, бо знаю, що знов будешь мени лазыть под кулэмэтом, тай лаятыся, що мы не снидавши.

Бойцы, сидевшие за столом и уминавшие привезенные из Киева пироги, хохоча, вспоминали, как однажды, во время самого ожесточенного боя, под перекрестным пулеметным огнем, явилась «мамаша» на поле сражения с пирогами, упрекая бойцов, что они забывают поесть как следует — и не выдержат они боя.

Было это под Броварами, в разгар сильнейшего сражения на подступах к Киеву, да еще сверх всего в сильнейшие морозы.

Вот про нее-то и острил Хомиченко, что огневая она, как новая гаубичная батарея, прозванная вчера под Вчерайшим ее именем.

«Мамаша» краснела, поглядывала на «кума» — Хомиченко, которого дразнил батько:

— За что ж таки куму от мамашиного зла попало?

«Кум» смотрел на «мамашу», и она краснела, видимо не решаясь признаться. Но выхода уже не было, и надо было признаваться.

— Да что там, уж раз теперь «кум», так все одно, признаюсь, — сказала смущенная женщина. — Чи то за пушку, чи за пампушку обнял меня Хомиченко, да и поцеловал. Ну ще б то не беда, что поцеловал, — я б на то уж плюнула, — а то еще и подморгнул. Ну, тут я не стерпела и огрела зубатого так, что, видно, и доселе помнит, коли в кумы сватается.

— Ох ты, чертова анархия! — хохотал батько. — Вот так кум! А я и не знал, що ты до шкоды охочый. Ну, раз уже такое дело, шо сам признался, то давай, брат, выпьем за вчерашний бой. Сделал ты тем боем исправление своему нахальству, только в другой раз не попадайся. И для памяти даю тебе дозволение: пуцай зовется твоя батарея «Мамашей».

— «Федосьей Мартыновной» будем звать, — уважительно поправил Хомиченко. При этом Федосья Мартыновна снова покраснела и чокнулась с «кумом» ради примирения.

Оживленные близостью милой женщины, бойцы и сам батько на минуту забыли про свои боевые тяготы.

Забыл батько и про свои огорчения из-за Зеленого. И тут же по просьбе жены велел выпустить Коняева из-под стражи и, вернувши ему оружие, позвать на ужин.

Коняев явился чуть повеселевший, но, отвечая на расспросы, бил кулаками себя по коленям и просил батька дозволить ему немедля вернуться и отбить Зеленого от Особого отдела обратно.

— Что с возу упало, то пропало, — говорил батько. — Да, может, еще дело обернется и в твою пользу, когда я пошлю телеграмму Щорсу, чтоб он сам за того Зеленого «заступился» и довел его до собачьей могилы.

Но Щорса уже не было в Киеве.

В этот самый час он сменял в Фастове начдива Макотоша и принимал дивизию. Батько же при этом назначался бригадным командиром Таращанской бригады, хоть имел лишь один полк.

Предстоял поход на Казатин.

Кабула по приказу батька из Таращи повернул па Сухой Яр и Яновку, в

обход Казатину; а батько пустил по направлению к Казатину броневик Богуша и два импровизированных броневика под командою Милькова и Якубовского. Это были простые платформы с установленными на них шестидюймовками. Колеса пушек до половины засыпались песком, а по бортам закладывался заборчик чуть выше метра и поперек — листы железа, да по бортам платформы торчали в разные стороны пулеметы. А рядом с этой платформой — еще две-три ничем не защищенные платформы со снарядами и пассажирский вагон, тоже безо всякой брони.

Однако действие этих броневиков в иных случаях было грозным, особенно в соединении с настоящим бронепоездом.

Эти три броневика, по выражению Богуша, «подняли страшный скандал» под Казатином.

Собственно, скандал получился с Палием, делавшим заслон для штаба Петлюры, отступившего в Винницу. Побросал Палий в Казатине на площадках шестнадцать тяжелых орудий, успев лишь поснимать с них замки, и сбежал на Винницу со своим растрепанным «куреном смерти». В этом курене все без исключения «стрильци» были добровольцами и наполовину являлись кадровыми офицерами и «политычными диячами», то есть украинскими эсерами и меньшевиками.

Бежал Палий. Однако ж успел во время бегства из Казатина взорвать мосты, депо и водокачку, задержав на несколько дней продвижение красных войск.

Но ему в обход шел с Яновки на Голендры Кабула и с Махновки на Литин шли богунцы. Богунцы подтянулись к Хмельнику, и оба полка получили приказ брать Винницу: Богунскому — с северо-запада, а Таращанскому — с северо-востока.

«ХЛЕБ-СОЛЬ»

Батько, не медля ни минуты, выступил в поход.

Соединившись в Самгородке с подошедшим Кабулой, он пошел с кавалерией на Прилуки, не допуская и мысли о том, чтобы богунцы его обогнали.

Однако конная разведка богунцев в двести сабель точно так же, как боженковская кавалерия в Самгородке в четыреста сабель, оторвалась от пехоты в Стрижавке и пошла по другой стороне дороги тоже в направлении Винницы, на Пятничаны.

Два кавалерийских отряда, не подозревая о движении друг друга, мчались к Виннице, поддерживаемые курсирующими по линии от Голендров тремя бронепоездами; а их пехотные резервы следовали за броневиками, частью на подводах.

В этом быстром марше обоих полков их командиры и бойцы зажигались неукротимым гневом к врагам, сжигавшим родные села, грабившим и убивавшим беззащитных мирных жителей.

Богунский конный загон вел сам комполка Кащеев, прозванный бойцами «Кащеем Бессмертным»; недавно пуля попала ему под сердце и засела в левом легком, но он остался в строю, хоть и кашлял кровью. Эта лихая пуля под сердцем, вернее — это лихое сердце бойца требовало немедленного возмездия.

И Кащеев, догадываясь уже, что где-то по той стороне линии мчатся батько Боженко с Калининым и Кабулой, да наглядевшись на страшные результаты погромов, чинимых врагом, снялся от Пятничан в галоп и пошел на Винницу, невзирая на грязь и распутицу.

— Где-то по той стороне, отец, скачет кавалерия, — сказал, подъезжая к батьку, Кабула, уловивший чутким ухом топот на другой стороне железной дороги.

— А ну, слетай с коня, сынок, та послухай землю: куда идет той топот — от Винницы чи на Винницу.

Кабула соскочил с коня и, прилегши ухом к земле, объявил:

— Подает на Винницу. Видать, то богунцы галичан припужнули, то они и задают лузу.

— Должно, так и есть, — успокоился батько, не представляя себе, что богунцы одной конной разведкой пошли на Винницу.

Однако ж от Вахновки и батько не стерпел и тоже сорвался в галоп.

Сердце его томило какое-то тревожное предчувствие, и не терпелось поскорее взять Винницу да захватить там, может, и самый штаб Петлюры.

А Кашеев, проскочив мост через Згарь со стороны Пятничан, ворвался в город, никак не ожидавший такого налета. Красная артиллерия гремела где-то еще далеко в стороне, по-видимому сражаясь с громадным петлюровским бронепоездом «Гандзей», преградившим путь красным бронепоездам. По улицам спокойно разгуливали офицеры, ухаживая за дамочками. Но вдруг врозь друг от друга бросились дамочки и офицеры, увидев влетевшую в город кавалерию на разномастных конях с красными бантами в гривах. Кавалеристы полоснули на ходу из «люйсов» по офицерне и кинулись прямо на вокзал, зная, что там-то как раз и находится то, что им нужно.

— Петлюра завсегда на колесах. На колесах директория, а под колесами и вся территория, — острили богунцы.

Пути у вокзала были забиты эшелонами, и едва не захватили богунцы самого Паляя, а может, и Петлюру. Под самым носом у них улепетнул на Жмеринку стоявший на парах штабной состав. Остальные эшелоны, давая тревожные гудки, застопорились на станции.

Кавалеристы, подскакав к паровозам, первым: делом выбросили машинистов, выпустили пар и залили топки, а потом уже бросились на бегущих врассыпную недобитков «куренья смерти». Палий приказал грузить в эшелоны все военное снаряжение, но ничего не удалось ему спасти из винницкого своего добра. Даже целый вагон горячих хлебов, еще испускающих пар, захватили богунцы и огромное количество обмундирования и снаряжения.

А Богуш тем временем теснил «Гандзю» к Виннице. Бросились отважные бомбометчики наперерез отступавшему броневнику, чтобы подорвать его и не дать улизнуть дальше.

Бронепоезд был подбит гранатометчиками и захвачен. Кавалеристы выпустили из тюрьмы политзаключенных. Тотчас же образовалось несколько новых рот, захвативших оружие и бросившихся в бой на подмогу богунцам.

.. Богунцы заняли город и объявили его на военном — положении.

Все это произошло за какие-нибудь два часа.

Боженко, мчась от Вахновки к линии железной дороги, где слышал он гул броневоего поединка, заглушавший все остальные шумы, никак не мог представить всего того, что произошло без его помощи и вмешательства в Виннице.

Следя за продвижением бронепоезда все ближе к Виннице, батько

приналег на своего Орлика и, выхватив шашку, с командой «в атаку!» кинулся к вокзалу.

Богунцы завидели мчавшуюся к вокзалу густым строем кавалерию и, догадавшись, что то идет в атаку Боженко, с хохотом выбросили большой белый флаг из простыни.

Старик глазам своим не поверил и, крикнув:

— Зупыняй кони!.. Добродии сдаются! — стал сдерживать своего Орлика, переводя его на рысь.

Таращанцы едва сдержали коней перед самым вокзалом.

А навстречу им с насыпи отделилась делегация, шествующая под белым флагом.

Впереди ее выступал высокий статный человек без шапки, с черными усиками, лихо закрученными вверх: он нес на шитом полотенце огромный, еще дымящийся хлебище.

— От тоби и на! — сказал батько, тяжело дыша от предбоевого волнения. — Злякалысь^[30], собаки! Ну що ж, не хочуть вмерты. Я ж то казав..

Пока батько слезал с коня, Кащеев — это был он — приблизился к нему с хлебом-солью. Как ни старался состроить Кащеев торжественную мину, но не мог сдержать улыбки.

— Зустречаем тебя хлебом-солью, дорогой товарищ Боженко, бо Винныця уже занята нами, — и Кащеев поклонился.

— Как так? Распросукины вы сыны! Так вы надсмешку строите надо мною?

Батькина плеть змейкой завертелась в его руке. Но он одумался, вспомнив про недавнее ранение Кащеева, о котором слышал, и, сдерживая гнев, отвернулся и пошел прочь, не приняв от Кащеева подношения.

Кащеев и сам не рад был, что оскорбил старика. Но как было отворотить свирепую атаку таращанцев? Еще, чего доброго, сгоряча и рубанули бы своих товарищей. Да и как было не воспользоваться случаем похвастать своим превосходством перед превосходнейшим бойцом Боженко?

Батько сидел на шпалах и сердито сопел носом. Кащеев боялся приблизиться к нему. Он положил хлеб на сложенные возле железнодорожного пути груды шпал и, повязавшись, как сват на свадьбе, полотенцем через плечо (куда ж было ему деваться с полотенцем!), сел в отдалении от батька, косясь на него виновато и грустно.

Таращанцы, спешившись, мрачно и безмолвно, — не глядя на богунцев, суетившихся возле добытых петлюровских эшелонов, — важно

проводили разгоряченных коней, отпустив подпруги и покрывши их попонами.

Знали они, что батько ни за что не захочет делить славу с богунцами и ни за что не войдет при таких обстоятельствах в Винницу, а поведет их, несмотря на усталость, немедленно в дальнейшее преследование неприятеля — добывать свою славу.

«Там моя слава, где взяла моя лава!» — говорил Боженко.

На такое неслыханное оскорбление, какое нанес ему сейчас Кащеев, батько не мог не ответить.

— Хлеб-соль поднес, молокосос! Ну, подожди ж ты, я с вами поквитаясь!.. Эх, был бы тут Щорс, поговорил бы с ним Боженко!

И как бы во исполнение сердечного желания батька Щорс и явился.

Он руководил броневым поединком с петлюровским бронепоездом. Взорванный огромный вражеский броневик загромоздил дорогу к Виннице. Щорс вытребовал со станции дрезину и примчался к месту победы. Он знал уже обо всей обстановке, да и сам наблюдал за движением одной и другой кавалерии с броневика. Поэтому, увидев мрачного Боженко и догадываясь, в каком тот находится состоянии, он направился к нему.

— Не сердись, дорогой Василий Назарович, что поспели богунцы на минуту раньше тебя: дорога у них оказалась короче твоей... Добро пожаловать в Винницу!

— Нет, не прощу я этой шутки тому молокососу! кивнул батько ка Кащеева. — И если бы не ты, Николай, тон е подал бы я богунцам руки по век моей жизни! Так разреши ж мне немедля, товарищ начдив, идти на Жмеринку и дай мне эту операцию провести одному, без твоих проклятых молокососов.

Щорс расхохотался и согласился. Он лишь просил батька, подождать по крайней мере, пока пройдут броневики и пропустят резервы — эшелоны с пехотой.

Но батько махнул рукой и сказал:

— Хай нас догоняют. Воны нас догонят. — Вскочил в седло, повернул лихого коня и крикнул своим кавалеристам — За мною! На Жмеринку! Налягай, хлопцы! Жмеринка наша!

Повернули за ним едва остывших коней таращанцы и помчались добывать себе славу.

В Гневани пересек разгневанный батько железнодорожный путь и дал тут инструкций подоспевшим броневикам и пехоте, а сам так и не сходил с коня до самой Жмеринки, взяв ее в ту же ночь внезапным ударом.

Бронепоезд Богуша обрушился на Жмеринку своим смертоносным

огнем «из четырех, как из двенадцати». И с гиком ворвалась в Жмеринку конница.

Трофеи батька в Жмеринке были неисчислимы, и он успокоился лишь теперь и, забыв обиду на богунцев, положил гнев на милость, великодушно задаривая их— сверх взятых ими в Виннице — своими трофеями.

БАТЬКО В ЖМЕРИНКЕ

Батько сидел довольный в большом зале первого класса на жмеринском вокзале и считал трофеи. Вернее, он лишь следил за подсчетом, который вели тут же его писаря по рапортам и донесениям командиров. Но батько обладал поразительной памятью и недюжинными математическими способностями, поражавшими бойцов.

Пока штабисты записывали трофеи, батько уже производил в уме не только подсчет, но и расчет их по частям. И тут же казавшиеся ему излишки отписывал прежде всего богунцам, новгород-северцам и нежинцам, а «остачу» — «центру».

Сегодня батько хотел козырнуть и перед «центром», то есть перед главным украинским командованием, которое пыталось характеризовать его неорганизованным партизаном. Он отпустил ему «сто орудиев» из двухсот взятых. И щедрость его была не удивительна: и ста орудий с избытком хватило бы на родную дивизию. Но улыбающийся, довольный батько совершенно скрывался при этом за дымом раскуренной новой, только что переданной ему Кабулой гребенковской трубки — подарка от города Таращи, трубки, сделанной из корневища родной груши, росшей на его дворе, — той самой груши, под тенью которой некогда висела его колыбель.

Впервые за все время знаменитых и победоноснейших боев он имел такие трофеи. И Киев не дал подобных трофеев. Петлюра, заранее решивший сдать Киев, угнал именно сюда — на Жмеринку (поближе к галицийской границе) — все военные запасы. И батько нагнал-таки их и отобрал назад у вора украденное народное имущество.

И прикидывал батько в уме: какую же можно вооружить армию этим добытым вооружением? Курил и раздумывал так батько и ожидал боевого свидания с последним украинским бесом — Петлюрой — мелким бесом, который в конце концов вылетел-таки в трубу вместе со старомодной вислогубой, но еще кокетничающей последней украинской ведьмой «директорией».

— А що ты там пишешь, грамота, бодай тобі сказаться! А ще вчитель! — говорил укоряюще батько бывшему учителю, ныне писарю Хохуде. — Де то ты гав ловыш?^[31] Двисти одна орудия, а не сто девяносто пять. А куды ж то шисьть у тебя запропало? Хочь я и малограмотный, а когда дило доходить до трофея — там ли пушки или винтовки, сбруя или

число конского состава, — то я й до тыщи посчитаю без всякого тоби бумагомарания.

На поверку оказалось-таки, что батько прав. Хохуда еще раз сложил цифры, и вышло по-батькиному.

— А не я тоби говорив? — торжествовал батько двойную уже победу: сверх военной еще и победу математической грамотности. А для батька эта грамотность была не меньшей гордостью, чем знаменитая военная победа.

Сегодня батько был действительно именинник. А главное — можно сказать богунцам, обскакавшим его утром под Винницей:

«Великодушно извиняюся, товарищ Кашеев, хочь ты и так званный «Бессмертный», и геройский хлопец, с пулею пид сердцем, Богуния ж — не кто-нибудь! Свой брат — герой!.. Ну, все-таки великодушно извиняюсь за гсстынец — хоть самый малый от моей скудости, — сверх ваших достатков преподношу вам сорок орудиев».

Батько размечтался, даже трубка его погасла,

— Ну, пышы, товарищ Хохуда:

«Начдиву Щорсу. Для поддержания боеспособности знаменитого Богунского полка дарую от щирого сердца усега Таращанского полка с добытой у последнем бою трофеи сорок орудиев и двести пулеметов. С которых: орудий гаубичной системы — двенадцать, легких полевых— восемнадцать и десять разного мелкого калибра, со входящими сюды бомбометами, которые для кавалерии особливо способнее. А в случае недостатка снарядов по вашему первому требованию могу отгрузить в любом направлении вашего боевого действия двадцать и более вагонов снарядов. А пока посылаю десять вагонов на всякий ближчий предмет».

Вокруг стола, за которым восседал батько, собрались бойцы и командиры и, слушая батькины слова, гордо усмехались и перемигивались друг с другом: мол, погляди ты на батька! А еще малограмотным прикидывается!

— Кончив? А ну дай, я подпишусь. Все тут правильно написано, как я говорил?

— Все правильно, — сказал смущенный Хохуда.

— А ну, почитай.

Хохуда прочитал послание Щорсу.

— Ну так, правильно! — подтвердил батько, довольный вторичным оглашением своего послания. — Л теперь прибавь у конце: «С коммунистическим приветом». И давай, я свою подпись поставлю. — И батько Боженко вывел старательно свою подпись.

— А теперь — як там у нас калавуры та заставы? Конную разведку в

сторону Бара и на Немиров заслал, Кабула?

— Здесь я, отец.

— Ото ж тебе и идти сегодня без отдыха на Немиров: за той промах по Зеленому — мое взыскание. Ще ты пид хороший час пидскочив, а то б я тоби нагая всыпав.

— Слухаю, батько! Абы вы видпочывали, а в мене очи невсыпучи и плечи невмыпучи. Завтра побачымось.

Батько, улыбаясь, протянул своему любимцу две сигары из большого портсигара с серебряной бляшкой, на которой была надпись: «Н. Щорс». Этот серебряный портсигар подарил ему Щорс в Киеве «на добрую память». И угощение из этого портсигара являлось знаком особого благоволения. Кабула сегодня немало постарался и проявил себя в бою, чтобы заслужить батькину милость и загладить свою ошибку с Зеленым.

Боженко тут же на вокзале поставил раскладушку, и Филька навалил на нее пять-шесть бурок. Батько, поддерживаемый Филей, на сомлевших от сегодняшнего более чем стоверстного конного похода ногах добрался, прихрамывая, до постели и тотчас же уснул.

Батько храпел так, что казалось, играют по меньшей мере два медных непродутых инструмента. Он заслужил, как всегда, свой богатырский сон, — он сегодня геройски поработал на славу освобождаемой от панов и пидпанков родины.

А Щорс хохотал, получивши назавтра в Виннице от батька такой щедрый подарок. Он знал, что подчеркивается такой преувеличенной щедростью и вежливостью. Он позвал Кащеева и сказал:

— Папаша хочет раздавить нас своими сорока ору-днями. Ну что ж, ответам ему тем же: поздравим его сегодня бригадным, потому что и не успел я ему сказать о его назначении вчера, так он был разгорячен твоим преподношением. Хорошей же «солью» отплатил Боженко за нашу хлеб-соль. Спасибо!.. И как раз по приказу комгруппы надо ему завтра отбывать на Бердичев, где в его подчинение войдет Десятый полк, у которого там неустойка вышла. У батька он устоит и моментально превратится в боеспособный. Особливо при теперешнем батькином вооружении: он, можно сказать, экипировался до победного конца. Ты знаешь, сколько он дарит одних орудий командукру? Сто, да еще одно. Это «одно» прибавлено с ехидцей. Натe, мол, вам! А о том, что с нами поделился по-братски половиной, — о том молчок. И тут не выдал. Молодец, батько!

— Да й я ж его люблю без границы, старого черта, — отозвался Кащеев, — хоть вчера и вышло у меня с ним это недоразумение, аж сердце мое чуть не разбилось об тую проклятую пулю.

— Да он на тебя уж больше не сердится: победители всегда меняют гнев на милость. И батько теперь, поверь мне, тебя полюбит больше всех на свете именно потому, что ты дал ему случай отличиться. Да и как же герою не уважать героя, разве ты сам по себе этого не чувствуешь?

Кащеев вздохнул.

— Гора с плеч, дышать стало легче, а то мучился бы долго, что невзначай обидел старика.

КОННАЯ ГРУППА

В этот момент, согласно пункту первому приказа командукра № 5, у Бара скопьялась сводная группа из четырех кавалерийских полков, направлявшихся разными путями на участок, угол которого составляли Жмеринка — Проскуров с юга и Шепеговка — Проскуров с запада. Движение же конницы должно было быть направлено с юго-востока на северо-запад.

Первым к намеченному для развития кавалерийского удара участку подошел Гребенко, шедший на пересечение железной дороги в направлении Литин — Бар.

Кабула, посланный Боженко ночью на Немиров для разведки, столкнулся с конницей Гребенко, имевшей теперь около двух тысяч сабель, кроме артиллерии и пехоты.

— Завертай назад, Кабула! — закричал Гребенко. — Що ты, хлопче, ходыш по моим следочкам, славу мою переймаеш?

— А у нас ее своей хватает, — отвечал, смеясь, Кабула.

— Ну, как твой батько, такой же злющий? — спрашивал Гребенко. — Слыхал я, слыхал от своего старика твои мне упреки за Зеленого. А и сам небось его прочхал, Павлусь? Только разозлил пса. Эх, если б не приказ, повернул бы я своих на того змея! Ну, да не уйдет он от наших с тобой стариков. Они ему еще ту петлю намылят, что ты стратил.

И Кабула, смущенный упреком Гребенко, выругался так, что конь под ним дрогнул, но не повернул разведку, как предлагал ему Гребенко, а пошел на Немиров.

— Вишь, какой ты невероятный! — упрекнул его Гребенко. — Говорю ж тебе: не ходи по моим следам, не трать попусту время, а то тебя за это батько еще раз плетюгами угостит.

— Ты, гляди, на него не наскочи, — ответил Кабула, — он на тебя еще до сих пор серчает, как ты своих на Десне влитку^[32] бросил да на Москву пятки смазал, — кольнул в отместку Кабула на прощанье, напомнив тот несчастный случай, когда Гребенко один раз в жизни впал неожиданно в панику и ни с того ни с сего метнулся в Москву.

— Что ж ты меня, как змей злой, жалишь? Я ж пошутковал с тобой, Павло. А ты мое сердце без дела тревожил!

Гребенко ударил коня плетью и, не простившись с Кабулой, помчался вперед, чтобы смыть в боях то единственное пятно, которое лежало на его

боевой славе и совести. Кабула пожалел, что уязвил товарища, но ему тоже напоминание о Зеленом стало поперек горла.

— Ух, попадись ты мне, змей Зеленый! Я тебя покрошил бы на капустняк, трипольская сука!

И вдруг долетело до него:

— А ну, привитай батька!

То Гребенко, как бы издали почувствовав раскаяние обидевшего его товарища, кричал ему вслед, остановив коня и став на стремянах. И ясно слышен был его сильный голос в весенней лунной ночи, как будто опомнилась сама ночь и спросонок закричала заветное имя.

— Добре!.. — отвечал Кабула. И означало это «добре»: «И ты не серчай на меня, дорогой товарищ, что я тебя обидел».

Но Гребенко все ж злой пошел на Литин. Хоть и простил он товарищу его ключее слово, но хотелось ему еще раз показать, кто он есть на самом деле и на какие геройские подвиги он способен.

У Литина стоял, нацелясь на Винницу с фланга, черноморский «кош»^[33] Петлюры, против которого выставлена Щорсом застава. Щорс намеревался окружить Петлюру через Медвежье Ушко. Дошел Гребенко до Гнева-ни, и напомнило ему еще раз название этой станции, что шумит в его груди обида на Кабулу. И, дав небольшой роздых коням в Медвежьем Ушке и разведав от богунцев о расположении «коша» и его артиллерии, понесся Гребенко в обход Литину, отрезал артиллерию неприятеля, ударил неожиданно по противнику, окружил его и взял в плен наполовину. Другая половина черноморского «коша» удрала на Летичев, повредила мост через Згарь и не дала коннице возможности из-за начавшегося половодья продолжать преследование.

Но со стороны Бердичева уже шел через Хмельник на слияние с конной группой Первый червоноказачий полк. Под его-то сабли и попала бежавшая в панике от гребенковских сабель вторая половина черноморского «коша» со всем командным составом. Растерялись от неожиданности, поднимали руки вверх, моля о пощаде, не только рядовые стрельцы, но и их главари.

Червоные казаки дорвались до Деражни, где при помощи повстанцев разгромили проскуровский заслон Петлюры. Открывалась соблазнительная перспектива — наступать на Проскуров. Но в это время Петлюра ударил по незащищенному коростенскому направлению и взял Житомир и Бердичев, создав новую серьезную угрозу Киеву по всем трем направлениям.

По требованию Щорса конница была повернута на Старо-Константинов — Изяславль — Шепетовку, с расчетом отрезать противнику

путь отступления от Бердичова.

В то время как тарашанцы и богунцы, повернутые первые на Бердичев, вторые на Коростень, били армию Петлюры в лоб, надо было развивать стремительную подвижность кавалерии — на ней лежала ответственная задача обхода и окружения неприятеля. Это окружение должно было создаваться спаянной, сбитой в одно целое конной массой. Задача эта была возложена на уполномоченного командукра по формированию кавгруппы Крючковского, не сумевшего, однако, справиться с ней.

Пятый полк, переброшенный со стороны Звенигородки через Христиновку, попал на житомирское направление. Назначенный для проталкивания кавалерии руководитель инспекционной группы Барабаш все еще не мог выехать на место развиваемого движения, задерживаясь на ваниярском направлении, где он отвлекался ненужными переговорами с провокационным «Ваниярским ревкомом». И только Первый полк Гребенко да червонные казаки, то есть два кавалерийских полка, вместо четырех, шли по тылам противника в неожиданном развороте на Старо-Константинов, вместо Проскурова.

В этот незащищенный угол между Жмеринкой и Деражней, воспользовавшись отходом красной конницы вправо, и проскочили окружаемые части Петлюры в Галицию, где преследовать их, отвлекаясь от основной задачи, было теперь рискованно.

Мешали движению конницы начавшиеся мартовская распутица и половодье. Но не столько распутица и половодье, сколько вредительская «распутица» в штабе конной группы, вскрытая уже позже.

В то же время на коростенском направлении изменил и ударил в спину провокатор — «петлюровский подкиданец», атаманчик Струк.

Белополяки, пользуясь перемирием с галичанами подо Львовом, перебросили свои, стоявшие против галичан, дивизии к Минску, и запарм обратился с призывом к командукру:

«Ввиду продолжающегося нажима против района Коростень со стороны Новоград-Волынска прошу оказать помощь западной армии нажимом наших частей от Бердичева на Новоград-Волынь».

Надо было создавать единство командования. Для руководства этой группой назначался Богенгард.

«Рвите мосты в тылу противника, не дайте подойти к нему подкреплениям», — приказывал командукр. И позже разъяснял: «Противник попадет в западню, если успеете закрепиться на реке Тетерева». Богенгард понимал это сам и ударил петлюровцев так, что они

бежали от Тетерева без памяти.

А в Киеве началась паника. Под Бердичевом шестой день шел бой, и город переходил из рук в руки. Туда спешно перебрасывались таращанцы, снимаясь со Жмеринки и гоня впереди себя свои эшелоны с трофеями на Киев. Эшелоны задерживались впереди и задерживали Бопска.

Батько Боженко вынужден был энергично вмешаться и только путем суровой расправы с вредительской комендатурой, создавшей непроходимую пробку на железнодорожных узлах, добился наконец продвижения эшелонов к Бердичеву и Киеву.

Щорсу было поручено командовать бердичевской группой, оставив Винницу на Нежинский полк. Щорс принял команду, перебросив, согласно приказу, богунцев под команду Богенгарда на коростенское направление.

Началась невероятная неразбериха с продвижением и перегруппированием частей. Командование растерялось. Только что прибывший член Реввоенсовета выехал на фронт сам и, ознакомившись с положением, по просьбе Щорса потребовал через штаб присылки броневиков с Южного фронта и выехал к топчущейся на месте (у Бара) кавалерии.

Наконец конная группа, на целую неделю задержавшаяся из-за распутицы (червонные казаки— в Деражне, я Гребенко — в Баре), вышла на Старо-Константинов. Но дорога была невозможна. Идти в рейд без артиллерии не рекомендовалось, а между тем колеса артиллерии увязали в грязи по колодки. Червонные казаки, завязши с артиллерией в болоте между Меджибожем и Пилявой, сняли бурки, шинели и полушубки, бросили все это в грязь под колеса батареи и вывезли ее из болота. По-пошли к Старо-Константинову и заночевали, дожидаясь подхода гребенковского Первого полка, чтобы вместе атаковать Старо-Константинов. Но Гребенко отставал на целый переход, тоже завязнув в грязи с артиллерией.

Червонные казаки, не дождавшись его подхода, сами атаковали на рассвете Старо-Константинов.

Без единого артиллерийского выстрела, рощей обойдя Григоровку, неожиданно среди бела дня ворвались они в город и взяли петлюровцев в рубку. Кроме побитых в бою, было взято в плен около пятидесяти одних офицеров.

Назавтра от Проскурова показался неприятель. Надо было во что бы то ни стало держаться до подхода Первого кавалерийского полка. Червонные казаки вышли в поле, чтобы принять сражение здесь.

Разглядев с деревенской колокольни в селе Воронковах расположение противника, они правильно рассчитали удар.

С колокольни было видно, что противник, не доходя до занятой разведкой червонцев переправы через Случь, остановился у озера. Численность его была до трех тысяч штыков — исключительно пехота. Она медленно разворачивалась в поле у озера.

Горной артиллерии было приказано выехать в упор к линии неприятеля и, снявшись с передков, прямо по видимой мишени открыть ураганный огонь. Конные сотни в это время разделились, зашли с флангов и с тыла и взяли петлюровцев в сабли, окружив их с трех сторон и тесня к подтаявшему озеру.

Окруженный противник сдался целиком. То была Херсонская дивизия доктора Луценко, личного друга Петлюры. Сам Луценко был зарублен в бою полусотником Огерманом.

Казна дивизии, артиллерия и пулеметы оказались в руках победителей. С их стороны в этом бою выбыло из строя до пятидесяти человек, а петлюровцев — свыше пятисот, да тысяча семьсот было взято в плен.

Некоторые сотни червонных казаков в этом бою были вооружены французскими рапирами образца начала XVII века, взятыми в одном из замков. Но и этими рапирами казаки действовали безупречно. К концу боя подоспел и Гребенко, довершивший разгром вражеской дивизии.

А на завтра с рассветом вся сводная бригада целиком выступила на Шепетовку, так как проскуровский удар неприятеля был отбит. Однако предусмотрительные рейдисты решили идти не прямо на Шепетовку по железнодорожной линии, где противник, узнавший о разгроме дивизии Луценко, должен был поспешить их встретить, а на Изяславль — и оттуда действовать западнее Шепетовки, то есть неожиданно с тылу, как полагается в рейде.

«ЗАВАРУШКА»

В Бердичеве творилось нечто невообразимое. Началось все с того, что некоторые части, недостаточно укомплектованные, как, например, Шестой полк, остались без обуви.

Вообще снабжение, и в особенности обувью, не было налажено еще с зимы, и взявший на себя лично поставку обуви для армии Пятаков так и не выполнил своего обещания. И лишь в тот момент, когда сам Бердичев оказался под угрозой нацеленного через него на Киев удара Петлюры, решено было шить обувь.

Шестой полк снялся с позиций у Пятигорки и пришел в Бердичев, требуя обуви и пищи. В этот же момент на житомирском направлении разбежался почти весь Двадцать первый полк по тем же мотивам и — сверх того — ввиду недостатка патронов. Между тем у Первой дивизии, например, эшелоны ломались от огнеприпасов. Но их не удавалось перебросить из-за загруженности путей, движение по которым плохо регулировалось соответствующими организациями, спорившими между собой о праве регулировать движение.

Расстрелом вредителей на бердичевском узле батько Боженко помог освобождению путей и улучшению дальнейшего движения. Он посадил здесь временно своего коменданта.

Ввиду отхода Двадцать первого полка от Житомира в направлении Бердичева Девятый полк вынужден был тоже отойти на линию Кодня — Татаринковка. Таким образом, Особая сводная дивизия расползлась, оставив свои позиции. Да еще подлил масла в огонь подошедший Пятый кавалерийский полк, устроивший погромы в Бердичеве и после этого забравшийся в эшелон, требуя отправки его на Житомир, в то время как остальные полки оставляли Житомир и надо было защищать по крайней мере бердичевский участок. Растерявшийся комгруппы Бабин не знал, как же ему поступить, какой полк разоружить и какой вооружить. Бабин телеграфировал Антонову-Овсеенко о создавшемся положении, о том, что противник подходит к Бердичеву, и просил о высылке оружия, бронепоездов и соответственных указаний. Командукр утешал его: «Гром» пошел, а «Грозный» скоро будет», — и рекомендовал держать связь с соседями справа, между тем как надеяться можно было лишь на соседей слева.

Бабин высказал свои соображения командукру, и тот решил покончить

с этим спором, поручив командование бердичевской группой Щорсу, отняв у него притом богунцев для ликвидации коростенского прорыва.

Щорс немедленно бросил батальон таращанцев с батьком Боженко на Бердичев, приказав остальным двум батальонам, выдвинувшимся уже на двадцать пять километров южнее Жмеринки, в направлении Каменец-Подольска, оставить свои позиции и также выехать спешно к Бердичеву.

Батько Боженко мчался на своем самодельном бронепоезде, погрузив в прицепные вагоны один батальон под командой своего комбата Калинина и взяв с собой разведывательный кавдивизион и артдивизион в количестве двадцати восьми орудий.

Повернув от Казатина в сторону Бердичева, Боженко примчался к назначенному месту и вступил в бой немедля, сгружая со своих площадок орудия под артиллерийским огнем со стороны Пятки.

— Я тебе намажу пятки, гад! — грозил батько, узнавши, откуда бьет неприятель. — В бой, ребята! Це ж тут паникуют разные неодягненные гаврушки. А що нам тая грязюка, когда на нас чоботы дегтем вымазаны, да еще с пидковами!

И, к удивлению бегущих из боя «сводников», стреляющих куда ни попало и даже в таращанцев, батькины войска прямо по мокрой пахоте, не боясь завязнуть, немедленно пошли в атаку. Да мало того, что пошла пехота, — вслед за ней покатила и легкая артиллерия, увязая в грязи, но каким-то чудом двигаясь вперед.

Стыдно стало «сводникам», — так прозвал мимоходом батько паникующую Сводную дивизию. И Девятый полк, более сильный духом, чем остальные, и только что обмундированный, повернул назад и пошел вслед за таращанским боевым батальоном, сливаясь с ним и подчиняясь его команде. За это и усыновил его после бердичевских боев батько, взявши временно в свою бригаду.

В первый же этот день противник не только «намазал пятки», как пророчил ему Боженко, то есть не только покинул деревню Пятки, но, увязая по колено в весенней грязи, бежал в панике на Чуднов. Скраглевка тоже была занята таращанским батальоном в этот день.

Батько сделал передышку в ожидании Щорса с бронепоездами и подхода остальных двух таращанских батальонов с Кабулой.

Однако ночь оказалась беспокойной. В Десятом полку поднялась заварушка.

К десяти часам вечера на станцию Бердичев прибыл на бронепоезде «Грозный» Щорс.

Комбриг Сводной дивизии Шкуть докладывал ему о положении на

боевом участке. Он сообщил об успешных действиях Боженко, но в конце вынужден был прибавить, что в Десятом полку неблагополучно. Полк погрузился в эшелоны и требует отправления его на Казатин, ввиду того что он, мол, имеет сведения, что сменяется на этом участке таращанцами, что, кроме того, люди босы, голы, не одеты, два месяца да получали жалованья...

В это время появился с рапортами батько и взволнованно и радостно обнял Щорса.

— А спать, Василий Назарович, нам пока не придется. Надо разоружать Десятый полк. Кто командир? — спросил Щорс у комбрига.

— Курский Александр, — отвечал комбриг Сводной Шкуть. — Бывший кадровый офицер дарской армии, отчаянный пьяница и наркоман.

— Что ж, пойдем с ним разговаривать». Василий Назарович, прикажи оцепить станцию и выставить пулеметы против эшелона Десятого полка. Тут все дело, видно, в этой сволочи.

— Да нет, он вчера в наступление все же ходил, — попытался было его защитить комбриг Сводной.

— А результаты? — спросил на ходу Щорс.

— Отступил обратно.

— Герои не отступают. Вы тут девять дней гармонь растягиваете. Наступаете и отступаете, а надо наступать не отступая. Батько Боженко отступил от Скраглевки, взятой сегодня? Нет, значит, взял...

Между тем они уже подошли к бунтующему эшелону, Щорс услышал трескучую хулиганскую ругань. То ругался сам комполка Курский.

Щорс шел, по обыкновению, с ручным пулеметом под мышкой и, подойдя вплотную к вагону, откуда слышалась ругань, сказал:

— Кто тут Александр Курский — выходи!

— Это я Курский! — вывалился, шатаясь, из вагона пьяный комполка, а за ним прыгнули и его молодцы — телохранители..

— А вы тоже Курские? — спросил, их Щорс.

— Да, мы тоже, — отвечали они. — Отойди! Чего ты чепляешься! — И они попытались столкнуть Щорса.

Но толчок не сдвинул Щорса с места.

— Стоять смирно! — гаркнул батько и поднял руку с плетью.

В тот же момент Курский выхватил револьвер и навел его на Щорса в упор, но мгновенный удар батьковой плети выбил револьвер из его руки. Курского схватили таращанцы. В темноте вокруг эшелона внезапно выросли густые ряды окружающих эшелон таращанцев.

— Не буду!.. — упал на колени перед Щорсом Курский, а вслед за ним

упали на колени его телохранители.

— Вызвать весь полк из вагонов! Выходи наружу! — скомандовал Щорс.

Из вагонов посыпались красноармейцы.

— Кто тут поддерживает этого мерзавца? — спросил Щорс, показывая на Курского, ползающего на коленях. — Имеются претензии? В чем ваши претензии?

— Жалованья не получали... Обуви нет... — слышались голоса.

— Выходи, покажи ноги, ты, что кричишь, — вытащил Щорс из рядов кричащего верзилу. — А на тебе что — сапоги или лапти?

— Сапоги, — смутился верзила.

— А ну выворачивай карманы!

Из вывернутых карманов покатались золотые монеты, брошки, серьги.

— Откуда это? Кто тебе это жалованье платил?

— Жидов обирали.

— Значит, на бандитском жалованье состоишь? Обыскать всех и арестовать грабителей.

В это время Курский заревел:

— Пощадите меня!.. Век не буду! Сам расстреляю всех бандитов! Водка меня довела. Я честно служил советской власти.

— Не больно честно, — отвечал Щорс. — Во время наступления врага бежать с участка, без боя? Разлагать и уводить полк — это честно? А кто обстрелял сегодня прибывший из Казатина эшелон таращанцев? Думаешь, я не знаю? Убийце и предателю — собачья смерть! Сдавай оружие! Заберите его. И всю его банду — под суд трибунала. Полк завтра же выступит на позицию, а пока всех разоружить. Я команду этой группой. Дезертиров и предателей беспощадно расстреляю. Слышите вы это?

Построенный у вагонов полк молчал. Щорс обошел его по строю и сказал:

— Не поддавайтесь провокации и панике, товарищи! Вы сами должны были арестовать такого командира и всю его банду. Завтра в бою я проверю, честный ли вы народ. И если кто-нибудь из вас побежит из боя, расстреляю. Отдаю вас под команду командира таращанской бригады товарища Боженко. Распределить по ротам, с рассветом — на позицию.

— Я думаю, Василий Назарович, «стратегию» дадим простую.

— А конечно, — отвечал батько, присаживаясь к карте, положенной Щорсом на стол в комендантской комнате вокзала. Батько достал лупу, которою он «вылавливал» врага на карте.

Кроме них, присутствовал только комбриг Шкуть..

— Вот тебе крест, — провел Щорс две перекрещивающиеся линии на карте от Житомира до Хмельника и от Шепетовки до Казатина. — «Гром» пойдет по этой, а «Грозный» поперек. Таким образом, все четыре угла у Бердичева будут под моим артиллерийским наблюдением. Я сам буду руководить броневиками. Главный удар нацелим на Скраглевку. Может быть, тебе и придется отступить завтра, не в этом дело. Но «он» тут обязательно скопится, а ты знаешь, что без уничтожения врага нет победы. Заманивай его к этому месту всеми имеющимися у тебя средствами и бей его артиллерией, не щадя, я тоже тебе помогу. А завтра, когда подойдет

Кабула, мы врага окружим и не выпустим, пока не уничтожим. Имей в виду, что здесь у него сосредоточена армия. Тактикой Петлюры всегда было — избегать фронтального удара. Он и сейчас будет искать этого выхода, если столкнется с нами. Поэтому его надо бить, пока он сгустился в этом месте.

Батько только гмыкнул и, достав трубочку, задымил, успокоенно поглядывая на Щорса: раз он тут — все в порядке.

БОИ ПОД БЕРДИЧЕВОМ

Чуть свет начался бой.

Таращанцам не привыкать было к бою: знали они уже своего врага, изучили его повадки и ввели свою боевую тактику. Стремительные и легкие победы последнего времени внушили им представление о своей непобедимости. Да и батько Боженко, в последнее время оторвавшийся от кавалерии и выдвинувшийся с пехотой вперед, находился сейчас здесь. Кавалерия оставалась с Кабулой. Таращанцы были переброшены лишь с артиллерией, увеличившейся после Жмеринки, да с приданной ей конной разведкой — сабель около ста.

Одно только несколько смущало таращанцев: каждой из трех рот батальона было придано по батальону вчера разоруженного Десятого полка. Таращанские роты по численности равны были этим батальонам. Вчера таращанцы разоружали и обыскивали этих людей, а утром вернули им оружие. Бойцы еще косились друг на друга.

Впереди занимал Скраглевку, взятую вчера таращанцами, сменивший их резервный Девятый полк, а таращанцы были отведены на ночь в Бердичев для разоружения Десятого полка. Жители Бердичева выбрались из своих квартир за время девятидневных боев, шедших с переменным успехом. Бердичев брался и оставлялся Десятым полком уже три раза за эти девять дней. Петлюровцы творили безобразия и бесчинства и всякий раз при взятии города вырезали часть населения. Таращанцы с нетерпением ждали боя, освободительного, решительного, смертоносного боя.

Они шли, косясь подозрительно на незнакомцев соседей, и шутили, стараясь загладить вчерашнюю неприязнь ввиду предстоящего боя»

Чего ж это вы того своего шпингалета офицеришку сами не пристрелили? Красноармейцы называются!..

— Да он же храбрюга, пес!

— Храбрюга! А на коленки чего хлопнулся? Небось как стрелять Щорса — так нашел храбрость, а как самому, суке, помирать, так сразу на коленки! Слабо стало? Ты нашему батьку не попадайся, он у нас ужас какой сурьезный: прямо всякую контру до ногтя срезает. Вы еще не знаете — что есть храбрость и что есть красный командир. Попробуй ты нашего батька або Щорса на колени поставить.

— Ха-ха-ха!.. Кого — батька? Або Щорса? — отозвались другие, и

хохот пошел по всей цепи — так смешно показалось бойцам представить себе своих отважных командиров поставленными на колени.

— Настоящий боец не может быть трусом, и смерть его не касается. Бо не для своей шкуры ведется эта наша борьба — вот как надо понимать!.. Вы, должно быть, смобилизованные, а мы все добровольцы — от щирого сердца за свободу и за советскую власть. Понятно тебе, что есть доброволец?

— Ты, должно б, дома сидел, аж пока тебя за уши, как корову, не повели, вот ты и думаешь, что тебя на убой тащат, оттого ты и трясешься, быдто заяц или там еще какая тварюка, — философствовал, идя рядом с группой «сводников», семнадцатилетний Иван Олейник.

— Вот, скажем, нас семеро братьев — я сам меньшей есть, — и все в Красную Армию до одного подались. Комусь-нибудь житуха будет. Ну, к примеру, и все мы братья — красноармейцы, значит...

— Да брось ты им толковать! — перебил его другой. — Они сами понимают. И кто ж того не понимает, за что воюем? За свободу — и точка! И все тут понятно! Вы вот, глядите, «сводники», не побегите назад, как «петлюра» невдогадку пришпарит, бо мы вас тут же шилом до земли пришьем, ще и молотком пристукнем!

— Знаете, с кем сбратались? Все одно что с чертом. Вместе, значит, кровь проливать будем. Хоть землю грызть придется, будешь говорить: «Борщ!» Повоюете с нами вместях денька три — гренадерами будете. Нам уже знамя Красного Ордена позавчерась прислали аж от самого Ленина — слышал? Мы того знамени не подмочим! — говорил Василь Бабич, взводный Третьей роты.

— А ну, ребята, швидче!.. Вон уже и пан Петлюра свою мошкарню сыплет!

Видно было, как вдоль покрытой еще кое-где снегом поляны затемнели точки, все гуще и гуще. Шла в наступление пехота противника.

— Густо-густо садит пан капусту! — кричали бойцы, завидев цепи, идущие на них. — Сейчас почнем!

И в ту же минуту как будто разломилось пополам небо... Разом ударила из всех орудий таращанская артиллерия.

Такого бешеного артиллерийского огня, какой обычно открывали таращанцы, не помнили даже многие солдаты империалистической войны, говорившие, что тогда стреляли, мол, с передышкой и в редких сражениях давался ураганный огонь.

А Боженко применял ураганный огонь как систему, как непременною прелюдию боя, зная, насколько этот огонь согревает и поддерживает сердце

бойца и насколько одновременно потрясает он и приводит в замешательство противника. Артиллерия вдруг замолкла, давая пехоте делать свое дело. Но пехота знала уже, что артиллерия появится опять для развязки или довершения боя в нужном месте.

«Сводники» сразу ожили и повеселели, услышав артиллерийскую прелюдию.

— Вот это да! — кричали они. — Это поддержка знатная!

— Это еще что! Еще не то увидишь! — гордо отвечали таращанцы. — У нас, брат, артиллерия такие номера выламывает, что ты из пулемета того не сыграешь.

— Да у нас же сорок орудиев при себе, при одном батальоне, слышал? У вас и пулеметов-то столько в целом полку не было.

«Сводники» только свистнули и смелее пошли в цепи с таращанцами.

— Вот это называется Красная Армия! А мы разве ж в такой служили!

— У беляка вы были под командой, — то он вас, стерва, в чернях и держал... Мол, мужицкое мясо — что волчье, что собачье. А наши командиры до нас способные: все думка, как бойцу лучше...

— Ложись! — раздалась вдруг команда.

Противник, определив движение красных цепей, открыл огонь. Но огонь этот не был похож на ту бурную музыку громов, какую, словно великолепный концерт, давали таращанцы.

Артиллерия Петлюры била медленно, размеренно, методично, с видимым расчетом на измор.

— Ух, и мучит, гад, будто нитку сучит! — ругались бойцы, лежа и поживаясь от земляной сырости.

— Ну, сейчас батько ее сымет, дай только пощупает..

— А ну, подскажи там, ребята, Калинин, — снять их артиллерию к чертовой матери. Пуццай поручат отряду гранатометчиков.

Батько, находясь при артиллерии, соображал. Его тоже раздражала размеренная и нудная неприятельская стрельба по пехотным цепям, задержавшая их движение. Было очевидно, что противник обнаружил пехоту и, вероятно, удерживает цепи здесь, перестраиваясь во фланг.

Можно было, конечно, поднять цепи и бросить их немедленно в атаку при поддержке нового ураганного огня. Но не было смысла сейчас делать это, не установив точного маневра противника и не зная ни его численности, ни расположения.

В это время Калинин доложили о предложении Бабича бросить в разведку гранатометчиков. Калинин нашел это предложение

целесообразным.

Как это ни странно, но за Дрыгом вызвалось в подрывную разведку и несколько «сводников». Дрыг оглядел их, подмигнул одобряюще и повел за собою.

Батько, которому тоже не терпелось, бросил свою кавалерийскую разведку — нащупать и снять неприятельскую артиллерию.

А на бердичевском вокзале сгружался уже подоспевший из Винницы Кабула с конницей, спеша на помощь батьку.

Ему сообщили на станции, что Щорс только что выехал на броневике «Грозный» в житомирском направлении. Он приказал в случае прибытия двух тарашанских батальонов Кабулы бросить их немедленно в житомирском направлении в помощь Девятому полку Сводной дивизии. А кавалерию отдать в распоряжение Боженко. Так что, пока батько ждал результатов разведки, к нему на рысях подошли все его четыре эскадрона.

Теперь батько знал, как разрешить «стратегию». Только бы вернулась разведка — и батько поведет кавалерию в обход. Но пора поднимать на ноги пехоту.

И батько передал Калинину приказ и снова ударил изо всех двадцати восьми орудий, взяв под перекрестный огонь весь «крест», нарисованный вчера Щорсом на карте. Батько помнил эту простую формулу боя, намеченную Щорсом.

Но только что поднялась пехота, оцетинившись штыками, как со стороны Озадовки показались густые цепи противника.

Они расходились вправо и влево, вытягиваясь в длинную цепь. А из-за леса появилась новая колонна и, дрогнув, расплзлась серой лентой против фронта. Батько, глядя в бинокль, мигом определил численность выдвинутых цепей. Неприятель наступал тремя большими полками.

Часть нашей цепи вдруг остановилась — наверное, это сдрейфили «сводники». Видно было, как Калинин закрутился на коне и, подняв нагайку, понесся наперерез бегущим.

Батько махнул рукой, и снова небо рассеклось пополам от грома его орудий. Но с этим грохотом смешался новый: петлюровцы, видно подражая красным, тоже ввели в действие всю свою артиллерию, — и поле вздыбилось от разрывов, забрасывая бойцов мокрой грязью и осколками.

Конная разведка мчалась стороной слева и, подскакав, доложила батьку, что за лесом, в прикрытии, стоит целый полк галицийской синей кавалерии, готовый к атаке.

Это были решающие минуты боя. Весь вопрос сейчас состоял в том, кто перехватит инициативу. Батько не раздумывал долго.

«Жаль, что мало пехоты, — подумал он только. — Но, видно, Щорс обойдет их моими батальонами со стороны Пяток. Он там прикроет батальоны броневиками и даст им ходу».

Значит, надо сбить кавалерию, снять артиллерию и ударить в тыл пехоте с заходом слева, предоставляя правый фланг Щорсу.

Батяко принимает быстрое и правильное решение... Но, пока он думает, конь его уже стелется по земле в быстром порыве к атаке, и за ним мчатся, как взмахнувшие крылья, его всадники. В проваливающейся под мягким снежным покровом земле вязнут ноги коней, но прекрасные таращанские кони, подкормленные и выстоявшиеся в вагонах за два дня перехода, не чувствуют усталости. И не знают галичане, скрытые за лесом, что сейчас их охватят крылья могучей лавы. А по лесу, валя и зажигая деревья, садит ураганный огонь артиллерии.

— Урра! — раздается вдруг из-за леса. Это Боженко увидел колонну петлюровцев, только что развернувшуюся к бою.

Но таращанцы заходят им в спину, и петлюровцам некуда повернуться: они прижаты к горящему лесу. Они решают уйти гусем, то есть прорваться меж смыкающейся лавы, чтобы выйти из окружения в поле и развернуться для боя.

Но лавы таращанцев мгновенно перестраивается снова и летит наперерез противнику. Сбитые натиском вбок, валяются из стремня петлюровские всадники.

А в это время пехота неприятеля, заметившая кавалерийский обход в тыл и видя контратакующую цепь перед собой, медленно идущую в штыки, не оглядываясь на горящий лес, строится в каре. Их командиры забывают о том, что они под открытым огнем артиллерии, и идут на очевидную гибель, принимая нелепый строй. Комбат Хомиченко, дав цепям врага сгуститься, переносит огонь ближе и после одного перелета разбивает каре, уничтожая одним залпом своих орудий сотни людей.

Подымается невообразимый вопль — ад стоит на земле. Уже не слышат и «сводники», как взвизгивают и чавкают кругом снаряды, вырывая из их рядов товарищей; они идут в ровном строю рядом с таращанцами, — и кривым головным гребешком кажется с коня Калинину цепь, идущая с выдвинутыми вперед штыками.

Он одно мгновение любуется и дает команду:

— Бегом!

Гребешок ломается на пачки, и цепь врывается в горящий лес, загоня в него противника. В пламени гибнут отступившие в панике петлюровцы.

А Бабич подбирается к неприятельским орудиям. Их шесть, из них два

шестидюймовых. Они замаскированы в старом окопе, и в этот окоп летят гранаты Бабича и его бойцов. Столбы развороченной глины и осколки стали взлетают на воздух, и кажется, что колеблется земля от разрыва четырех шестифунтовых фугасных гранат, брошенных разом по команде.

Но артиллерийский гул не смолкает, и бойцы гонятся за петлюровцами со штыками и саблями и никого не щадят уже: нет пощады сдающимся в пылу сражения.

В тот момент, когда все чувствуют победу, вдруг на горизонте появляется новая конная масса противника, Всадники идут на полном карьере, и только сообразительность и особая система таращанской артиллерии спасают пехоту от немедленного поражения: истребив неприятеля на одной линии, артиллерия уступом переносится на следующую, не отставая от пехоты и по возможности от кавалерии, — таково правило таращанской тактики.

— Назад, Калинин! — кричит батько, увидев, что Калинин в азарте боя вот-вот влетит в горящий лес, загоняя туда и свою пехоту, в ту минуту, когда разбитый в каре неприятель схлынул, кинулся в лес и погибнет там и без него.

Вся легкая артиллерия таращанцев выдвинулась на линию леса, прикрываясь своим кавалерийским заслоном с боков. Скрытая пламенем горящего леса от идущей неприятельской кавалерии, она-то теперь и встретила с фланга на картечь новых всадников, еще не знающих о поражении.

Под Бердичев явились лучшие герои Красной Армии, под командой которых и рядом с которыми и вчерашние трусы сделались героями и раз навсегда поверили в правое дело борьбы за освобождение, забыв о страхе смерти навсегда, потому что перед ними открывалась с победой свобода: неведомое, не испытанное трудящимися чудо жизни.

После этого боя «сводников» нельзя было силой оторвать от таращанцев. Никто из них не хотел «признаться» потом при переключке в своей фамилии, боясь, чтобы не оторвали его от геройских рядов первого батальона таращанцев, обучавших их благородному делу — побеждать.

«ТО ЕСТЬ АГИТАЦИЯ!»

Батько ехал в вечерних сумерках полем, усталый, как выкосивший луг косарь.

И грустно сделалось седому воину-герою. Он сказал едущему с ним рядом пленному галичанину-кавалеристу:

— А слухай сюды, парубок. С плугом бы пройтись по этой доброй земле, слушая песню жаворонка, вот этим всем побитым. Га? Так нет же, бросили, дурьи головы, свою землю, пошли, обманутые проклятым Иудой, на своих же братьев, таких же крестьян: твои галичане— на нас, на черниговцев, киевцев, полтавцев, таких же хлеборобов, как вы. Коней, выпестованных на горных прикарпатских пастбищах, недобранных проклятой войной, пооседлали и, вместо того чтобы отстаивать от насильника и набейника собственную землю и заодно с нами добывать свою свободу, пошли, чтобы своевать нас. Да разве нас можно своевать? Видал ты русскую землю хоть на карте? А ну ж, попробуй объехать ее на коне! В жизнь не обскачешь! И всюду ты встретишь, хлопче, то, что встретил сегодня, когда пойдешь ты на нас войной. Разве б ваши собаки офицеры разговаривали так со мной, когда бы взяли меня сегодня в бою, как я тебя взял? А я ж вот тебя не тронул, хоть и поднял ты на меня руку, шенок желторотый. А я выбил у тебя клинок, да и оставил живого, бо посмотрел я на тебя: жалко тебе умирать, молодой ты, жить тебе еще надо, любить надо, работать, детей растить, да мало ли чего тебе еще в жизни требуется. Жалко тебе умирать. Стой! Повертай коня обратно, гони назад да скажи своим то, что слышал от меня — от красного командира-мужика. Пускай идут к нам. Стыдно вам с нами воевать, галицкие крестьяне, — и все равно нас не своюете. От души тебе все сказал... Вертай коня и скачи к своим.

Молодой всадник ехал понурясь, слушал и не верил, что батько на самом деле его на волю отпускает.

— Ну, что ж ты не повертаешь? — спросил его батько. — Не веришь? Боишься, что вдогонку пустим тебе в зад пулю или зарубим тебя для насмешки? Не бойся, мы не такие... Эй, братва! — крикнул батько, обернувшись. — А ну, пропустите цего вершника, я дарую ему свободу,

— Хай видъизжае! — закричали эскадронцы.

— Може, ще раз попадетя, тогда уж головы не сносит!

Галичанин вдруг, обернувшись, крикнул:

— Ну, хай же буде ваша слава!

И, пришпорив коня, помчался в поле, как выпущенная на волю птица. Проскакав уже далеко, он еще раз остановился и что-то крикнул, привстав на стремена и махая шапкой.

— Нехай же знают, дурни, що занапрасно вмирают. Опустятся руки у них от нашей крепкой думки, — сказал батько торжественно и, вздохнувши, добавил, как бы в оправдание своего поступка: — То есть агитация!

Бойцы одобрили батьков поступок.

— Закинув батько жарину в того галичанина. Поки доиде, витром роздуе: вин туды палю привезе в сердци, як сам не собака душа. Витер гуде — пожар буде!

Ехали за батьком беспощадные рубаки, которых не угнетал вид густо разбросанных трупов: и сами не боялись они ни сегодня, ни завтра бросить свои жизни на риск боевой удачи. Но и им передалось настроение батька, и на них дышала — из-под несмрадных еще трупов — здоровым, вызывающим к жизни запахом пробуждающаяся весенняя земля, и чуть-чуть грустно стало, и захотелось добра всему живому, покоя, счастья.

— Жаль, що не можна заспивать писню, — сказал запевало Непомнящий. — Тут еще неблагополучно.

— Та чого там неблагополучно? Спивай! — отозвался батько. — Так нас свои скориш знайдуть.

Батько ехал на пересечение железной дороги на Шепетовку, желая установить связь с Кабулой. Где-то вдаль еще грохотал, то приближаясь, то удаляясь, бронепоезд. То, должно быть, Щорс, старый мортирец, ощупывает противника перекрестным артиллерийским огнем.

Щорс знал, отправляя Боженко с одним батальоном да с ненадежной придачей ему «сводников» в направлении Рай-городка и Янушполя, что батько, опираясь на мощную артиллерию, играющую у него, «как трубы в руках умелого капельмейстера», даже если встретит сильнейший удар врага, — все равно его не пропустит. Поэтому, на всякий случай бросив ему вслед для связи конную разведку Девятого полка, Щорс выдвинул в направлении Шепетовки для наблюдения за этой линией бронепоезд «Гром» и приказал батьку огибать Бердичев слева, не углубляясь дальше Тетерева. Девятый полк занял отбитые вчера таращанцами Пятки и пошел к Татаринке. Сам же Щорс выехал на броневике «Грозный» по линии на Житомир в сопровождении — подсобного броневика, имея в общей численности артиллерии на броневиках: на «Грозном» — восемь орудий, из них два шестидюймовых, да на «солومه»^[34] такое же количество

трехдюймовых.

Щорс рассчитывал артиллерийской демонстрацией загнать наступающего врага в «лузу» — в угол к Бердичеву — и разбить его двойным охватом: справа и слева.

Он знал, что в середине дня к Бердичеву подойдут остальные два батальона и четыре эскадрона таращанцев под командой Кабулы и — в случае прорыва неприятеля на Бердичев — встретят его как надо; а поэтому все утро «гонял уток» с бронепоезда, как он выражался, И «утки» слетались туда, куда гнал их Щорс: в угол, к Бердичеву.

Но, услышав во время очередного маневрирования к Бердичеву разрастающийся бой на юге; на батьковой стороне, Щорс вернулся к Бердичеву ему на поддержку и как раз застал на станции только что прибывших таращанцев с Кабулой.

А разведка доносила ему, что батько ввязался в бой и его пехота пошла в наступление.

Поэтому-то Щорс немедленно послал ему на поддержку все четыре эскадрона, а Кабуле с двумя батальонами и остальной частью конницы велел наступать на Чудново-Волынск. Сам же опять повел «Грозный» на поддержку Девятого полка в направлении Житомира.

Правильность этого расчета вскоре оправдалась.

Вынужденные сойти с линии железной дороги, петлюровцы повсюду попадали под фланговый двусторонний удар.

Сначала они ринулись на Боженко и были разбиты им наголову.

Но под Бердичевом была целая армия атамана Оскилко, состоящая из двух корпусов, и хоть и шутили бойцы-таращанцы, что «только пивскилько лишилось от Оскилко» «да пивпальдя от Коцовальця», однако то, что пришлось на долю Боженко, не составляло еще и одной пятой наступающих сил Петлюры. Самая сильная группа двигалась прямо на Бердичев. И вовремя вышел им навстречу Кабула, и вовремя батько закончил бон и пошел на пересечение шепетовской линии.

Для закрепления занятого фронта батько оставил всю пехоту и половину артиллерии — весь тяжелый дивизион. С легким артдивизионом батько не расставался.

Подожженный артиллерией лес, место гибели черноморской дивизии галичан, еще дымился, и его заревом далеко, как восходящей полной луной, освещалась вся местность.

На фоне зарева видно было, как вдоль полотна железной дороги маячил бронепоезд «Гром», и неприятель, пристрелявшись, угодил ему как раз в прицепную площадку со снарядами...

ЩОРС ПОД БЕРДИЧЕВОМ

Щорс, понимал, что вопрос не только в том, чтобы задержать или отогнать противника от Бердичева, не дав ему прорваться к Киеву. Надо было, воспользовавшись скоплением неприятеля, доселе маневрировавшего и ускользавшего, заманить его в то место, куда он стремился, в Бердичев, и, окружив его, разгромить и уничтожить.

Ясно, что командованием это вовсе не предусмотрено в данной операции, что оно не ведает, что творит, и что неподвижность остальных частей, в том числе и конницы, заставляет только удивляться.

«Инициативу надо брать в свои руки», — думал Щорс.

Еще большего удивления заслуживала неосведомленность штаба о состоянии неприятеля и отсутствие разработанной дислокации.

Выходом являлись глубокое рейдирование кавалерией тылов и сокращительность наступательного действия.

Мчась на броневике, Щорс мечтал о моторизованной армии.

«Техника не поспевает за нашей потребностью, — думал он. — Ведь вон Боженко — догадливый старик! — старается создать молниеносную подвижность артиллерии и кое-чего достиг в этом деле. Гребенко перенял у махновцев пулеметные тачанки. Мы пустили с начала похода в ход пулеметные санки. Вот взяли мы сто семьдесят аэропланов в Жмеринке и Виннице, но летает из них только один, хоть летчиков вдосталь. А чинить поврежденные машины негде и некому, и лежат «Ильи Муромцы» на боку».

Развивая ураганную скорость стрельбы, Щорс забрасывал огнем снарядов обе линии: на десять верст кругом гвоздил шестидюймовыми снарядами, не выпуская зарвавшегося врага.

«Хорошо, что хоть снарядов пока хватает, — думал он. — А ведь недавно еще за одну винтовочную обойму благодарили мы, сняв шапку, или отбивали у противника патроны прикладами...»

— Стой! Прекрати огонь, Табукашвили! — вдруг прервал Щорс свои размышления. — А ну, выброси меня здесь, я пойду в разведку. Что-то затихло.

— Доедем до Бердичева, там и получим сводку. Зачем тебе здесь ходить? — уговаривал Табукашвили. — Или от шума у тебя уши болят с непривычки?

— Да нет, я ведь сам мортирец — чего там уши болят? Душа болит. Бой надо кончать, нельзя терять ни минуты. Бой тут требуется настоящий — штыковой!

— Стой, — прислушался Табукашвили. — Слышишь, какой грохот там? Это большой взрыв на шепетовской линии. Садись скорей, поедем: боюсь, не случилось ли чего с «Громом»! Похоже на взрывы снарядов. Не подбили ли ему снарядную площадку?

Табукашвили не ошибся: это был взрыв снарядов на броневой площадке «Грома».

«Грозный» примчался к Бердичеву как раз в тот момент, когда туда же на станцию ворвался «Гром», лишившийся площадки со всеми снарядами и трех отважных из своей команды, пожертвовавших жизнями ради спасения бронепоезда и товарищей.

Пока «Гром» прицеплял новую площадку, «Грозный» повернул на шепетовскую линию.

Щорс узнал от командира бронепоезда, матроса Лепетенко, о том, как «Гром» сбил оба броневика противника под откос, но сам подбит был артиллерией; что слева горит лес и насыпь невыгодно освещена.

Надо было двигаться быстро, чтобы разведать неприятельскую артиллерию справа, от Чудново-Волынска.,

— Я ее нащупаю по звуку, — утверждал Табукашвили.

— Разве ты не оглох сегодня? — спросил командир «Грома» Лепетенко.

— Я оглох? — удивился Табукашвили. — А зачем же ты не носишь наушники? Разве так можно выдержать? Уши потекут. На, я тебе подарю, спасибо скажешь, это мое личное изобретение, — смеялся, протягивая матросу кожаный шлем, Табукашвили.

— Не надо, я не лошадь, — отказался Лепетенко.

— Нет, ты хуже лошади, ты осел. Бери! — рассердился Табукашвили. Лепетенко взял кожаный шлем.

В это время Щорс принимал донесения ординарцев и составлял сводку. Оказывалось, что противник загнан в мешок повсюду.

Уже батько Боженко пересек с кавалерией и легкой артиллерией шепетовскую линию у Демчина и подвел свою пехоту к Тетереву, уничтожив переправу вслед за перешедшим ее противником, отрезал ему у Трощи путь к отступлению. Кабула от Татаринки повернул к Чуднову, разбил бригаду и захватил штаб дивизии со всеми командирами; он выслал их под строгим конвоем в Бердичев.

— Скоро придут гости, — сообщал, улыбаясь, кавалерист-

ординарец. — Их везут в фаэтонах, потому как они панского сословия.

«Противник прижат к Гнилопяти и ищет броду через воду, — сообщил Кабула в записке, — вот там ты его и прижми, товарищ Щорс, броневиками. Да пуцай батько рубанет, коли не увязли сабли в болоте, — чего с ним от веку не было. Да что-то не имею от него вестей, а только вижу большое зарево с того боку. Ну, не иначе как то наши панам зад греют».

Привезли в экипажах четырех генералов и среди них одного преважного, одного из двух атаманов Палиев, — Палия-старшего. С ним-то и повел разговор Щорс.

— Слыхали про Щорса?

— Слышал.

— Ну, и я слышал про Палия, только не знаю, про какого, — польстил атаману Щорс. — Наверно, про вас.

Атаман кисло улыбнулся, но все же размяк.

— Чья тут армия? Ваша?

— Нет, моя армия разбита под Винницей,

— А, так это вы уехали в Жмеринку, не дождавшись меня?

— Так точно, я.

— А здесь вы к чьей же армии прикомандировались?

— Здесь армия атамана Оскилко, два корпуса,

— Численность?

— До двадцати тысяч штыков,

— Задача?

— Взять Киев, — пожал плечами атаман.

— Да почему же не берете Бердичев?

— Мы его возьмем прежде... — увлекся было атаман. — Вы мне только сейчас скажите, — вдруг затрясся он, понявши наконец свое положение, — вы даруете мне жизнь? Жизнь моя вне опасности?

— О, безусловно: мы вообще пленных не расстреливаем.

— Меня можно обменять, — торопился атаман, — Мы тоже имеем ваших заложников. Вот, например... — И он назвал имена нескольких провокаторов-боротьбистов, выполнявших у Петлюры задачу контрразведки и затесавшихся в «плен»,

— Нет, мы не меняем шило на мыло! — сказал Щорс. — Дислокация?

— Гм... — замялся атаман.

— Я спрашиваю вас как военнопленного, и за лживость показаний вы будете отвечать по всей строгости законов военного времени. Ведь вы же пленный враг — и сами понимаете, на что можете рассчитывать.

— Но ведь я служить вам не буду, — воспротивился было атаман.

— А мы и не возьмем вас ни на какую службу. Как видите, мы справляемся и без вас. Но от вашего правильного или лживого ответа зависит ваше будущее. Я веду допрос военнопленного. Повторяю: точно укажите мне дислокацию войск на данном бердичевском участке, а также на остальных и все ближайшие задачи вашего штаба. И ни минуты для размышлений.

— Хорошо, я подчиняюсь насилью, — патетически заявил атаман и наклонился над картой, положенной Щорсом на стол. — Здесь, на бердичевском участке, два корпуса.

— Армия, — поправил Щорс,

— Правильно, армия атамана Оскилко, но в составе двух корпусов.

— А где третий?

— На шепетовском участке.

— А на коростенском?

— Корпус Коновальца.

— Армия Коновальца, — поправил Щорс. — Состав кавалерии, артиллерии?

Палий попробовал преуменьшить, Щорс поправил его. Он попробовал преувеличить, и тут Щорс его поправил.

— Ну, тогда вы знаете лучше меня, — отклонился от карты атаман. — Зачем же меня экзаменуете?

— Я проверяю свои сведения. А если бы это был экзамен, вы бы его не выдержали. А кто же возглавляет у вас «Ревком Юго-Западного фронта» и чье это изобретение?

— Возглавлял его я... — помедлив, ответил атаман.

— Значит, это ваше изобретение?

— Возглавлял его я совместно с атаманом Петлю-рой.

— Вы, я вижу, очень изобретательны, атаман, но наивны. Отвести арестованного! — распорядился Щорс. — Да держать его под строгой охраной!

И Щорс направился к бронепоезду.

РАЗГРОМ АРМИИ ОСКИЛКО

После допроса Паляя Щорсу стало окончательно ясно, что для разгрома столь многочисленного противника у него не останется сил.

Задержать и отбросить врага он, пожалуй, будет в состоянии. Но разгромить одной бригадой армию невозможно.

Еще нигде Петлюра не накапливал такого количества войска. Если Палий называл цифру в двадцать тысяч штыков, не считая артиллерии, то войск, наверно, было здесь вдвое больше.

А численность штыков в сводной бригаде группы Щорса была примерно шесть тысяч таращанцев вместе с кавалерией, тысяча штыков в Десятом полку и около тысячи— в Девятом. Пятый кавалерийский полк действовал в направлении Житомира, и отвлекать его оттуда было нельзя.

Сводная кавалерийская группа Крючковского из четырех полков, как указывалось в приказе командукра, была еще в проекте. У Бара находились только червонные казаки и кавалерийский полк Гребенко, которые по настоянию Щорса выдвинулись к Старо-Константинову, и направить их на ближайшие тылы противника не представлялось возможным и целесообразным потому, что они выполняли задачу демонстративно глубокого обхода. Дня через два-три форсированный марш кавалерии скажется и на бердичевском участке. Враг побежит или станет рассеиваться и попадет под сабли кавалерии.

Щорс дал телеграмму находящемуся в Виннице члену Реввоенсовета с просьбой толкнуть кавалерию во что бы то ни стало к Шепетовке, чтобы отрезать тылы противника.

Член Реввоенсовета принял решительные меры и сразу развернул кавалерию к Шепетовке. До того кавалерия топталась на месте, ссылаясь на распутицу, а ком-группы Крючковский объяснял, что он до сих пор не получал из штаба никаких распоряжений.

Из допроса было выяснено, что начальник штаба бригады, бывший офицер Маковецкий, скрыл от комбрига приказ о немедленном выступлении конницы на северо-запад. Маковецкий был рекомендован укрнаштаба Глаголевым, и это обеспокоило члена Реввоенсовета, давно уже с недоверием приглядывавшегося к личному составу штаб-рота.

Приговором военного суда Маковецкий был расстрелян, а Крючковский отозван. Первый полк Гребенко направился на помощь червонным казакам, взявшим уже Старо-Константинов и повернувшим к

Изяславлю.

Руководство взял на себя прибывший член Реввоенсовета, который сообщил Щорсу: «Вовремя сигнализировали: кавалерия выдвинута в глубокий рейд на поддержку вам с тыла. Буду за всем следить сам. Действуйте».

К Михайленко — на место взрыва площадки «Грома» — подошел со Щорсом «Грозный». На рассвете во время исправления пути Щорс встретился с Боженко, вышедшим сюда за ночь с кавалерией и остановившимся на привал после напряженного боевого дня. Батько был доволен успехом Кабулы под Чудново-Волынском и стал умолять Щорса дать ему возможность тотчас после боя сформировать новый полк для подчинения его Кабуле.

— С того лютого хлопца, Микола, такой вояка, що куцо ему при батальоне. Эх, zorganizовать бы ще свою кавалерию, то нияки червонцы, та и не Гребенки не зравнялись бы з нами!

— Полк не полк, а кавдивизион развернем. Тем более что он у нас уже и существует, говоря по секрету, между нами, Василий Назарович, — улыбался Щорс.

— Та як бы то не отдали Гребенку Кочубееву кавалерию зимою, то не дивизион был бы уже, а цила кавбригада. Треба буде знов до Кочубеев на Черниговщину ходов засылать после боя. На Черниговщине коней доволи. А хлопцы сами пидходящи. Ну, дак яка ж буде дали наша стратегия, Микола Александрович? Щось права долоня в мене свербить. Чи не вдариты на Чарторию кавдивизионом, поки ще тии Гребенки до Шепетовки дийдуть? Га?

Щорс задумался.

— Маю запрос вид Калинина, — сообщал батько. — Чи не пидладить переправу на Тетереви, бо неприятеля у Троци не выдко. А Кабула у Чуднови через Тетерев уже перескочив. Ему на Новоград-Волынский, а я на Шепетивку ударю через Ново-Чарторийку. Давай ходу до Ходоркову! — мечтал вслух батько. Помня стремительность своего недавнего движения на Жмеринку и зная успех этой стремительности, он не хотел медлить ни минуты.

— Нет, батько, сегодня это дело не выйдет, — возражал Щорс. — Они только на минуту замолчали и хвосты спрятали, притаились: вот увидишь, что будет к полудню. Нам надо глядеть все время по флангу... Да вот, — слышишь? Уже начинается!

Действительно, вдали заработали пулеметы.

— То опять Кабула принимает в гости «панов добродиев». То, може, и

мени податься у обхват до Чуднова?

Щорс подумал минуту и согласился.

— Я думаю — тебе туда и подаваться, Василий Назарович. А Калинин пусть переходит у Трощи Тетерев и идет на Чарторию. Ты же перейдешь Тетерев здесь, по железнодорожному мосту, под моим прикрытием, и будешь обходить Чуднов с запада. Но, может, придется идти на выручку Калинину. Сейчас посмотрим. Насколько я понимаю, главный удар будет у Печановки и Миро-поля. Но надо поглядывать и на Махновку: они могут ударить с тылу. От Бердичева отрываться вовсе нельзя: ведь по инерции разбега их сюда тянет.

Отдав распоряжение по флангам, Щорс двинулся вперед, а Боженко повел кавалерию вдоль насыпи под прикрытием бронепоездов, тем временем исправивших поврежденный путь.

Щорс не ошибся в своих предположениях. Едва перешли тетеревский мост броневика, как навстречу вырвался новый неприятельский бронепоезд, и «Грозный» вступил с ним в поединок. А вслед броневика подходили эшелоны, выбрасывающие пехоту.

Артиллерия Боженко выгрузилась и вышла в поле. Боженко, услышав разгоревшийся впереди бой, помчался вперед с кавалерией, прикрываясь холмами и перелесками. Кабуле и Калинину он приказал подтягивать пехоту к шепетовскому направлению.

Калинин из Красноселки, разбив под нею небольшой заслон пехоты, повернулся во фланг железной дороге, услышав там шум сражения. По темпам стрельбы он догадался, что бой ведет Боженко. Прискакавший ординарец застал Калинина уже повернувшим свои цепи в нужном направлении.

А Кабула был в тылу у неприятеля — и вновь неприятель попал в клещи.

Целый день шел бой.

Петлюровцы никак не могли вырваться из окружившего их кольца, их бронепоезд, подбитый не то «Грозным», не то боженковской артиллерией, спасся бегством, оставив пехоту. Но к вечеру опять он появился у Тетерева, прикрывая вновь и вновь прибывающие к противнику подкрепления.

— Выгружают «охват», — шутил Щорс. — Мы их «охватим», пусть лезут!

Однако свежие войска Петлюры все прибывали.

Петлюра не хотел уступать Бердичева, которым он недавно полакомился. Зная от своей контрразведки, кто против него сражается и кто руководит боем, он бросил на этот участок наилучшие силы: галицийские

корпуса атамана Оскилко. Да и сам Оскилко не был трусом.

Справа оставался Девятый полк. Кабула со своими батальонами зашел с тыла и сражался под Ново-Мирополем. С правого фланга Щорс получил тревожное сообщение.

«Несмотря на уничтожение полка противника, он продолжает накапливаться и теснить нас, — сообщал комбриг Шкуть. — Уставшие бойцы не выдерживают. Ощущается недостача огневого питания. Артиллерийские трофеи не можем освоить: французские пушки. Дайте артиллерию, иначе не устоять. Все время идет штыковой бой, нельзя без передышки. Их цепи сменяются новыми, не понимаю, куда запропал Кабула, — рассчитывали на него».

Щорс знал, что и Кабула не в лучшем положении, — пожалуй, нужно было выдержать характер и не выдвигаться так широко от Бердичева. А теперь отступать к Бердичеву невозможно.

Щорс решил взять на себя командование на угрожаемом правом фланге. Да ему и не сиделось на броневике и давно хотелось дать большое сражение врагу.

В это время батько, поддержав Калинина, занял Ново-Чарторию и пошел с кавалерией на поддержку Кабуле, прорвавшись у Печановки и опять на минуту встретившись со Щорсом. Батько был в боевом азарте и воспринимал все в радужных красках.

Щорс не хотел его разочаровывать, зная, что еще далеко до победы. Он взял у батька легкую батарею и ординарцев и помчался на выручку Девятому полку.

Девятый полк, теснимый двумя дивизионами справа и слева, отступал к Чуднову редущей цепью. Щорс ударил ураганным огнем батареи по левому флангу и сбил наступающие цепи картечью.

Но Девятый полк уже бежал, дрогнув перед появившейся кавалерией противника.

— Стой! — закричал Щорс, преграждая бегущим дорогу.

— Щорс! — пронеслось по рядам утомленных бойцов, потерявших надежду на спасение.

— Стой! — еще раз прокричал Щорс. — Ложись! По идущей кавалерии — залпами!

Повинуясь властному голосу командира, бойцы залегли.

— Частый огонь по кавалерии! Бросай бомбы! — кричал Щорс, все еще находясь в седле.

— С коня, товарищ Щорс! — кричали ему бойцы.

В то же мгновение пуля сорвала фуражку с головы Щорса. Щорс

соскочил с седла и, подняв фуражку, махнул ею бойцам.

— Бойцы, за мною! В штыки, вперед!

Бойцы разом поднялись и последовали за бегущим вперед Щорсом.

— «Пожарники», ко мне! — кричал Щорс пулеметчикам.

— Ура! Бей гадов!

Под бодрящие звуки ураганного огня таращанской батареи заработали пулеметы, и враг, не успевший залечь, побежал прочь, подставляя спины штыкам преследователей. Кавалерия, растрепанная первым ударом батареи и встреченная залпом пехоты, преградившей ей путь неожиданным ударом, давно исчезла с поля.

Девятый полк, измученный девятидневными боями, несся, как на крыльях, вслед неприятелю, и бойцы сами дивились — откуда у них еще берутся силы.

«Эх, кавалерию бы сюда!» — думал Щорс, руководя пулеметным взводом. В эту минуту рядом с ним убило пулеметчика. Он упал на колени Щорсу с раздробленной головой. Командир осторожно отодвинул его и лег у пулемета. И вдруг радостно замахал картузом. Словно на зов его, как бы подслушав его призыв, на помощь ему неслась кавалерия.

От батька Боженко не ускользнула озабоченность Щорса в последнюю минуту. Выручив Кабулу, он бросился сам вслед Щорсу с двумя эскадронами. Его появление решило исход боя.

Щорс, мчась рядом с Боженко и обгоняя его, чувствовал, что нога его вдруг одеревенела и он не может взять лошадь в шенкеля. Но удар по счастливой случайности был рикошетный и не разбил кости,

Щорс вылетел вперед эскадрона, не имея даже сабли, и вдруг обнаружил, что и патронов нет в маузере, а между тем под его коня падают и бегут, бросая винтовки, петлюровцы.

Он ударил плеткой бегущего офицера и крикнул:

— Бросай оружие!

Офицер растерянно поднял вверх винтовку, Щорс выхватил ее и помчался дальше.

Преследование подходило к концу. Петлюровцы поднимали руки и сдавались, видимо потрясенные видом страшного поля сражения под Чудновом, усеянного трупами, не убранными еще после вчерашнего боя, — и трупы эти почти все были в серых галицийских шинелях.

Это был день разгрома армии Оскилко. И то, что было сегодня здесь и вчера под Чудновом, под Озадовкой и Райгородом, не шло в сравнение с еще более жестоким сражением под Чарторией, Печановкой и Ново-Миропо-лем, где, объединившись, таращанцы — батько Боженко, Калинин

и Кабула — разбили «охват» Оскилко и беспощадно изрубили петлюровцев. Зарублен был и брат атамана Оскилко, есаул. Щорс был вынужден предупредить Боженко, что в дальнейшем за беспощадность к сдающимся строго взыщет с него.

Батько только буркнул:

— Пока ты меня засудишь, они нас с тобой в спину убьют. Неимоверный я до собачьей их совести, не щадят воны своей родины та ще й нашей свободы, — не пощадят паны и нас с тобой, Микола!..

Окровавил Петлюра поля Украины галицийскою кровью, продал родину галичан польским панам и повел их на погибель.

ЧУДЕСНАЯ СКРИПКА

Утомившись боями и допросами пленных генералов и атаманов, которых взято было около двенадцати, Щорс захотел отдохнуть. Устал он от этих допросов сегодня больше, чем от сражения вчера, так противно было ему видеть обнаженное, унылое, подлое лицо петлюровских «руководителей», виновников гибели стольких людей.

Проходя вдоль теплушек, в которых расположились красноармейцы на станции Бердичев, Щорс услышал скрипку.

Он очень любил музыку и больше всего скрипку. Он остановился у вагона, в котором играл скрипач, и прислушался. Скрипач играл чудесную, грустную и страстную мелодию, казавшуюся блестящей импровизацией.

«Кто бы это мог так играть здесь? — подумал Щорс. — Что еще за музыкант среди таращанцев сыскался?»

Он решил непременно разведать о скрипаче.

И теперь, после допроса пленных, ему до страсти захотелось музыки. Он позвал вестового и попросил его разыскать скрипача и пригласить батька Боженко.

Батько спал после боя с чистой совестью бойца, выполнившего свой долг.

— Храпит лучше всякой музыки, — доложил ординарец Щорсу.

Щорс улыбнулся и велел вестовому ждать на месте пробуждения батька и звать его непременно в гости, как только он проснется.

— Сегодня день отдыха, — объявил Щорс.

И мигом по всем эшелонам разнеслось это его «постановление» как лозунг, и все на свой лад решили отдыхать.

— Щорс до себе Лиха кличе, — передавалось кругом.

Бессарабец Лихо и был тем скрипачом, которого слышал Щорс. Молодому скрипачу было всего восемнадцать лет. Он был бессарабский цыган и пристал к таращанцам в Жмеринке. Вернее сказать — таращанцы сманили его из другой части, от бессарабцев.

Кудрявый веселый скрипач оказался не только талантливым музыкантом, но и отличным рубакой.

— Четырех офицеров порубил в эти дни, — заявил он горделиво.

В этот вечер отдыха после боя, как обычно, бойцы до хрипоты рассказывали, споря друг с другом, о своих боевых успехах и смешных и опасных приключениях.

— Да то ж не с тобой было, Максим, как есть такое приключение было со мной, а не с тобой! Это же я напололам разрубил голову тому рыжеусому офицеру, що на Щорса нацелился. Чого ж ты не своим геройством, парень, хвастаешься?

Но с тех пор, как Щорс вызвал Лиха к себе, на всех напало музыкальное настроение. Можно сказать, наступил «музыкальный момент». Все бросили спорить и вдруг запели.

Впрочем, дело было к вечеру, а для украинца вечер всегда является музыкальным моментом — когда, отработав свое за день, умывшись и расчесавши чубы, парубки выходят на улицу и, сгуртовавшись в одном конце, идут навстречу дивчатам, уже запевшим свою хороводную песню-вызов в другом. Хор мужской отвечает девичьему, и песня, сливаясь, не замолкает всю ночь, лишь на минуту прерываясь где-нибудь веселым визгом: кто-то из парней не выдержал и прижал свою дивчину к горячему сердцу... Видно, нахлынули эти дорогие, волнующие воспоминания на бойцов, в большинстве своем молодых... И, забыв о соревновании в боевых сказках, облокотились бойцы друг на друга и запели. И каждый хор пел свою песню.

Батько был «осторожно» разбужен Филей, нарочно громко уронившим какую-то тяжелую «трофею». От стука «папаша» проснулся, и Филя сообщил, что его ждет к себе Щорс с самоваром музыку слушать. Иначе батько проспал бы «все царство небесное», как выразился Филя.

— Каку таку музыку? Ты что это шутики справляешь, Хвилигмон Сергеевич? Ты мне, гляди, уважительно должен говорить об том нашем знаменитом командире, бо он начдив, А ты шутики выкидаешь. «Самовар с музыкой». Га?

— Да нет, батьку, в том и дело, что не шутики. А имеется цельный предлог начдива: представить вас в полном состоянии здоровья, как только проснетесь, С первым чихом вас — на доброе здоровье!.. Вон вы прислухайтесь: уже увесь Бердичев спива. Было распоряжение Щорса, щоб уси пели по всей местности. У меня у самого оттого ноги поднимаются, сами ходють.

И Филя прошелся мелкой чечеткой по вагону..

— «Было у чечеточки семеро зятьев». Эх!..

Батько высунул голову из окна вагона и прислушался.

И вправду, весь воздух за окном был наполнен песней.

— Совсим як дома, — сказал повеселевший батько и стал спешно натягивать новые сапоги.

Филя опрашивал:

— Жмутъ? От же и просторные чоботы! То у вас от походу ноги пораспухали — три дня в стремени. Треба мазью натерты та в калоши вбутысь.

— Ты що, здурив, Филимон? — спросил батько. — Та вона ж солена, тая мазь, хай тоби перець в горляку тай твоему фершалу-коновалу, распросукиному сыну. Намазав ты мени спину перед боем, то усю шкиряку силлю здерло. От бы в баню! Чи немає в Бердичеви бани?

— А повинна б быть. Может, слетать в город да сотворить приказ? Очень хорошо для вашей кости, папаша, в баню! — обрадовался и Филя, видимо соблазняясь всеми приятностями отдыха. — Я зараз.

— А ну, слетай мени живо, — отозвался батько в предвкушении «чистого пару». — Та швидче, а я схожу до Щорса — що там у него за музыка, як не брешешь.

— От же, ей-богу, не брешу. Да тут и ихний ординарец вас ждет с полным приглашением у пакете.

Действительно, батька ждал ординарец Щорса.

— Ну, скачи до городу, щоб была баня на всю Таращу, просторна, — заключил батько. — Що есть в городе бани, нехай гриють на всю ночь, бо завтра знов невправка. Та Казанку, коменданту, припоручи тое дело доглядеть: мыть усих бойцов-таращанцев — и сводных и несводных. Як буде готово — доложь.

И батько зашагал к Щорсу в сопровождении ординарца.

Выйдя из вагона, он сразу, как в звучное озеро, погрузился в песню, что неслась повсюду вместе с весенним животворным воздухом, проникая во все поры. Идучи, батько думал все о том же, о чем говорил пленному галичанину недавно:

«Земля нам ридна пахне, и никому мы ни не виддамо. И писня ж що в нас, що в галичан — одинакова. Дуры! Вот дуры!. А таки буде по-нашему: мы на том стали!»

Щорс сначала слушал скрипку стоя. Музыка ли была так обворожительна и бесконечна или контуженная нога болела, но Щорс прилег на брошенную на седла бурку и, поддаваясь бесконечному очарованию музыки, вдруг как бы опустился в ее прохладные журчащие воды. Батько вошел на цыпочках. Он злился, что чертовы новые сапоги скрипят, сразу присел у входа на походный стул и замер, глядя то на заслушавшегося Щорса, то на чудесного скрипача.

Наконец скрипач оторвал смычок на тончайшей паутинке звука и

опустил скрипку.

Щорс лежал неподвижно, глядя на батька. А батько обернулся к нему и тоже не шевелился. И оба они — суровые бойцы, рубившиеся вот уже несколько дней без устали, — прочли в глазах друг у друга смиренное понимание совсем другого, чем бои, — душевного, человеческого и жалостного. Они забыли за время войны о том, что существует для них еще какой-то иной мир, кроме боя, и что они подвержены и другим страстям и чувствам и что бой — только тяжелая необходимость.

А цыган стоял и, щурясь, перебирал струны на скрипке, видимо гордясь успехом своего искусства перед такими людьми, как Щорс и Боженко.

— Что за песня, батько! — сказал Щорс и глубоко вздохнул, как будто он слушал все время, не смея дышать. — Вот так талантище! Да откуда же ты взялся, такое «Лихо»? — подошел он к скрипачу-бойцу и положил ему руку на плечо. — Нет, больше я тебя в бой не пущу. Будешь ты в оркестре. А еще вернее бы тебя отправить сейчас же, без всяких разговоров, в Киев или даже в Москву: пусть бы там послушали тебя великие артисты — нашего таращанского скрипача. Ведь вот каких самородков рождает наша родная земля, за которую мы бьемся.

Лихо весело засмеялся, как будто шутил Щорс, и сел скромно на раскладушку, опустив скрипку к ногам. Но вдруг он вскинулся:

— Дозвольте мне остаться в эскадроне, товарищ Щорс.

— Что ж, оставайся в эскадроне, но только в музыкантской команде. Категорически запрещаю тебе быть в строю. Если хочешь, будь у нас капельмейстером, а потом все-таки надо будет отправить тебя в Москву... Кто же тебя учил?

— О, у меня был хороший учитель — один слепой музыкант в Кишиневе. Он и сейчас там живет. А мне захотелось воевать за свободу, и я ушел с братвой и взял с собой скрипку. Родных у меня вовсе нет, и я с десяти лет играю. Играл всюду: на улице и в ресторанах. Умею играть все: Глинку, Паганини, Шумана, Шуберта, Листа, Дворжака. Все это, что сейчас я играл, — Паганини. Говорят, он тоже был цыган, и это — цыганская песня.

— Сыграй еще, — сказал Щорс. — А впрочем, стой. Чай пить будешь? А то я разбудил папашу, а чаем его не угощаю. Ну, подсаживайся, товарищ Лихо. Это твоя фамилия?

— Нет, моя фамилия Григо. Это уж меня здесь в армии по ослышке перекрестили в «Лихо». Так и пошло.

Юный цыган смутился, не желая признаться в том, что прозвали его

бойцы так совсем не по ослышке, а за боевую отвагу.

— Как твоя нога, Николай? — спросил батько, подсаживаясь к столу.

— Да ничего особенного. Перебинтовал туго — и все. Сухожилия целы, растянуты ударом. Немного пухнет. Я ее в краги вправлю — и можно будет ходить и ездить сколько угодно. Счастливо отделался, А ты как, выспался? — подмигнул Щорс.

— Поспал, поспал-таки. Может, слышно было, как я храпел, с другого состава?

Щорс улыбнулся.

— Ты кушай, кушай, — ухаживал он за батьком, нарезая колбасу.

— «Неаполитанские песни» Паганини, — объявил скрипач.

И опять замороженные бойцы погрузились в мелодию скрипки, как в прохладные голубые волны какого-то неведомого моря.

Батько надвинул шапку потуже на брови, — видно, чтобы слушать сосредоточеннее, и, когда тихонько, на цыпочках, вошел в вагон Калинин, батько погрозил ему пальцем.

Щорс поглядел на батька и подивился еще раз- на своего старика.

Когда умолкла песня, выдержав паузу, батько сказал:

— А що ты думаешь, Микола, чи не можно было б от такою скрипкою ворога зупыныты? Може б, и вин завмер, идолова душа, як ото мы завмираемо?

— Эге, жди, дудки, — отозвался Щорс. — Подлецы ж не воспринимают музыки.

А Лихо сказал, смеясь:

— Мой слепой учитель говорил, что Паганини своей игрой на скрипке смирил напавших на него волков. Где-то шел он в альпийских горах ночью, они ему повстречались на дороге, и целую ночь он играл им, и они стояли и подвывали, не смея напасть на него.

— Ну, так то ж волки. Верно, я тоже об этом где-то читал и слышал. Так то ж волки, а это шакалы.

Батько встал и потрепал Лихо по плечу ласковой рукою, потом уже повернулся к Калинин.

— Ну, докладдай, Калинин, теперь: с чем ты явился?

— Бойды ждудт тебя париться, папаша.

Щорс расхохотался.

— Вот тебе и на! С легким паром, Василий Назарович. От одного удовольствия к другому. Да где ж это у вас баня объявилась?

— Да то я звелив уси бердичевские бани затопить, которые имеются, — отвечал батько. — Завтра опять у поход; с Киева в бане не

мылись.

— Вот это здорово! — отозвался Щорс. — И я, пожалуй, с вами за «легким духом»... А как на позиции, товарищ Калинин?

— Все чисто в порядке, на сорок километров кругом никакого петлюровского дыхания.

— Теперь можно признаться, товарищи, что тут было генеральное сражение, — сказал Щорс, доставая белье из чемодана. — Петлюра теперь не скоро очухается. Имею донесение от конной группы Гребенко, что ими взят Изяславль и бьют они гада у Шепетовки.

— Дак это жаль, — покачал головой батько. — Я ж сам туда нацелил.

— Не уйдет от тебя и Шепетовка; возьми Новоград-Волынский, Василий Назарович, там и будешь формироваться. Сегодня послал я уже сватов до Кочубеев за партизанами. Приехали оттуда, говорят: «Опять набрали хлопцев Кочубеи, и Денис сам до нас собирается».

— Ну, а де ж наши кони?.. Пидсади, Калинин, Миколу, бо вин сегодня нездужа.

Щорс уже две недели, от самого Киева, провел на броневиках и, как сам выражался, был похож на трубочиста — от пороховой гари, в особенности за последние два дня бердичевских боев, когда им было выпущено в общей численности до тысячи снарядов.

Несмотря на табукашвилевские «наушники» и на старую артиллерийскую привычку, Щорс оглох на одно ухо и чувствовал, что у него виски словно молотками наколотили.

Скрипка Лиха и песни бойцов немного успокоили возбужденные, напряженные нервы, но баня, придуманная батьком, была еще целительнее музыки. Контуженную ногу тоже следовало понежить водой и паром.

После победы всем хотелось немного праздника и покоя. «Горе тому, кто не умеет отдыхать», — говорил Щорс. И Щорс и батько, зная это правило, часто давали роздых бойцам перед самым моментом боя, иногда чуть ли не под носом у неприятеля. И так распределяли силы в бою, что боевые единицы чередовались в усилиях. В то время как вступала в действие артиллерия, хоть на минуту успокаивалась напрягавшаяся пехота, дыша полной грудью и набираясь сил. А осатаневшую от напряжения артиллерию сменяла кавалерия — с тем, чтобы ее предельное усилие сменило новое напряжение пехоты, И только в тех случаях, когда дело требовало мгновенной развязки, красные командиры вводили их в бой одновременно, не считаясь с усталостью, — тут было не до того.

А в последних боях так и было.

Однодневный отдых, песни, пляски и баня должны были заново

возродить людей, восстановить их силы целиком, тем более что чувство удовлетворения победой, ежеминутно поддерживаемое все прибывающими и прибывающими с фронта трофеями, уже само по себе залечивало усталость.

Этот день отдыха, «день святого лентяя», как говорил Щорс, был, конечно, рискованным предприятием, потому что бегущего врага надо было преследовать без остановки, не давая ему опомниться. Но эту задачу выполнял сменивший Боженко Кабула, отдохнувший одну ночь в Чуднове, а завтра в Полонном сменил его Калинин, так что враг не заметит в панике и бегстве, что грозный противник преследует его уже только в половинном составе.

Петлюра бежал, а таращанцы спокойно парились в Бердичеве.

— Он и от нашего пару, как от орудийного жару, знай только пятки намазывает! — шутили бойцы.

Щорс еще утром написал письмо Кочубеям — Денису и Петру в Городню, прося у них подкрепления добровольцами.

Щорс вручил письма дожидавшемуся связному от Кочубея и немедленно лег спать, уставший до изнеможения, но с переполненной и успокоенной всеми событиями душой, разнеженный баней. Ему снились нигде не кончающаяся песня Паганини и волки с огненными глазами, то отступающие назад, то наступающие, Щорс сжимал в руках ручной пулемет, с которым спал в обнимку, и спросонья ему казалось, что он прижимает к плечу чудесную скрипку.

А светящиеся волчьи глаза все расширялись, расширялись и наконец превратились в огни приближающихся паровозов, мчавшихся прямо на него. И вдруг поднялся невероятный грохот, и Щорс проснулся.

Проснулся он от настоящего грохота. Он быстро вскочил и бросился наружу, на бегу уже соображая, что в руках у него не скрипка, а пулемет.

Прямо против него светились только что-то приснившиеся глаза паровоза. Видно, они-то и осветили окна вагона и лицо спящего, вызвав мгновенное сновидение, — как это часто бывает: снится целый год, а проходит одна секунда.

Это прибыл «Грозный», ходивший в разведку под Шепетовку.

Табукашвили спрыгнул с лестницы бронебашни, крича на ходу:

— Шепетовка наша! Но кавалерия не может ее закрепить, только мечется кругом. Немедленно нужно подкрепление пехотой. Линия не повреждена, я ее поправил в двух-трех местах. Прикроем бронепоездами.

— Сигналь сбор! — крикнул Щорс дневальному, и тот выпалил ракету.

Мигом все оживилось на вокзале. Засуетились бойцы, спавшие по

эшелонам. К Щорсу подбегали командиры.

— Идем на Шепетовку, — объявил им Щорс. — Выгружаемся не ранее Полонного. Пойдем на всех парах, под броневиками. Быть готовым к бою. Батько Боженко через Чуднов пойдет на Новоград.

Батько, раскидывая бурку, обнял Щорса, поцеловал его крепко и сказал:

— Розибьемо! Пидвези мене по залізници, а там я у поле — и рысью марш!..

Пока между Вапняркой — Баром — Старо-Константиновом — Шепетовкой зажималась в клещи одна половина петлюровских войск, другая половина войск директории — армия Коновальца — пыталась прорваться к Киеву от Житомира и Коростеня.

Группа войск у Коростеня была подчинена Богенгарду; но пока не прибыли на этот участок богунцы, на участке дарила невообразимая паника, внесенная прежде всего изменившим Струком, петлюровским перебежчиком. Как только Петлюра прощупал при помощи своих «струков и байструков», что в нашем тылу воцарилось благодушие и некоторые участки — и прежде всего северо-западные — оставлены чуть ли не без призора, он немедленно бросил армию Коновальца на это направление, развязав себе перемирием руки в Галичине.

Мало того, по договоренности с Пилсудским, он добился того, что и белополяки, сняв свои войска из-под Львова, перебросили их к Минску и шляхетский корпус Галлера обложил линию Ровно — Житомир.

Первый момент паники, когда и Коростень, и Житомир, и Бердичев были одновременно взяты и галичане по трем направлениям устремились к югу, — смешал и спутал все, что было первоначально в планах командукра.

Но теперь мысли его обратились к Первой дивизии и ее боевым командирам Щорсу и Боженко.

Однако, не доверяя «своенравному старику» Боженко в общей стратегии, его подчинили непосредственно Щорсу, единственному человеку, которому батько безусловно доверял и подчинялся. А собственно щорсовскую, наиболее дисциплинированную и вышколенную часть — богунцев — подчинили Богенгарду, командовавшему Одиннадцатым полком на коростенском участке.

Богунцы подошли к тетеревскому мосту у Ирши, когда неприятель, выведав через свою контрразведку, что идут непобедимые богунцы, решили отступить целой армией перед одним Богунским полком и взорвать за собою мост на Тетерева.

Бикфордовы шнуры догорали на мосту. Но богунцы бросились на

мост, затоптали дотлевающие шнуры под пулеметным огнем и как ни в чем не бывало оседлали спины бегущим в паническом страхе петлюровцам, не ожидавшим и от отважных такой смелости. Сам атаман Коновалец, по слухам, застрелился в этот же день. Во всяком случае, он исчез и больше не появлялся.

В течение недели богунцы разгромили Коновальцеву армию и вернули и Коростень и Житомир.

Апрельский разгром Петлюры так поднял доверие у широких масс к силам Красной Армии и советской власти, что вся Волынщина и Подолия поднялись в тылу Петлюры против его карательских экспедиций и пошли на него с вилами, кольями и топорами.

Богенгарду приказывалось преследовать противника бронепоездами и пехотой, причем главный удар направить на линию Черняхов — Житомир, заняв который продолжать преследование в сторону Новоград-Волынского. Покусу — наступать на линию Житомир — Кодня с целью отрезать противника от Бердичева. Щорсу — на Шепетовку, Крючковскому — на Каменец-Подольск.

Таким образом, все движение развивалось к Проскурову, как к исходной точке, и Щорс, изучая намеченное планом командования движение и наблюдая его развитие, полагал, что последнее, решительное сражение должно будет разыграться под Проскуровом, куда он и намерен был устремиться.

Однако если центростремительное развитие движения шло в направлении Проскурова, то центробежное забрасывало дивизию Щорса в Галицию, что было бы вполне целесообразно в случае революции в Галичине, где революционное брожение ни на минуту не затихало.

Вот для этой-то задачи Щорс и хотел отозвать к себе Дениса Кочубея, знавшего Галичину по империалистической войне и однажды в разговоре предлагавшего Щорсу план: связать Советскую Венгрию с Галичиной и перебросить в случае восстания галичанам оружие в нужную минуту через известные ему, как разведчику, в Карпатах горные проходы.

Но за это время произошло много событий, осложнивших первоначальный замысел и этот план. На сцену выступили провокаторы и заговорщики — боротьбисты, взявшие на себя «галицийский вопрос». Они успели предложить свои услуги украинскому советскому правительству, членами которого уже частично состояли.

Это обособление уже само по себе носило несколько демонстративный характер. Авантюра боротьбистов именно и заключалась в том, чтобы провокационно заострить национальный вопрос, обособляя его от

остальных краеугольных вопросов советской политики. И, совершенно естественно и неизбежно, были заброшены «особые люди» для провокации в Галичине и в армии — и прежде всего к Щорсу, чья дивизия двигалась вперед.

Кольца контрреволюции сплетались, как кольца змеи. При всей пестроте ее это была одна и та же гадина — «гидра контрреволюции», по образному выражению того времени. У нее действительно было много голов, у этой «гидры», но она была едина нутром в стремлении задавить большевиков и советскую власть — основу и опору революции.

Носила ли эта «гидра» три цвета царизма, два цвета директории, цвета Антанты либо анархии — все равно это была одна сжавшаяся в судорогах, сворачивавшаяся в кольца гадина, схваченная за горло рукою борющегося пролетариата в смертельный зажим.

Судорожные кольца ее охватывали страну по ногам и по рукам — по югу, востоку и западу, — стремясь захлестнуться на горле — на севере, у Петрограда.

Но самые сильные ее кольца охватывали Юго-Западный фронт.

Это было стремление перепоясать страну змеиным кольцом и перекусить ее пополам, оторвав от севера питающее его сырьем «нутро» юга, — разрезать могучий и единый в своей истории, в своем движении, росте и в своей судьбе и в своей неукротимой любви к свободе организм великой страны. На востоке стояли полчища адмирала Колчака, захватившего Урал и Сибирь. К красному Питеру рвался Юденич. С юго-востока шел Деникин, с юго-запада — при поддержке Антанты — Петлюра со своими приспешниками Григорьевым и Махно. Подымался новый союзник Петлюры, вассал интервенционистской Антанты — белопанская Польша.

В провокационной игре Антанты, маневрировавшей с поспешностью и сообразительностью азартного игрока, ставящего тут последнюю игровую карту, были учтены и испробованы все возможные ходы, способные на время задержать крах западного империализма, то есть задержать ход революции, идущей из России и перебрасывающей свой пламенный мост в другие страны.

И, развязывая галицийский узел, Антанта учла все и до отказа стянула петлю союза с обоими вассалами, подчиненными ее игре, — с Петлюрой и Пилсудским.

Одному она поставила непременным условием отказ от борьбы с поляками за Галицию ввиду необходимости борьбы с большевиками, а

другому дала попробовать лакомства в виде Прикарпатской Украины и сказала: «Скушаешь это, душечка, если будешь бить большевиков вместе со своим врагом, галичанами, и, конечно, только при таком условии».

Ослабление могучего соседа наполовину за счет своего же врага — галичан — было для пилсудчиков весьма выгодным и соблазнительным предприятием.

Вся эта авантюра могла, по мнению страдающей самомнением белопанской Польши, привести — а вдруг! — и к успеху, хотя бы частичному.

Некоторым панам болтунам удавалось подобно пану Заглобе, герою романа Сенкевича, увлечь своих собутыльников вымыслами об исторической миссии Польши в отношении Украины.

Таким «паном Заглобой» явился в данном случае генерал Галлер, решившийся на авантюру во имя Антанты.

И в тот момент, когда галицийские армии Оскилко и Коновальца были разгромлены бригадами Щорса и Боженко под Бердичевом, Шепетовкой, Житомиром и Коростенем, и в то время, как Петлюра, битый в хвост и гриву красными войсками, при подсказе и пособничестве боротьбистов стал извиваться и лгать, заплеывая собственное подлое имя выступлением от имени «Вапнярского ревкома Юго-Западного фронта Украины», якобы низложившего директорию, Галлер бросил своих молодчиков-легионеров, только что лупивших галичан, на поддержку уже разбитым красными войсками галичанам.

И только этот хитроумный и спешный ход перетрусившей Антанты да Иудина работа боротьбистов и прочей троцкистской сволочи, разваливавшей наш тыл, задержали еще на два года окончательную победу революции на Украине.

А в сущности борьба на Украине могла бы быть завершена именно в эти дни боев на бердичевском и коростенском участках. Щорс был прав, оценивая этот успех как генеральное сражение, выигранное красными войсками. Коварные и предательские замыслы Петлюры рушились, и он с воздвигнутых подмостков летел в пропасть.

Из всех шести армий, какие имел Петлюра, половина была разгромлена в бою в течение двух недель, а остальная деморализована неслыханным поражением, начавшимся у Бердичева и кончившимся у Шепетовки.

Паника галичан после этих боев была такова, что оставшиеся войска спасались бегством в эшелонах. На всех участках они удирали без оглядки.

Но тут уже не столько подлый слуга интервенции Петлюра, сколько

сама преподлая Антанта спешно взялась за дело.

Бегущих галичан задерживали идущие им на поддержку вчерашние враги, а теперь «союзники» — польские легионеры.

И никто был бы не в силах удержать галичан в этом паническом бегстве с большим успехом, чем вчерашние смертельные враги.

Легионеры не будут их больше бояться и перестанут вовсе считаться с ними. Кто ж станет бояться трусов? А галичане еще верили всерьез, что Петлюра их не обманывает и что замирение с поляками — временное, вынужденное лишь большевистской угрозой, что уступка половины Прикарпатья без боя — это лишь стратегический маневр. (Все-то у него были «стратегические маневры», у этой лисы, старающейся заметать хвостом свои воровские следы!).

Нет, показать себя трусами перед поляками галичане никак не могли. И они остановились, добежав почти до собственных границ. И это было безусловно успехом «стратегического плана» Петлюры. Но это же могло стать и непоправимым осложнением. Галичане могли теперь понять, что пилсудчики уже хозяйничают над ними: с одной стороны, они без боя заняли Прикарпатье, а с другой — и здесь командуют ими, как своим быдлом, высылая их в авангарде для принятия первого удара большевиков.

Столкнувшись с галлерчиками под Житомиром и сообразив, какое положение сложилось у галичан теперь, Щорс решил расшифровать перед галичанами авантюру Петлюры, тем более что к этому времени сам собою напрашивался ответ на низкий вызов Петлюры, сам по себе, впрочем, не стоивший внимания, если бы не этот довод.

РЫЖИЙ

В день взятия Житомира приехал вместе с партизанами-добровольцами, привезенными им для родной дивизии с Черниговщины, Денис Кочубей, с которым еще несколько месяцев тому назад, когда он уезжал в тыл, Щорс договорился о его роли в галицийском вопросе.

— Вот там-то ты нам и пригодишься. Не журишь, что останешься в тылу, — утешал Щорс Дениса, огорченного когда-то своим откомандированием в тыл из боя. — Сейчас ты именно здесь нужен. А я тебя затребую, как только разовьем дальнейший успех на галицийском направлении.

Он коротко рассказал Денису о ходе боев.

— Садись и сразу пиши ответ Петлюре. Почитай вот это и строчи. А потом — несколько воззваний к галичанам, — сказал Щорс. — Кстати, я тебе дам в помощь одного галичанина, послал его нам центр. Он член галицийского повстанкома и, кажется, член тамошнего ЦК. Договорись с ним. Ну, садись и пиши. Ты ведь и на слово мастер. Напиши порезче, я потом отредактирую. Мы сегодня же это сбросим с аэроплана. Ты знаешь, брат, у нас теперь семь исправных аэропланов. У нас теперь крылья выросли.

Щорс вышел, оставив Дениса за письменным столом. Денис немедленно принялся за письмо.

«ВОЗЗВАНИЕ К ГАЛИЧАНАМ

Окровавил Петлюра поля Украины вашей кровью, галичане; оторвал от боя с белопанами за родные Карпаты и Прикарпатье и, продав вашу родину польским панам, повел на братоубийственную войну с крестьянином-бедняком, вашим братом украинцем, борющимся за свою свободу против подлого предателя. И повел на погибель, предавая поцелуем, как Иуда. — писал Денис свое воззвание.

Дверь отворилась, и кто-то вошел. Денис, не ожидавший никого, кроме Щорса, не оборачиваясь и продолжая писать, сказал:

— Вырвем мы галичан из той щучьей пасти! Дудки!

Но вошедший не отвечал; он как будто замер у двери. И Денис, еще не оборачиваясь, почувствовал в этом человеке затаенное коварство и подозрительность. Денис оглянулся и, посмотрев на него, вспомнил одного своего учителя гимназии, оказавшегося впоследствии провокатором

царской охраны. А когда незнакомец ближе подошел к столу, он оказался похож на того учителя так, как будто были они родные братья. Тот был рыж, как этот. Рыжина обоих была неприятная, похожая на ржавчину, у того и у другого — красное прыщеватое лицо и зеленые глаза, как окись на медной посудине. Денис сейчас вспомнил, что Щорс говорил ему уже о Рыжем. И вдруг ему пришла на ум песенка, которою школьники дразнили того учителя: «Как однажды из Парижа выезжала морда рыжа».

Ему неудержимо захотелось продекламировать гостю эту песенку. И, удерживаясь от этого желания, он внезапно спросил:

— Вы не из Парижа?

Гость поднял изумленно брови и будто вздрогнул.

— А какое это имеет отношение к нашему делу?

Видно было, что неприязненное отношение к нему Дениса уловлено им и раздражает его.

— Мне почему-то показалось, — ответил Денис.

— Я, собственно, пришел к Щорсу. Но он сказал мне, что вы здесь взялись писать листы до галичан.

— Да, я пишу листы до галичан. А вы-то тут при чем? — спросил Денис, припоминая, что говорил ему Щорс, должно быть, именно о нем, об этом человеке, и что было в тоне его что-то такое, что не оставляло впечатления доверия.

— То есть как — я тут при чем? А я при том, что ведаю здесь всем этим делом по поручению украинского правительства, — заявил Рыжий.

Денис поглядел в глаза Рыжему, насмешливо улыбаясь, и заметил в них огоньки заискрившейся неукротимой ненависти. Неизвестно, чем бы закончилась эта сцена, если бы не вошел Щорс.

— Ну, давай... что ты там написал? — Щорс уселся за стол и, прочитав набросок, сделанный Денисом, сказал — Правильно, но надо прямее, резче и с чувством юмора.

Он написал по-своему и промел обращение к Петлюре вслух:

«ОТВЕТ ПАНУ ГЕТМАНУ ПЕТЛЮРЕ

Мы, богунцы, тараканцы и другие украинцы — казаки, красноармейцы, — получили твое похабное воззвание.

Как встарь запорожцы султану, так мы тебе отвечаем.

Был у нас гетман Скоропадский, сидел на иноземных штыках, сгинул, проклятый.

Новый пан гетман объявился — Петлюра.

Продал галицийских бедных селян польским панам, заключил с панами-помещиками мир.

Продал Украину французским, английским, греческим, румынским щукам, вошел в союз с ними против нас, трудовых бедняков Украины. Продал родину-мать. Продал бедный народ.

Скажи, Иуда, за сколько грошей продал ты Украину?

Сколько платишь своим наймитам за то, чтобы песьим языком мутили селянство, поднимали его против власти трудовой бедноты?

Скажи, Иуда, скажи, предатель, — только знай: не пановать панам больше на Украине!

Мы, сыны ее, бедные труженики, головы сложим, а ее обороним, чтобы расцвела на ее вольной земле пшеница на свободе и сжата была свободным селянством на свою пользу, а не жадным грабителям-кровососам, кулакам-помещикам.

Да, мы братья российским рабочим и крестьянству, как братья всем, кто борется за освобождение трудящихся.

Твои же братья — польские шляхтичи, украинские живоглоты кулаки, царские генералы, французские буржуи.

И сам ты брехлив и блудлив, как польские шляхтичи, — мол, всех перебьем.

Не говори «гоп», пока не перескочишь! Лужа для тебя готова, новый пан гетман буржуйский французской да панской милостью.

Не доносить тебе штанов до этого лета!

Уже мы тебе бока намяли под Коростенем, Бердичевом, Проскуровом. Уже союзники твои оставили Одессу.

Свободная Венгрия протягивает к нам братские руки. Руки ограбленных панами крестьян Польши, Галиции тянутся к горлу твоему, Иуда.

Скоро ли ты, Иуда, повесишься? Удавись, собака!

Именем крестьян, казаков, украинцев — командующие красными казаками: Щорс и Боженко».

Денис невольно захохотал.

— Ты чего смеешься? — спросил Щорс.

— Над Петлюрой же смеюсь, — сказал ему Денис. — Это здорово!

— Ну, как, по-вашему, это звучит? — обратился он к Рыжему.

— Я полагаю, что все это фамиллярно и весьма несерьезно, — сказал Рыжий.

— По отношению к кому фамильярно, я что-то не совсем понял? — перебил его Щорс.

— Вообще фамильярный, несерьезный тон. Я не понимаю, как вы, начдив, решаетесь под этим подписываться?

— Но ведь подписывался же под грамотой турецкому султану гетман Запорожского войска Сирко, — улыбнулся Щорс, надеясь, что до Рыжего «дойдет».

— Нет, он не подписывался; и вообще такого письма не существовало. Это последующий литературный миф.

— Ах, вот как, миф? Да ведь и Петлюра же миф — правда, поганый, — так что это как раз ему по масти.

— Ну, тогда это плагиат. Вы вольны поступать как вам угодно и подписываться под чем угодно, но я бы счел это неуместным и со своей стороны... отказываюсь.

— А это уместно? — протянул Щорс письмо Петлюры.

— А здесь нет подписи Петлюры, и я уверен, что письмо написал какой-нибудь Зеленый, а не Симон Петлюра.

«Симон Петлюра! — подумал Денис. — Как пышно».

— А как его отчество? — спросил он вызывающе.

— Я не знаю или позабыл его отчество. Он известен как Симон Петлюра.

— Серьезный вопрос! — ядовито заметил Денис.

Рыжий не удостоил его ответа. Он мягкими шагами подбравшего когти кота прошелся по кабинету, трогая поочередно разные вещи в комнате и как бы обдумывая выход из создавшегося неловкого положения.

Щорс поднялся со стула, на который он внезапно присел, несколько озадаченный неожиданными высказываниями Рыжего.

— Так, значит, и не договорились с Кочубеем? — спросил он его. — Ну, не беда, завтра поговорим. Мне сейчас, извините меня, некогда. Да и Кочубей, видно, устал с дороги. Я думаю, ваша роль должна будет заключаться в организационной работе по связи с Галичиной. У меня такое впечатление, что у вас больше склонности к работе оперативной. Литература, по-видимому, не ваша специальность.

— Совершенно верно, — поспешил согласиться Рыжий, понявший, очевидно, что этим заявлением Щорс безоговорочно отстраняет его от дальнейшего вмешательства в дело агитации и пропаганды.

ТРОФЕИ

— Как быть, батько, с трофеями? — вошел в штабной вагон комендант Казанок. — Всю станцию эшелонами запрудили. Куда сгружать будем или... как ваше приказание?

— Разберись, Казанок, сам с Филей, а мне потом доложь. Вишь, мудреное дело! По-хозяйски: что полегче да поутюжней — оставить, а остальное прочее, где что в неполадке, у Киев отправить. Да эшелоны чтоб гнали потом обратно что буде силы коменданты. Ну, чтобы н пробку не сочинять, бо уже известно тебе, как я тую пробку выбил у Бердичеве: расстрелял ту сволоту, что нам тут пути загоразивала. Для того я вас, коменданты, и уполномочил. А вы ко мне для чего являетесь?

— Ну как же без бумаги, отец? — замялся Казанок. — Как бы сказать — стоит бумаги такое дело!

— Не надо никакой бумаги. Перед кем будешь тую форсу подсчитывать? И есть у нас с тобой время на тые дела? На то в тылу канцелярия имеется. И опять же в одно хозяйство те наши достатки — не на базар у распродажу вывозим, а у одну коммунию. Там у Киева знают, па каку старуху проруха, — туды и направляют, Опять же починка требуется, а у нашей армии, как известно, нужда по всяк день: кто без колес, кто без штанов, а кто и без винта^[35], «без дужки та без пушки». Не наша то забота — починое дело: на то есть интендантство. Забрали свое у грабителя — и вертай добро до дому: там хозяин знает. Ну, коли начштаб в носу колукает и коли других делов ему нет, пуцай те трофеи записывает. Вот мой ему весь сказ...

Батько махнул рукой и склонился над картой.

Казанок ушел, усвоив батькины доводы и подсмеиваясь над начштабом заранее, — как он теперь ему по-своему батькину резолюцию преподнесет.

Разнокалиберные паровозы тащили через бердичевский узел боевую таращанскую добычу, и казалось, ей и края не будет. На открытых платформах — автомобили, гаубицы, легкие пушки, артиллерийские снарядные ящики, седла, рваная сбруя, двуколки, наваленные как попало палатки. Дальше идут санитарные поезда с ранеными и теплушки с пленными, выглядывающими из верхних окон в своих смушковых шапках с нелепыми синими и желтыми «шлыками», напоминающими одежду скоморохов.

Они сами смешны себе сейчас в своем маскарадном убранстве и с завистью глядят на простецкое обмундирование красных бойцов, чувствующих себя не в театре и не на маскараде, а у себя дома.

Один этот вид и деловое, озабоченное настроение их да внезапно прорвавшаяся песня и пляска заставляют пленных киевских, волынских и подольских мужиков позавидовать своим красным братьям, живущим «без кумедии».

Следом идут конвоирующие и конвоируемые бронепоезда и блиндированные площадки. Все это подвигается медленно через станцию и иногда останавливается, как похоронная процессия, продвигающаяся в густоте уличного движения.

В санитарные поезда погрузили прежде всего раненых, остальных везут в теплушках.

Вот проходят могучие плененные бронепоезда. Они повреждены: на некоторых испорчены автоматические механизмы и сбиты замки у орудий, их надо ремонтировать. Но, даже раненные смертельными ранами, они производят внушительное впечатление и идут, как больные слоны, тяжело качая огромными серыми ушами панцирей и хоботами орудий.

Разнообразные звуки смешиваются друг с другом: гудки и свистки паровозов, крики распорядителей, ругань, угрозы, смех и песня, стоны раненых. Комендант Казанок с комендантом Братнюком и новым комендантом станции, только что назначенным батьком, действуют согласованно в одном: разгрузить станцию как можно скорее.

Они метят условными крестами и цифрами продвигающиеся составы и разводят их по разным сложным линиям путей, пропуская прежде всего санитарные поезда и поезд с пленными, а затем уже поезда с поврежденными трофеями.

Неповрежденные трофеи снимаются и переносятся в отдельный эшелон, стоящий в тупике, а там Филя при помощи набранной им «бригады хозяйственного содействия» метит по-своему трофеи и слишком громоздкие отправляет на Киев, а что нужнее и легче — оставляет себе.

Но и самых завидных трофеев очень много. Ему приходится, почесывая затылок, с ними расставаться.

— Эх, будь у нас армия, все бы у нас осталось при деле! Людского состава не хватает для всей амуниции! И много ж народу еще задуренного: кто у Петлюры замазался, а кто под печкой сховался. Пока морду кровью не утрешь, ты с него темноты не снимешь; без того с ним не связывайся. Просто дома бабится, собачий сын, и ждет, что Филя, к примеру, совместно с папашей ему, холере, все удовольствие и свободу предоставят...

— Да не «Филя с папашей»! Что ты на себя берешь, хрен? Подорвешься, ерой ты серый, еще! А примером — тараща с папашею да Щорс с богунией!..

— И то врешь: Щорс теперь вовсе не с богунией, а с таращей, — ревниво оспаривает Филя первенство своей «таращи».

— Да ты не мели, а ставь два нули! — острит третий, отмечая крестами и нолями, куда идти трофеем: в Киев или вслед за папашей, обратно в бой.

Этот день положен для роздыха Четвертого полка таращанцев — «Калининского», как здесь его называют по имени его командира, — и для приведения в порядок железнодорожного узла и для разгрузки трофеев. Другой полк — Кабулы — все еще находится в сражении, в стороне Шепетовки; он-то и поддерживает тыловой обход и удар кавалерии — сводной конной бригады червонных казаков и гребенковцев.

Собственно, никаких двух полков еще нет: полк Кабулы еще не доформирован из-за того, что постоянно находится в сражении, и состав его пока случайный, пополненный временно сведенными частями других полков» Девятого и Десятого, но Боженко уже со Жмеринки назначен бригадным, и ему поручено развертывать свой Второй Таращанский полк в бригаду, и прежний Второй Таращанский полк называется теперь Четвертым.

Для пополнения этой бригады он и послал «месте с Щорсовым посланцем своих ходоков не только к Кочубеям на Черниговщину, но и к себе на Киевщину — в Таращу, к старому приятелю Гребенко, в Золотоношу, в Канев и другие партизанские места — за добровольцами.

По сведениям, добытым Щорсом от взятых им атаманов и генералов, и проверенным сообщениям своих разведок, разбиты наголову Черноморский и Заднепровский корпуса Петлюры. Остается еще Шестой, который и сопротивляется у Новоград-Волынска и Шепетовки,

Взято среди прочих трофеев двенадцать бронепоездов противника, из которых четыре в полной исправности и два — с небольшими повреждениями орудий. Два бронепоезда свалены под откос. Их неповрежденные части пригодятся для починки остальных — и над опрокинутыми броневиками копошатся бойцы, артиллеристы и слесари.

Самое главное сейчас для армии — обувь. И таращанцы без церемонии разули пленных и обулись сами. Пленные едут в Киев в тряпичных обмотках, в лаптях и в деревянных башмаках — «христосиках». Обувь в эти дни весенней распутицы чуть ли не дороже патронов, потому

что «обутый боец и штыком пробьется, а разутый и при орудии — пешка», — как говорит батко, заботящийся о бойце больше всего. Товарищи, в зависимости от обстановки и характера случая, сами проучают обувных барахольщиков.

ПОД ШЕПЕТОВКОЙ

Щорс вместе с батьком целое утро изучали положение на фронтах. Косым клином врезалось наступление в разломанный неприятельский фронт. Противник отступал по всем линиям железных дорог.

Справа от Коростеня па Житомир выдвинулась богунская бригада. Слева — надо сейчас ударить на Новоград-Волынь и, соединенным кулаком разгромив неприятеля в этой точке, разойтись на Ровно и Шепетовку,

И назавтра Щорс решил наступать сам в сторону Житомира кавалерией Пятого полка, при поддержке броневика, сбросить неприятеля с житомирской линии и преследовать его от Житомира на Ровно по Брест-Литовскому шоссе. А батько должен пойти через Высокую Печь и Барановку на Новоград-Волынь, так как Кабула согласно приказу изменил свое направление и пошел сегодня же по линии железной дороги к Шепетовке — на поддержку и закрепление флангового удара кавалерии.

Под Новоград-Волынском сдалась батьку, перейдя с оружием в руках на сторону красных, галицийская бригада Овчаренко. Сам Овчаренко подъехал и, салютуя батьку саблей, заявил, что он отлично помнит и его и Дениса Кочубея; он помогал Кочубею еще в Городне, до подхода тарашанцев, разоружать гайдамацких генералов Иванова и Семенова, был в штабе у батька, на заседании в селе Жабчичах, в качестве делегата перед занятием Городни. Тогда он вынужден был отступить от Городни, не имея полномочий атамана Палия на соединение с Красной Армией; он еще не понимал, дескать, многого, но теперь, приглядевшись ко всему, решительно и бесповоротно переходит на сторону красных войск.

— Оружие Кочубеево увез? Помню! — отвечал ему батько. — Вам стало способно сдаваться, когда я вам морду набил до второго пришествия. Что-то я тебя в своих особых знакомых не приметил. Ну, да ладно, не разоружаю — посмотрим! Но если вы, стервы, измените еще раз, не будет на вас пощады, всех вас порубаю дочиста.

Батько захотел лично переговорить с перешедшими стрельцами галичанами, и для того устроили специальный митинг в Новоград-Волыньске.

Он объяснил им советскую политику и сказал, что Красная Армия стремится освободить свою родину от угнетателей и что она протянет руку всякому угнетенному народу, который захочет своего освобождения и

обратится к Красной Армии за помощью, что ему уже давно жалко было уничтожать обманутых галичан.

— Вы ж наши братья украинцы, — говорил батько. — Добро пожаловать! Побачим, як вы будете быты того пана-шляхтича, що хоче заполониты народ украинський! Часть галичан — кому охота — будет передана в богунскую бригаду, а часть останется при мне, при таращанской бригаде.

Галичане кричали: «Слава!» Но батько с таращанцами, перекрикивая галичан, заставил их кричать: «Ура!»

— Вашей петлюровской «славы» нам не надо, — сказал батько. — Мы уже бачили, яка то ваша «слава»! Быты эту проклятую петлюрню, быты шляхту — ото ваша слава!

Овчаренко ссылался на галицийский повстанком: мол, было от него воззвание к частям и обращение лично к нему и другим командирам, что надо ждать на днях перехода на сторону красных и других галицийских частей. Он называл при этом номера и назначения этих частей, их численность и местонахождение.

Все же у бойцов и у самого батька осталось впечатление, что не было настоящей искренности в этой добровольной сдаче, и разошлись с митинга таращанцы и их командиры с чувством настороженности к новоявленным «побратимам», как называли себя сдавшиеся.

Кабула должен был выступать с двумя таращанскими батальонами и Девятым полком к Ново-Мирополю на смену отошедшему временно в резерв Калинину и развивать начатое последним движение к Шепетовке. И ему, как Щорсу и Боженко, ввиду прошедших победоносных боев и взятых огромных трофеев, казалось, что враг не только сломлен, но и разбит и что будет легко разгромить его у Шепетовки.

Однако это было не совсем так. Группа петлюровских войск у Шепетовки была центральной; здесь находились и резервы.

У Полонного, у речки Хапоры, столкнулся с противником Кабула. Несогласованность действий ударной бердичевской группы, оторванной от фланговой кавалерийской, не дала возможности одновременно произвести окружение и дать бои с полной координацией действий. И только стихийно потом сложилось так, что этот бой был все-таки выигран. Большую роль в этом сыграло моральное превосходство красных войск.

Враг чувствовал себя как в мышеловке, а у страха глаза велики. Враг преувеличивал количественную силу наступающих, так как они действовали как бы все вновь и вновь набегающими волнами — по щорсовско-боженковской тактике обязательного роздыха и смены в бою.

Ночью Кабула с боем занял Полонное. Утром конница противника, поддерживаемая сильной пехотой, стала обходить красные части с запада. Ее движение было сначала принято ночными разъездами за движение нашей рейдирующей конницы. Но когда враг пошел в наступление, Кабула понял свою оплошность.

Спасло Кабулу еще то, что часть Пятого кавалерийского полка, случайно задержавшегося до отхода на житомирскую линию в Чуднове, была повернута Щорсом вслед Кабуле, и он мог теперь защищаться ею с правого фланга, откуда обходил неприятель кавалерией.

Неприятель, чувствуя свою погибель, шел в последний бой, произведя колоссальные разрушения по линии Шепетовки. Он гнал на Полонное пустые эшелоны и сам разбивал их своими бронепоездами, баррикадируя путь нашим бронепоездам и эшелонам.

Кабула, спокойно работавший саблей в рубке с неприятелем и в самом горячем бою, тут расsvирепел.

Кровавый бой, принесший ему победу, лишил его чуть не половины только что составленного Пятого полка. Но Шепетовку он все-таки взял и опять здесь встретился с Гребенко. И опять он наговорил ему упреков со зла за то, что Гребенко «осмелился», взяв Шепетовку еще два дня назад, бросить ее, в то время как с запада шел к нему на подмогу Кабула, стремясь закрепить успех кавалерии.

— Постоянно ты мне тютюну^[36] в очи засыпаешь. Черт тебя знает, где тебя носит, что ты с моей совестью играешься! И даю тебе святое слово, Кабула, что в следующий раз за такие попреки я тебе уши посбиваю в мокрое.

И только потому смирился Гребенко, что был Кабула прав правой победителя.

Однако ж, взяв Шепетовку, Кабула вынужден был также ее оставить и отойти из-за малочисленности своей поредевшей части. У кавалерии была задача — идти на юго-запад, произведя этот глубокий рейд в помощь ударной бердичевской группе, на которую возлагалась задача закрепления этого ответственного и центрального направления.

КАЛИНИН В БЕДЕ

Победоносность похода вселяла в бойцов уверенность и дерзость. Бываете что упоение успехом родит беду. Так случилось и тут.

Батько Боженко при всей своей дерзости и отважности постоянно все же оглядывался по сторонам. А куда холоднее и рассудительнее батька был в бою его помощник, комполка Калинин.

И если любил батько обоих своих помощников — Калинина и Кабулу — одинаково, так именно потому, что в этих двух противоположных натурах он видел отраженными две различные черты собственного характера. Если Кабула был отражением бурной, лихой части его природы, то Калинин воплощал его рассудительное спокойствие,

Как же вышло, что спокойный и выдержанный Калинин вдруг зарвался? Может быть, просто случай подстерегал бойца? Во всяком случае, Калинин, конечно, был способен скорее рисковать собой, чем своими бойцами, и под Рогачевом так и получилось.

Пока подвигался полк, Калинин решил с одним кавалерийским взводом форсировать речку Случь, чтобы не дать противнику перейти ее у Рогачева, задержать его на том берегу неожиданным налетом и подставить под удар наступающей по правому берегу пехоты, основной группы Боженко,

Это был рискованный маневр. Все зависело от быстроты и внезапности. Кони были лихие, и Калинин понадеялся на это. Во взводе с ним был и скрипач Лихо, только с «люйсом», а не со скрипкой на плече.

— Говорят, что цыганская натура дождь чует, как он еще под землей ночует, — шутил, скача рядом с Лихо в одном звене, весельчак Тихоня.

Собственно, его фамилия была Кихоня, а звали его Тихон, но он был так шумлив, болтлив и весел, что бойцы прозвали его в насмешку «Тихоней».

Он потому и пристроился к цыганскому звену, что цыган мог являться постоянной пищей его остроумию.

— А говорят, Лихо, что когда ты свою песню папаше сыграл, то папаша аж захрапел — так сильно он сволновался, что не выдержал характеру.

— Да тише ты, Тиша! Чего ты к Лиху причепился? То тебе про дождь, то про погоду!

— Да я на него гляжу, — не унимался Тиша, — и такое у меня

предчувствие на сердце западает. Он, волчья масть, не иначе как наше горе чувствует, вот я и хочу допытаться: кому из нас жить, а кому голову сложить! Эй! Лихо! Погадай, чи мы живы будем, чи нас галичане на капусту срубают.

Не успел договорить Тихон своей последней насмешки, как покачулся на седле и упал под копыта коней внезапно налетевших из темноты всадников. Ударили они с тыла, из леска, где засели в засаде.

— Стой! — кричали кавалеристы-петлюровцы, вынырнувши из темноты.

— Не сдавайся, ребята! Руби их, гадов! Наши вслед йдут! — кричал Калинин, рубясь направо и налево.

— Этого живого бери, то ихний командир! — зашумели окружавшие Калинина всадники и набросили на него аркан.

Но Калинин был крепыш — что ему веревка! — он понатужился, и аркан лопнул.

Потащивший было его на аркане петлюровец почувствовал, что аркан ослабел и не натягивается: пропал пленный. А Калинин уже залег за убитого Тихонова коня и стрелял из его «люйса».

Калинин стрелял и слышал в темноте, что еще кто-то стреляет невдалеке по мечущимся всадникам.

— Лихо! Ты живой, что ли? — крикнул он в темноту.

— Живой покеда! — отозвался кто-то слева от него.

— Ну, значит, наша возьмет! — ободрил его Калинин. — Только береги патроны; пока наши подспеют, держаться будем!

Вдруг Калинина ударило что-то в голову, и он свалился без чувств...

Очнулся Калинин утром, в сыром подземелье. Его и еще двух раненых бойцов бросили сюда, избитых до полусмерти. Видно, притащили на аркане всех.

Товарищи Калинина о чем-то говорили. Темно было.

— А кто тут со мной? — крикнул Калинин в темноту.

— Должно, товарищ Калинин говорит? — откликнулся один из них. — Это вы, товарищ командир? Значит, живой? Это мы — Соя Степан да Павлуша Лобода, эскадронный.

— И ты здесь, Лобода? И Стенька? Вот, брат Стенька, и прижали нас к стенке! А где же Лихо? Неужто убили?

— Да нет, не должно быть, товарищ Калинин. Вот про то мы и говорим — чи не он ли тое дело судобил?

— А какое?

— Або я видел, або то мне приснилось; ну, кажись, что был на той момент я еще при полной памяти. Як раз я слышал, как вы его кликали, а

потом я вас стал кликать— нет, не слышать. Ну, думаю, как есть, значит, точку поставили над вами. И вот вижу — конь на меня летит, на коне сичевик сидит, а под брюхом у коня еще что-то шевелится. Потом вижу — конь назад идет. Я прицелился по галичанину. Еще и курка не спустил, а он с седла, глядь, плывет на землю, а на его место какойсь-то черт с-под конского брюха — брызь! Ну, думаю, все понятно: значит, наш джигит причепился, не иначе Лихо. «Вертай! Скачи, сповещай папашу!» — кричу. «А то и я думаю!» — крикнул он мне, и сдавалось мне, что то Ли-хин голос. И теперь мы тут вот и задумались: не иначе как то Лихо под брюхо галичанину на полном ходу причепился, да и спорол его кинжалом. И коли то справди, то донесет папаше про нашу беду. Абы только зараз не срасходовали нас до сроку, бо мабуть уже солнце сходит. А как еще мало-мало пройдет время, то папаша, конечно, за нами сюда прискочит, особливо почуявши про ваше исчезновение, товарищ Калинин.

— До батька, коли так, он доберется, и батько сюда беспременно приспеет — это да! Только нам надо день проканителить. Но что бы с нами, товарищи, ни делали те гады, мы только одно и можем, что плевать в их поганую рожу. А как у вас ноги, руки — свободны?

— Вот то-то оно, что не свободны!

— А что, если друг у друга зубами веревки перегрызть? — предложил Калинин. — На батька, как говорится, надейся, да сам не плошай! А ну-ка, подползайте ко мне кто ближе, братва.

И стали избитые бойцы сползаться друг к другу в узком колодце подземелья. На этом деле проверили себя: кости целы. Сползлись, стиснув зубы; тело побитое — как каменное, неповоротливое стало. У Калинина голова клинком порублена, но крепок череп либо скользнула сгоряча шашка, кожа с волосами и с кровью висит над ухом, а башка цела.

Грызет Калинин Степанову веревку, а Павло Лобода — веревку Калинина, кто скорее перегрызет. Но не успели они распутаться, как потянули их на веревках наверх из колодца, выволокли во двор и повели на допрос.

— Пошли вы к чертовой матери, гады полосатые, продажные тварюги! — кричал Калинин в ответ на требование от него предательства. — Это вы, суки, привыкли продаваться, а мы не продаем своей свободы.

И били Калинина чем попало — и по лицу, и в живот, и в ребра. Разорвана на нем была одежда, и потому нельзя было узнать в нем знаменитого командира, а то бы хуже еще пришлось ему. Но и эти последние лохмотья на нем оборвали и оставили его голым, как мать

народила. Так же поступили и с остальными, не добившись от них ничего.

— Отведите их и расстреляйте где-нибудь на помойке! — распорядился начальник. — А впрочем, нет. Прогоните их голыми по городу и расстреляйте на базарной площади для показа.

И шли по площади трое людей — обнаженных, искалеченных, но гордо и вызывающе посматривающих на мир из-под разбитых бровей. Их окровавленные лица были грозны и отважны.

Забыли петлюровцы осмотреть хорошенько веревки, стягивающие руки бойцов. Погрызенная зубамя Стеньки веревка, стягивающая руки командира, лопнула, когда поднатужился Калинин изо всей силы теперь, перед смертельной опасностью.

И разом полетели на землю под его кулачищами трое стрельцов, и три винтовки очутились в руках присужденных к смерти; быстро разрезал Калинин захваченной саблей веревки на своих мужественных товарищах.

Порубив конвоиров, вскочили они, голые, на коней, брошенных коноводом.

Не успели они выехать из города и не успели за ними открыть погоню враги, а уже навстречу им мчался сам батько... Добрался-таки до него Лихо!

Шел он, прорвавшись через мост у Рогачева сабельным боем, в неистовом азарте. Никогда не видел Калинин своего батька страшнее, чем в тот час. Весь черен он был, и, казалось, весь он состоял из гнева и непоколебимой, огненной мести. Когда завидел он скачущих к ним трех голых всадников, то сорвал на ходу с себя бурку и, съехавшись с Калининым, крикнул, обнимая его и покрывая буркой его наготу:

— Молодец, сынку! Ничего, що голый, добре, що живой. А що побытый, то горя мало! Бувае, всяко бувае. Вертаймось, дамо гадам чосу!

И действительно дал врагам батько «чосу». Никого не пощадил он в Рогачеве; кто только попался там в петлюровском военном обмундировании, всех изрубил.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ТРАГЕДИЯ



Доброе имя должно быть у каждого честного человека, лично я видел это доброе имя в славе своего отечества.

А. Суворов

ВЕСТНИК БЕДЫ

Был майский теплый день. Солнце ласково и тепло поглаживало тарасанцев, с беспечностью привычных победителей идущих в бой.

Вон промчались тачанки с любимыми батюкиными пушками «гочкис». Это означало, что где-то неподалеку разгорается сражение.

Пыль от унесшихся вперед эскадрона и батареи еще светила в солнечных лучах.

Трудно было догадаться, что вышедший на крыльцо медлительный, суровый старик в белой вышитой рубахе, под пояс, и есть командир, только что пустивший с такой стремительностью в бой эскадрон и легкую артиллерию.

К крыльцу, на котором он стоял, подводили буланую лошадь, кокетливо гарцующую на узде.

— Смирно! Стоять! — крикнул батюка не то на своего коня, не то на проходившую колонну пехоты. Но и лошадь и колонна остановились, услышав батюкино повеление.

Ординарец набросил бурку ему на плечи.

Батюка вскочил в седло и махнул рукой:

— За мной — аллюр!

В то время как батюка выезжал на позицию, стоявший у крыльца его квартиры эскадронный Лоев, только что прибывший из киевского лазарета и не решившийся даже поздороваться с батюком и отрапортовать ему о своем возвращении в строй, вдруг сорвал с себя фуражку с малиновым околышем и скомкал ее, как будто она была виновницей беды. Бросил ее и крикнул:

— Филя, коня!

— Так откеда ж я тебе его, ваше конское сословие, представлю? — спросил озорно Филя.

— С папашиной конюшни. Что ни на есть первейшего коня, говорят тебе, даешь!

— Ты что, пьян или прикидываешься? Или тебя черною болезнью сконтузило, что ты не выдержишь дисциплину? — отвечал эскадронному Лоеву, рассердившись, Филя.

— Как есть угадал про черную болезнь. И ты ж ею заболеешь, как я тебе скажу, какое нас постигло горе!

Это так было сказано, что Филя, покосившись на Лоева, вдруг

почувствовал каким-то инстинктом, свойственным всем преданным существам, что дело касается самого батька. Филя нагнулся, поднял с земли измятую фуражку Лоева и напялил ему на голову, приговаривая:

— Да какое же горе? Не для папаши ли какая не-счастья?

— Как есть для него, — вымолвил Лоев и повторил еще настойчивее и взволнованнее: — Филя! Коня!.. Не должен отец погибнуть в сражении сегодняшнего дня, не узнавши своего горя. А должен он за него помститься и безвинную кровь залить вражеской кровью на поле сражения от своей руки.

Так говорил эскадронный Лоев, подтягивая вместе с Филей широкие подпруги и садясь на второго батькового, в белых яблоках, коня — Орла, самого любимого его коня, ходившего под ним еще с первых боев за Стародуб и Городню.

— Да ты толком, Степан! Не бросай ты меня без понятия, посовестись, скажи, ведь я тебе под свою голову командирского коня отдаю. Не дурачь ты меня дурными словами!

— Горя не скажешь и умными словами, и не могу я тебе — и никому другому — первому открыться: первое мое слово должно быть — ему!

— Вот тебе, напасть ты лихая! — чесал затылок Филя. — Погоди ж, и я за тобою зараз, рысью марш! При таком обстоятельстве — что нам штаб и что нам квартира!

И Филька вскочил на неоседланного Фонтана, или Фонтала, как он сам называл своего коня, и «учепився за хвист» Лоеву, уже вылетевшему на Орле за околицу.

Лоев скакал вдогонку за развевающейся буркой разгоряченного сражением старика. Батько увлекся преследованием и сам уже не замечал того, что отбился от своего эскадрона.

Но вдруг галичане, разом обернувшись и подняв шашки над головами, бросились на одинокого преследователя.

Да не тут-то было! Лоев и Филя, откуда ни возьмись, ударили всадников сбоку и, сбив их неожиданным ударом с коней, порубили всех пятерых, повернувшись было на Боженко...

Старик стоял и сопел. Он молча и с видимым удовольствием глядел, как деловито сострунивали его защитники вражеских коней и нагружали их амуницией, как спаренные Орел и Фонтан грызали друг друга по привычке и Филя крикнул им обычное:

— Эй, не жеребись, холера, стоять!

Старик глядел исподлобья на Лоева, и странное недовольство вдруг вскипело в нем, казалось бы — без особых веских причин.

— Ты что ж, откуда здесь? А? В строй без спроса затесался? Почему на моем Орле?.. Филя, а тебе кто раз решил, чертова банка, в бой являться? Кварту и имущество штабное ты на кого оставил, яловый корень?

Батько ворчал сгоряча, не давая себе отчета в том, что только особые обстоятельства могли заставить эскадронного Лоева оседлать Орла, а Филю — бросить штаб и явиться на Фонтане на поле сражения.

— Разрешите доложить, товарищ комбриг, не при здешнем полевом положении, в чем перед вами я есть виноват!

— Как такое — не при здешнем положении? — вскипел батько. — А ты не знаешь, батькин ты сын, что мы всегда при боевом положении? Какие могут быть препятствия, когда командир спрашивает бойца!.. Стой!.. — вдруг осадил коня батько и, оглядевшись по сторонам, достал бинокль.

В бинокль батько различил с пригорка, что в поле вышла иг залегла пехота; кавалерии уже не было видно, лишь артиллерия, скрывшись у леска, вела ожесточенную пристрелку через лес.

За лесом был неприятель — галицийская бригада Овчаренко, недавно перешедшая на сторону красных и вскоре изменившая.

Это был обычный прием трусливого неприятеля, пользовавшегося тем, что красные войска не уничтожали пленных, и засылавшего под видом пленных и переходящих на сторону красных частей свои бандитские шайки.

То же было и с бригадою галичан, которую батько сейчас решил уничтожить в стремительном преследовании.

Но, видно, галичане имели заранее рассчитанный план ухода: несмотря на быстроту и силу удара таращанцев, в течение четырех часов боя неприятель не был еще сломлен и защищался с тем большим ожесточением, с чем большим напором вел преследование Боженко.

И, поняв это, Боженко тут же позабыл о своем гневе на Лоева и Фильку за самочинный вывод из конюшни его коней и, бросив распекать их, давал своим спутникам спешные задания:

— Ты, эскадронный, смотайся мне за лесок и поймай за хвост эскадрон. Да возьми с собой двух запасных коней, сгодятся, бо там непременно в решето попадешь. Скажи Калинину, чтобы сделал «восемь» — понял? — «восемь» и вышел мне петлею обратно до вечера. Да хай рубит ту стерву в капусту и иначе не возвращается, бо я сам с него сделаю капусту. А ты, Филя, от мово имени скажи к Хомиченко да скажи ему,

чертову сыну, чтоб ураганный огонь давал из четырех, как из двенадцати, это тебе не позиция, а бой! А я, скажи ему, самолично поведу полки на ту стерву и штык ей в глотку загоню. Тут не иначе как сам Петлюра с Шепелем или Тютюнником свой ответ на генеральное сражение дают. Ты что ж стоишь? Смерти ждешь?

— Есть — дать бой окончательный и победный! отвечал Лоев.

И всадники разлетелись в разные стороны,

Так называемая «восьмерка», о которой говорил Боженко Лоеву, представляла собой обычный и излюбленный кавалерийский прием в боевой дивизии Щорса. Кавалеристы развернутой лавой бросались на неприятеля, смыкали затем крылья лавы журавлем, прорываясь, прорубываясь узкой щелью в тыл, опять раскидывали лаву, вновь завязывали неприятеля в мешок кольцевого охвата, уже в тылу, вырубали все, что было можно, и возвращались назад новым, непройденным путем, нанося неожиданные фланговые удары и удары в тыл.

За эскадроном в таком рейде шли и тачанки с пулеметами и пушками «гочкис».

Калинин был отважный и умелый рейдист, находчивый в любых условиях, опытный и самостоятельный командир из старых кавалеристов. Многому научившись у замечательного тактика Боженко, употреблявшего в сражении испытанные партизанские способы — «хитро-щи», как называл их сам батько, Калинин, однако, подчас позволял себе и самостоятельное решение боевой задачи.

И когда батько посылал эскадронного Лоева вдогонку зарвавшемуся с кавалерией Калинину, он хотел на этот раз предостеречь его от рискованного решения задачи, так как хотел здесь решить ее сам.

При той быстроте соображения, которою обладал этот медлительный и важный с виду старик, можно было не сомневаться, что ой уже разглядел всю обстановку и правильно рассчитал ее.

Вышедшая из рейда кавалерия, вынесшая полное представление о состоянии сил противника, нужна была батьку для защиты флангов пехоты от обхода, так как батько решил вести пехоту «с гвалтом», на «ура» — в штыки. Батьку не терпелось сегодня же раздавить изменившую гадину и уничтожить предателей дотла. Больше всего на свете ненавидел батько предателей.

Лоев нашел Калинина выходящим из рейда. Батько был прав, когда посоветовал ему взять двух коней. Не только кони, но и сам Лоев был подранен при переходе холмистой местности, что лежала за волынским

лесом. А Калинин уже ушел за холмы.

— Крути «восемь» и выкручивайся полным аллюром до папаши! Да дорубай все на полном ходу в капусту, приказал батько! Сам повел пехоту с гвалтом в штыки!

— Гей! Кидай барахло — гарбы, возы — выручай папашу! — скомандовал Калинин.

И вовремя вырвалась кавалерия из рейда на помощь грудью вклинившемуся между двумя петлюровскими дивизиями Боженко.

Батько уже развернул свой полк и отбивался артиллерией на картечь от обложивших его на этот раз петлюровцев и галичан.

Как выяснилось потом, весь план боя, с расчетом на втягиванье в него неистового старика, «красного генерала в лаптях», был разработан французским штабом, созданным интервентами при Петлюре.

И штаб, и планы, и даже французы были взяты в плен и доставлены во взятый Изяславль.

Батько только к ночи, доконав и разбив неприятеля, обосновался на новой штаб-квартире, усталый, но довольный победой.

Филька раскупорил бутылку французского коньячку, добытого в штабе. Батько понюхал его, повертел, посмотрел на непонятную этикетку и, приставив к губам, опорожнил, крикнул и, вытерши рукавом губы, закусил черным хлебом с салом.

— Давай-ка, Филя, чаюхи! Да позови мне эскадронных.

Батько занял Шепетовку и Изяславль одною кавалерией, пехота еще подходила.

— Лоева потребуетя, папаша? Страсть человек говорить с вами хочет.

— Лоева? — поднял брови старик и вдруг будто стал озабочен. — Позвать, говорю! А про Орла ты мне доложь: для чего с конюшни выводил? Га?

Филя смутился:

— Такое вышло дело, товарищ комбриг: вроде как напужал он меня...

— Кто? Орел тебя напужал?.. Ну, зови! — сказал Боженко и, откусив кончик сигары, закурил. А когда Филя вышел, батько, достав из глубокого кармана френча фотографию, стал ее рассматривать. Улыбка шевельнулась было где-то в бороде, но тотчас же погасла. Какая-то внезапная озабоченность омрачила лицо; нежно погладив карточку ладонью, как бы стирая пыль, батько спрятал ее обратно и, бросив с досадой сигару, набил трубочку и энергично задымил, скрывшись за дымом, как во время сражения.

Вошел Калинин и с ним четверо эскадронных, позади всех Лоев с

перевязанной рукой. Батько отыскал его глазами и, махнув рукой вошедшим, этим жестом приглашая садиться, обратился к Лоеву:

— По какой такой причине, голубь мой, выводил ты моего Орла с конюшни? И в чем было положение, про которое ты мне сумлевался доложить на поле боя? Да говори прямо, не виляй! А то я, тово, рассержусь, хоть и имеешь ты сегодня, скажем, передо мной геройскую заслугу.

Лоев стоял потупясь.

— На людях, батько, и то страшно сказать.

— Да ты не ври, говори! — заволновался Боженко, как бы почувствовав что-то недоброе за этим упорством.

— Мамаша твоя дорогая умерла, не серчай, отец, за горькую весть, — вдруг произнес эскадронный, и слеза блеснула в его рыжих ресницах.

— Как такое? Что ты мелешь?

Батько вскочил, и лицо его перекошилось от боли.

Все, кто был в комнате, тоже встали, зазвякав оружием. Каждый понял, о чем идет речь. Любимую жену свою звал Боженко «мамашей», после того как сам заслужил у бойцов прозвище «отца». Вернее сказать, что ее прозвали так полусхутия за заботливость к ним бойцы, а уж вслед за ними стал звать ее так и Боженко.

Он ждал жену в гости к себе из Киева, куда отправил ее два месяца назад из-за тяжести похода. Трудно было в этом стремительном походе выкроить время для личной жизни; она была невозможна в этой суровой боевой обстановке.

И теперь, когда враг почти разбит, теперь, когда так хотелось герою отдохнуть на минуту, поглядев в спокойные глаза любимой женщины, — отнято это у героя, некому больше провести ласковой рукой по суровым сединам и разгладить морщины на его лице.

Не мог сразу поверить тому Боженко и закричал:

— Отвечай мне, эскадронный: где ты сведал на мою голову такое горе? Не может же этого быть, чтоб умерла моя матусенька, зозуленька моя! Неслыханно ж то дело!

— Не рад я, отец, высказать тое горе, да сам видал я смерть ее.

— Какая ж то смерть? — вновь закричал Боженко. — Убили ее? Кто убил?

— Убили, под поезд бросили, — отвечал Лоев.

— Где убили? Кто убил? Говори мне, отвечай!.. Контра у спину бьет! Знаю! Ножом у спину. Га? Собирайте войска к походу, командиры и эскадронные, зараз мы выступаем!.. — кричал батько и в бешенстве метался по комнате, потрясая кулаками.

ГОРЕ

Весть о батюшкином горе разнеслась во мгновение ока по всей таращанской бригаде, по всему Изяславлю и Шепетовке, вместе с приказом о выступлении. И еще не дошедшие с поля боя полки и батальоны услышали об этом и поспешили к батюшке.

Бойцы еще не знали, куда батюшко Боженко поведет их, да и батюшко еще сам не знал хорошенько, куда двинет он полки, — кто настоящий виновник смерти его жены. Но все понимали, что поход будет теперь не вперед, а назад, к возмездию.

По словам Лоева, подтвержденным еще некоторыми прибывшими из Бердичева бойцами, возвращавшимися из отпуска, выходило, что жену Боженко перерезало поездом на станции Бердичев.

Но как попала она под поезд? Была ли то ее неосторожность или ее кто-нибудь столкнул?

Со всей очевидностью было ясно, по крайней мере для самого батюшки, что смерть его жены не случайность, а замаскированное подлое убийство.

Во-первых, толковая и расторопная Федосья Мартыновна, имевшая специальный мандат на проезд в военных поездах в прифронтовую полосу, посланный ей Боженко, должна была иметь все возможные по тому времени удобства для проезда; все знали батюшка, и ее никто бы не посмел столкнуть с поезда, да она бы и не далась— женщина она была крепкая и решительная, из тех, кто не дает себя в обиду.

Да и дело было на самой станции Бердичев.

А между тем выходило так, что она попала под идущий поезд.

Как же это произошло?

Батюшко был в таком состоянии горя, и гнева, и отчаяния, что здраво и трезво проверить обстоятельства смерти жены в данную минуту он не мог и, по первому рассказу Лоева, всю тяжесть вины возлагал на железнодорожную охрану Бердичева.

Тем более что за время похода, в особенности по линиям железных дорог, батюшке Боженко неоднократно приходилось иметь столкновения с железнодорожными комендатурами по поводу получения нужных для его войск эшелонов. Так, однажды Боженко избил плеткою какого-то расфранченного коменданта в пышном красном галифе, показавшего ему фигу. А в самом Бердичеве расстрелял, приговорив судом трибунала, уже целую банду, затесавшуюся в комендатуру и создававшую систематически

пробку с эшелонным продвижением по этой важной узловой бердичевской линии, — да еще в самый разгар сражения.

И вот ему теперь казалось, что смерть жены под колесами поезда именно на станции Бердичев — не случайное совпадение, а совершенно очевидная месть со стороны еще не добитого осинового гнезда вредителей, забравшихся в комендатуры железнодорожных узлов.

У каждого человека есть живое, так называемое «слабое» место, и единственным «слабым» местом Боженко, закованного в латы несокрушимой боевой воли и с презрением относящегося к смерти, — единственным уязвимым местом, открытым для чувства и не защищенным. волей, была его любовь к жене, прекрасной простой женщине, избравшей для любви своей самого верного и самого отважного.

Она отдала ему всю свою душу, и батько знал это и не нашел бы никакую цену высокой, чтобы оценить эту горячую, полную любовь.

«УДАРИВСЯ СТАРЫЙ БОНДАР ОБ СТИНЬ ГОЛОВОЮ»^[37]

В то время как Изяславль гремел и пылил, весь поднятый на ноги, и вся Тараща готовилась к походу, стягиваясь отовсюду, батько Боженко бился головою о стену и то плакал, как ребенок, то ревел, как пленный лев.

— Милая моя! Голубонька моя!.. Ох, и що ж то ты наробыла?.. Так хиба ж ты?.. Свой?.. Та хиба ж то свой?! То ж агентура, то ж Петлюра, а не советская власть... Задавили мою любу! Кто мени верне мою любу... сердце мое?.. Кто мени мою душу верне?..

— Папаша, та не рвить же вы сорочок! — говорил Филя. — Або рвить соби, на чорта тии сорочки!.. Та не страждайте! Выпейте молока, чи квасу, чи, може, коньяку? Залейте горе, папаша! Або ж поплачьте... Ой, ни, не плачьте, — важко на вас дывытысь!..

И Филя сам, видя слезы Боженко, вдруг заливался горячими слезами и выбегал в другую комнату, ревя детским ревом во весь голос.

А на улице стояли бойцы и командиры в ожидании дальнейших батьковых приказаний, и их душа раздиралась батьковым страданием.

Сильно любили своего отца командиры и пылали гневом и потребностью отомстить. Но и среди них — пьяных гневом в тот час — были трезвые люди. Таким был командир полка Калинин.

— Я считаю, братцы, надо сповестить о батькином горе Щорса, как лучшего его товарища и комдива. Батько прикажет — надо повиноваться, а батько сейчас невменяемый, может и неправильную дать стратегию. Чего-то я боюсь. Не видел я таким батька...

— А ты брось бояться! — ворчали остальные командиры, в том числе и геройский Кабула, только что получивший в свое распоряжение новый батальон для формирования отдельного Пятого Таращанского полка. Батальон, что был привезен Денисом, состоял из набранных им городнянских добровольцев и из глуховцев, разоруженных при ликвидации анархии.

Но Калинин еще ночью, как только услышал сообщение Лоева и батьков первый страшный стон и распоряжение готовиться к походу, понял, что из всей армии и изо всех людей только один Щорс, любимый и высоко ценимый батьком, может повлиять на него в данную минуту и отменить его опасное решение.

И Калинин прямо с батьковой квартиры, еще прежде чем дать распоряжение готовиться к походу, направился к прямому проводу, вызвал Щорса (в Житомире) и, сообщив ему о случившемся, просил его лично приехать.

Щорс посоветовал не отменять пока батькового распоряжения о походе, тем более что бойцам еще не было объявлено куда; но не оставлять самого Боженко без присмотра до его приезда и стараться оттянуть выполнение гневного решения старика об обратном походе. Он сам немедленно выезжает в Шепетовку.

Калинин никому не сообщил о своем разговоре со Щорсом и старался быть неотлучно при батьку, которому, между прочим, сказал, что ему следовало бы поделиться со Щорсом своей бедой.

— Щорсу? Ты говоришь— сказать Николаю?.. Верно! Соедини меня с ним. Не будет же богунец таращанцу поперек дороги становиться? Николай поймет такое мое дело. Давай Щорса!

Калинин, отлучившись, вскоре возвратился и сообщил батьку, что Щорс самолично уже выехал в Шепетовку, узнавши о батьковой беде.

— Вот это товарищ! Вот видишь, Калинин, — вот и не звал я его, а он сам едет! Значит, есть у него ко мне товарищеская любовь и дружба? Мы старые братья-товарищи, и мы пойдем один другого, богунец не станет наперекор таращанцу. Правда ж ведь, нет? Ну, я тебе и говорю — Николай поймет меня... — старался уговорить себя батько, у которого где-то в глубине сознания уже шевельнулась мысль о несправедливости и неправильности своего отчаянного решения.

Но старик отбивался и отворачивался от этой тайной трезвой мысли своей и старался заглушить ее словами, как это делают всегда в несправедливом споре.

«ИМЕНЕМ И ЗНАМЕНЕМ»

Щорс явился.

Услышав тревожное сообщение Калинина, он не откладывал ни минуты и выехал через Бердичев на Шепетовку.

Щорс понимал вею опасность положения, но он больше того понимал, как хорошо был рассчитан удар врага в лоб и в спину Боженко. Измена галичан и попытка окружения и сокрушительного удара от Изяславля и Шепетовки, рассчитанного штабом Петлюры совместно с французским командованием — с одной стороны, и удар со спины: «в самое сердце, под лопатку старику».

Один удар был отбит. И как же вовремя отбит! Сообщение о смерти жены опоздало к батьку на несколько часов. Бой он успел довершить. И другой удар надо отвести. Надо защитить старика грудью, как он своей богатырской грудью защищает страну и свободу.

Со Щорсом ехал Денис, ожидавший у Щорса назначения в Таличину.

Когда оба вошли к Боженко, они не узнали своего геройского командира. Это был убитый горем старик, смертельно утомленный человек.

— Микола! Дуже радий! Сидай, браток, сидай! Жду я тебя, как брата. Вызволяй, Микола, бо я помру!.. Здоров, здоров, Денис! Вот и добре, что Дениса до мене представили. Вот и добре: для Пятого полку военкома. Уже покрестили мы с Кабулою твою братву добрым боем учора... чи то позавчора, — обращался он к Денису.

И тут же к Щорсу:

— Ой, горе, Микола, нема моей мамашы! Милочки моей немає! Ох, и помстюся я тим проклятым гадюкам, тряся их матери! Каменюки не оставлю! Рельсы тии кровавые поскручую руками! Своими руками поскручую тии рельсы, що видризали головоньку моей любой! — стонал батько, мечась из стороны в сторону, как больной в бреду, на своем скорбном ложе, на кушетке, покрытой буркой.

Подушка была измята и мокра от батькиных слез, Щорс, коснувшись ее рукой, бережно и незаметно вытер руку и погладил батька по согнутой спине.

— Успокойся, дорогой Василий Назарович, герои не плачут. И такому герою, как ты, слезами горю не помочь. Не плачь, комбриг! Я знаю, что горе. Но что наши жизни и наше горе перед задачей нашей родины? Не довести бы до горя страну! А убийц мы найдем и жестоко покараем. Я уже

отдал распоряжение найти в Бердичеве виновных и арестовать их и сообщил в Киев о постигшем тебя несчастье самому правительству. И вот уже есть ответ правительства. Мы представили тебя к золотому оружию и имеем приказ правительства вручить тебе его.

Щорс вынул из суконного свертка золотую саблю и поднес ее Боженко.

Боженко покосился на саблю, перевел глаза на Щорса— и вдруг искра безумия, испугавшая Щорса, засветилась в этом взоре.

— Великодушно извиняюсь, — сказал старик, распрямившись и сделав язвительное выражение лица. — Золотым оружием моего горя не прикупить и сердца моего лестью не унять. Не золотую саблей, а кровавою саблей добывал я свободу для народа. И за ту мою кровь!..

— Неладно говоришь, батько! — сказал насупясь Щорс. — Нехорошо говоришь! Не для личной жизни мы, большевики, отдали свою судьбу будущему человечеству. Нашей мечте мы отдали ее, мечте всего народа, счастьем народа! Разве первое твое несчастье на свете? Разве не тысячи и не десятки тысяч осиротело жен, лишившихся мужей, и мужей, лишившихся жен? Почему ты свое несчастье ставишь выше других?

Щорс открытыми, соколиными глазами бесстрашного бойца и прямого человека посмотрел на Боженко. Боженко сидел, потупясь и не поднимая глаз, но видно было, что он слушает с жадностью и тревогой то, что говорил Щорс.

— Правда, ты незаменимый человек на своем месте. Ты герой и вожак героев. Ты силою своей революционной веры и верности вырастил здесь вокруг себя стаю орлят. Ты дал им крылья бесстрашия и пламенную любовь к свободе, и ты за это почтен славою и тем самым золотым оружием, которое мы тебе привезли. Оно прибыло раньше твоего несчастья в штаб, но нам некогда было сообщить тебе об этом ранее, да и ты находился в бою и тебе было не до того. Ты работал кровавою, как

ты говоришь, саблей. Так знай же, что и эта сабля тебе не для покоя дается, а дается для боя за советскую власть. На, получай ее с честью и с честью носи! Она дана тебе от самого Ленина.

Услышав имя Ленина, батько побледнел и встал.

Он протянул было руку к сабле, поднесенной ему Щорсом, но вдруг рука его остановилась, он поднял ее к голове и, закрыв глаза, провел по ним со лба ладонью, как бы отгоняя тяжкий сон. Проведши и по бороде и по груди ладонью и прошептав что-то губами, запекшимися от страданья, батько сказал:

— Филя, подай гимнастерку!

И Щорсу:

— Вид Ленина приказом, кажешь, ця шабля?.. Подпережи мене, Микола!..

— Вид Ленина, — отвечал Щорс, застегивая портупею на батьку.

Крепко расцеловал прекрасное лицо Щорса батько и растроганно сказал, оглянувшись на карточку своей погибшей жены, что стояла на столе:

— То ж мы ему напишем про это дело? Напишем про мое горе?

— Напишем, — ответил Щорс.

— И карточку супруги моей пошлем... И скажи ему так: и в горе своем остался Боженко твердым большевиком. Зупинил^[38] свое сердце, кровью облитое, и пошел со всею лютою злостью на врага. А ну, звать командиров! На Дубно и Ровну — в поход! Зараз же будем вырушать.

— Поздравляю вас, товарищи, с победой, со взятием Изяславля и Шепетовки, — сказал Щорс вошедшим командирам. — Скоро прочтете о себе в приказе; я помню каждого. Прошу поздравить своего отца с боевой наградой — золотым оружием.

— От самого Ленина, — прибавил батько.

Командиры окружили Боженко, осматривая саблю.

— Ну-ну, дывиться на шаблю, та не теряйте часу, голуби мои, бо Дубно не дримае! И мы ж тебе, Микола, теж представим до Ленина героем, бо ты самый краций герой! Найкраций герой!

ГОРЛОПАН

Щорс все еще приглядывался к каждому движению Боженко, и от его зоркого глаза не укрылось, как нервно ходили желваки под густою бородою батька.

— Нету больше моей слезы! Чи так говорю я, Микола? — обернулся он к Щорсу. — На, сховай цю карточку и пошли Ленину вид Боженко у память. А я пишов на Дубно. Ну що, Денисе, — обратился он к Кочубею, стоявшему у косяка двери. — Пожалкував и ты старого? Пожалкуй, пожалкуй, юнацька душа!

Батько говорил, одеваясь по-походному, в чем помогал ему Филя, вытаскивая нужные вещи, по одному знаку понимая своего командира.

Батько хлопал себя ладонями по груди, и мигом Филя вешал на грудь его бинокль. Батько хлопал по карману, и Филя засовывал ему в карман коробку с сигарами. Наконец батько стал причесываться, и тут Филя мазнул батька по голове помадой. Денис глядел на него и, вспоминая недалекое прошлое, подумал, что батько за эти пять-шесть месяцев похода изменился: даже волосы стал помадить.

Но Боженко в ожидании милой жены своей купил эту помаду, и это понял Денис, когда батько вдруг резким жестом отвел Филькину руку с помадой, взял полотенце и вытер голову насухо. А потом достал из кармана и бутылку с коньяком и поставил ее на стол, грозно оглядев при этом Филю.

Денис понимал, что в сложной мимической игре, происходившей между Боженко и Филей, в этой сцене одеванья отображается вся душевная борьба, которую только что пережил батько. Он на глазах преобразался.

Весть о том, что к батьку приехал Щорс, разнеслась с быстротою молнии. Братва бушевала в ожидании похода.

А поход был внезапно отменен.

— А! Так вот в чем штука: Щорс стал поперек дороги!

И стоустая молва превращала быль в сказку. Смерть жены Боженко и горе батька обрастали тысячею вариантов и легенд, в которых не обошлось без провокации. И про Щорса говорилось теперь:

— Гляди, кабы еще не вздумал папашу заарестовать! Не дадим увозить Боженко!

— Покажите нам нашего отца!

— Пусть выйдет батько на крыльцо! — кричали бойцы.

Кричали, конечно, не все. И тех, что кричали отчаяннее всех, отмечали для себя командиры, намереваясь проверить — от души ли тот крик, и не голос ли это провокаторов, подосланных или купленных Петлюрой, что столько раз пытался уже засылать провокаторов, но всегда до сих пор безуспешно.

И Кабула, тяжело переживавший батькино горе, смекнул, что тут имеется злая игра, и внимательно прислушивался к крикунам. Он отметил один до фальши кричащий голос:

— Подать нам сюда Боженка! Пусть выйдет отец! Подать нам Щорса сюда — пусть выйдет! Тут дело нечисто: увозят Боженко! Арестовывают папашу!

Кабула, прислушиваясь к этому фальшивому визгу, пробрался поближе к кричащему и, разглядев его хорошенько, уже потянулся было произвольно к ручке «кольта», да вовремя подумал: «Одним выстрелом пожара не потушишь».

С находчивостью старого партизана он окликнул кричащего:

— Вот это верно, браток! А ну, давай пойдем с тобой к папаше, повидаем его самолично и объясним братве, в каком он есть в данном положении, — святое дело!

— Да я не пойду! Зачем мне ходить? — уклонялся тот. — Пущай он сам сюда выйдет, чтоб всем стало видно!

— А может, и некогда ему выходить. Может, приказ пишет или письмо до самого Ленина. А мы пойдем под окошко, поглядим и братве все чисто дело объясним, А то что ж, правда, народ мучается.

— Да ты поди сходи, Иван, — толкали его. — Чего же в самом деле горло драть? На то глаза кошке дадены! Чего ж зря мяукаешь?

Горлопан понял, что его выведут на чистую воду, что дело пойдет сейчас начистоту. Но деваться было некуда.

— Что ж, и пойдем! Я не боюсь! А чего мне бояться? Я за отца пострадать могу. Вы ж меня, хлопцы, не выдавайте, бо меня командир ведет! А куда он меня ведет?

К самому Щорсу! Сами понимаете, на какое дело иду. Вы ж меня, братва, не выдавайте!..

Но в это время сам батько появился на крыльце. Он постоял, поглядел на шумящее море «тараци», махнул рукой, и все стихло.

Он был на крыльце один. Никто из приехавших не вышел с ним, чтобы не мешать собственному его чистосердечию и его собственной воле в этом разговоре с народом.

Народ придвинулся к крыльцу. Прежде боялись подходить, чтобы не тревожить. батька, тем более что и ординарцы разъезжали у его квартиры, то и дело кричали:

— Эй, тише, папаша спит!

Или:

— Тише, папаша страдает!

Или еще трогательнее:

— Тише, папаша рыдает по своей любимой жене!

Теперь бойцы сомкнулись у крыльца.

— Приказ получили?

Тишина...

— Таращанцы! — крикнул батько изо всей силы. — Приказ к походу дадён?

— Да-дён! — охнула «тараща» в один голос.

— Трубач трубил сбор к походу?

— Тру-бил! — раздался ответ.

— По местам! — гаркнул батько. — По-стройсь!

«Тараща» шарахнулась и стала в строй.

— Ну, видал ты батька? — спросил Кабула провокатора, не отпуская его от себя.

— Ви-дал!.. — запинаясь, протянул унылый голос.

— Чего ж ты скис, собачий хвист? — спросил Кабула и пнул провокатора под микитки дулом «кольта» с такой силой, что он упал навзничь.

— Добре сделано! — сказал Кабуле подошедший Калинин. — Я его все время примечал, да убрать не удавалось.

— Слабо ему сделалось! — подошел один из тех, кто подбивал еще недавно горлопана идти посмотреть, цел ли батько и как себя чувствует.

— Оттащи-ка его на свинюшник! — сказал подошедший Кабула и пошел строить свой полк к походу.

А Боженко, прощаясь со Щорсом, говорил:

— Был ты мне брат родный и товарищ дорогой и остался тем. Только не забывай ты про мое горе. Сделай все следствие сам и мне о том доложь. Похорони жену мою и венки от мужа положи. И план сыми местности той, где она лежатыметь^[39], моя пташечка...

И опять досадная слеза покатила из одного прижмуренного глаза; батько не смахнул ее со щеки, а просто отвернулся, чтоб никто того не видел.

— А я того — долбану Дубно и дам той суке Петлюре тай галичанам и

панам доброго «бубна» (батько любил баловаться рифмой).

И он обнял Щорса и расцеловал его, касаясь мокрой от слез бородой Щорсова лица.

Только смолкла труба и взял последнюю ноту горнист, его сосед, песенник-кавалерист Грицько Душка, тряхнул чубом, повел локтями и плечами, зыкнул и запел донскую казачью песню:

При бережку — при луне,
При счастливой доле,
При знакомой стороне
Конь гулял по воле.

Кавалерия пошла на ровном аллюре мимо батьковой квартиры, отсалютовав ему и Щорсу саблями.

— Эх, — крикнул батько, заступая в стремя с обычным чувством предвкушаемого удовольствия похода и боя. — Дамо панам бубна биля того Дубна!.. За мною, ребята, рысью марш!.. Прощай, Микола, що то в сердци мени уколело: може, й не побачимось, — шепнул он подошедшему Щорсу, нагнувшись с коня.

— Не журись, побачимось, — отвечал Щорс, проводя рукою по, открытой голове своей.

Щорс долго стоял посреди дороги в пыли, наблюдая могучее движение таращанских полков, выступавших в поход после пережитых тревог. Он вглядывался в загорелые мужественные лица таращанцев, стараясь найти в них хоть след только что пережитой смуты или неудовольствия, — и так и не нашел ничего, кроме предбоевого вдохновения, которое он так привык видеть на лицах своих бойцов. Да и как могло быть иначе? Это шли героические революционные части, люди, выпестованные вожаками-коммунистами, — краса советской власти, опора и надежда великого будущего.

—.. А вот и поганец! — Из сарая на аркане, обмотанном вокруг груди, выволакивает Кабула провокатора и приговаривает: — Пидбигай, собака, на аркане за мною, до здоху, конай, кобылячий хвист, за брехни! Розповидай, стерва, кто твоего языка позолотив, гадюко? Ну, пидбигай же!

Бойцы, увидев провокатора, получившего возмездие, хохочут удовлетворенно.

А Щорс кричит Кабуле:

— А ну, брось! Давай его мне сюда до трибунала. Он-то мне как раз и

нужен. А еще мне нужен Лоев, эскадронный.

Отрубает Кабула саблей веревку и бросает среди площади у ног Щорса Иуду, огрев его на прощанье плашмя саблей вдоль плеч. И кричит проезжающему эскадронному:

— А ну, Лоев, слезай и ты с коня та дыбай до Щорса — развязывать брехни!..

Лоев покорно слезает с коня и отдает его Кабуле.

И догоняет Кабула Боженко уже в чистом поле, на Изяславльском шляху, за Шепетовкой, и, ударив Дениса, едущего рядом с батьком, со всей силы рукой, заставляет его оглянуться. А батько, увидев своего Кабулу, наставительно говорит:

— Ой, на твою лихость, Павлусь, будет теперь гнуздечка ^[40] та ще й с гудзиками ^[41]. Даю я военкому Денису Кочубею дозволенье лаять тебя распоследними словами за всякую твою, сынок, штуку. Хоть и любил я тебя, но ненавижу я твою чрезмерную лихость. И щоб не пив мени горилки, сынок, и не бабивси аж до самого Дубна, бо ты есть полковой командир и прочее!

— Та ж не буду до самого Дубна! Та ще й дали! — отвечает, скаля прекрасные белые зубы, красавец комполка, имеющий славные заслуги и отличия, выделяющийся и среди героев, отважный, находчивый командир.

— А зараз кидай мне разведку по всим четырем шляхам! Скачи, осветляй местность, бо тут ихний гадячий хвист всюду шьется!..

Едучи на коне рядом с Боженко и развлекая его разговорами, вспоминал и рассказывал Денис батьку про политические и стратегические планы дивизии и про штабную обстановку у Щорса в Житомире.

— Есть у меня, Василий Назарович, несколько замет насчет того, что враг опутывает нас не так с фронта, как с тыла. Ты видишь: в чистом поле его как корова слизала — не видать. А осядь назад, как на ежовы иглы наткнешься.

— А что я тебе говорил? — буркнул, самодовольно улыбаясь, батько, посасывая трубочку. — Га?.. Ну, наелся теперь тыловой каши? Полный рот пылюки?.. Как кроты, они под нами землю роют, ще й песком очи засыпают. О то ж, брат, не забувай старого! Старый все чисто насквозь, знает... Ну, так що ж там у Микола? Як живе?

— Ну, я не говорю уже об некоторых наркомвоеновских «дятлах», как мы их там прозвали, армейских инструкторах и инспекторах, — и тебе они, я знаю, уже в печенках сидят.

— Цих добре знаю, — отвечал батько. — А то ще яки чертяки?

— Вторая категория — это лисы, сдавшиеся в плен и живо перекрасившиеся из рыжего цвета в красный, и «жовтяки», вроде «сочувствующие советской власти».

— Ну, а то ще яки? Вижу по тебе, що есть ще инший сорт. Кажи: просто шпионяки? Ящерки?

— Вот именно— просто шпионяки, отец. Самые настоящие шпионяки. Да они-то и замаскированы лучше всех. Но от нашего с тобой глаза и эти не уйдут.

— И в штабе у Щорса, кажешь, роблять «работу»? А що ж им Микола хвоста не зарубив? Казав йому про те?

— Да он и сам догадывается, — сказал Денис. — Работает тот рыжий подлец под маркой представителя боротьбистов по национальным делам в штабе. Но Щорс считает нужным выждать и приглядеться к нему.

— Гм!.. — хмыкнул батько. — О то ж и я секретом думаю, браток: чи немає и у тому Центри у Києви ворогив? Неповинно б бути. Та здається, що вони там есть!

Батько протянул плетью по жирному крупу своего Буцефала — артиллерийского коня, на котором он проделывал дальние походы, сберегая своего любимца Орлика.

СВАТОВСТВО

В последних боях Денис оторвался от батька. Он был с Кабулой. Пятый Таращанский полк был направлен батьком на Ровно, на соединение с партизанскими отрядами Рыкуна, Прокопчука и Бондарчука. Вместе с партизанами и брали они Ровно.

Но батько, закрепившись и отаборившись в Дубно, решил развивать операцию дальше, на Радзивиллов — Броды ко Львову и на Кременец — Збарж к Тарнополю, чтобы выйти на соединение к восставшим внутри Галиции, против новых союзников Петлюры — белополяков, галичанам. Батько знал, что Кочубея Щорс специально уполномочивал по галицийским делам, и решил поэтому, усилив Пятый полк влившимися теперь в него ровенски-ми и дубенскими партизанами, бросить на Радзивиллов — Львов именно его и Кабулу, а самому пойти на Тарнополь.

Ввиду этого батько затребовал к себе Дениса и Кабулу для инструкции в Дубно, приказав дать два дня на роздых полку и начать усиленное формирование партизан для укомплектования полка.

Денис и Кабула приехали поездом и сразу со станции ввалились к Боженко. Батько теперь квартировал скромно, занимал всего две комнаты под штаб: одну для писарей и одну для себя.

Еще проходя через писарскую штаба, услышали они в следующей комнате громкий батьков голос, кого-то грозно распекавший, и, войдя, увидели незабываемую сцену. Перед батьком стояли пятеро дюжих загорелых таращанцев и бережно поворачивали перед ним застенчиво краснеющую красивую девушку-полячку лет восемнадцати.

— Та вона ж як крулевна, папаша! Диви, яка красуня!

— Що то за собачьи дуροщи! Та коли вже я выбью з вас тее, чертова босота? До победного конца, казав же я вам, до бабы не касайся!

— Да мы ж жалеючи тебя, папаша, как ты есть в грусти по поводу смерти «матки», предоставляем тебе эту дивчину в жинки. Она сама согласна за тебя замуж. Разве мы против согласия? Сама зъявила охоту. Бо ты ж ее сам вид знуцания визволив. Чи ж ты не памятаешь?

Наконец батько не вытерпел и, рассердясь, поднял плетку-тройчатку над головой и со всего размаху окрестил ею назойливых сватов.

Девушка вырвалась и убежала. А таращанцы, поеживаясь от батькиного угощенья, все еще не унимались, уговаривая:

— Да пожалей же ты себя, отец! Чего ты нас и себя мучаешь? Ты

горюешь, а мы страдаем. Весь народ страдает, на тебя глядячи... Вить такой красавицы и в свете не найдешь! А она по тебе души не чает.

— Арестовать мне этих негодяев! — закричал батько и кивнул Кабуле.

— Да мы и сами никуда не уйдем. Раз мы задумали такое дело, то — пока не кончим, хоть ты убей нас, отец, имеем всеобщее решение... Все бойцы тебя при том сватают.

Кабула вытолкнул пятерых молодцов и крикнул часовым в писарскую, чтобы за ними присмотрели.

— А девку выпустили? Эх вы, писаришки паршивые! Где девку дели? Ах вы, моргуны, мухоголоты, — ругались сваты.

Батько был смущен еще и тем, что эта домашняя сцена разыгралась на глазах Дениса, бывшего свидетелем его недавнего горя. Хоть сам батько тут ни при чем, но все же как-то неловко — такое приключение.

Батько немедленно перешел к делу и расспросил Дениса о состоянии Пятого полка, к которому он относился ревнивей всего еще и потому, что наличие этого полка — уже второго по счету таращанского полка — довершало комплектование полной таращанской бригады. До сих пор батько хоть и звался комбригом, но имел всего один полк. Правда, по численности полк этот превосходил иные бригады — чуть не тысяч десять штыков. Но батька обижало то, что это все еще не полноценная бригада и он сам как бы не полный комбриг.

Кроме того — комполка был его любимец Кабула. И то, что Денис опять предоставил батьку своих людей и охотно согласился стать в его подчинение, доказывало батьку его собственный рост. Ведь когда-то — шесть-семь месяцев тому назад — Денис не пожелал сделать этого в Гродне.

— Ну, так какое ты мнение имеешь о полку и новых ровенских партизанах? — спрашивал Боженко.

Денис понимал, что хоть вопрос этот и не относится прямо ни к чему другому, кроме Пятого полка, но в нем кроется многое другое, и ответил разом:

— «Немае краще слив, ниж опишнянськи; немае краше хлопцив, ниж таращанци». Как всегда, батька, слава таращанцев ни у кого из партизан не вызывает сомнений и колебаний. Записываются все сполна, и уже через день не отличишь людей ни по чубам, ни по осанке, ни по словесному закруглению. А попробуешь при этих новых вчерашних гульчанах, здолбуновцах, новосельковцах, ровенцах или там городнянцах моих, или глуховчанах, дубовлянах сказать что-нибудь не так о таращанцах, кровно обидятся, как будто они всегда были природные таращанцы.

Батько хохотал, довольный.

— Все в порядке, Василий Назарович, — говорил Кочубей.

— Ну, как комполка Кабула справляется? Политику, стратегию понимает? Ты ж мне, Денис Васильевич, политически его воспитывай. Ленинскому слову учи. Учи его. То золотой человек, беда, что политически ще не дуже грамотный. Ну, тебя он уважает, прямо ждал тебя не дождался, и вот вы с ним теперь до пары. Думаю я сам с вами на Львов-город идти. Радзивиллов завтра брать будем. Ваш полк когда там будет?

— Давай приказ, отец, — завтра там будем.

Батько довольно улыбнулся.

— Я, вишь ты, Калинину даю два полка на Тарно-поль. Нам надо по проскуровскому фронту равнение держать— на Каменец-Подольск. Там богуня и червонные казаки с фланга наступление ведут. Вот Щорсов приказ, читай. Ну, а про Радзивиллов тут ничего нет. Как мы с тобой понимаем, это вроде как самостоятельная, так сказать, стратегия. Вот почему я эту операцию Пятому полку препоручаю. Он у меня пока еще под видом партизанского. Содержу его на местном довольствии. Долбанем в Радзивиллове антантова француза у пилсудское гузо. Все понятно, Кочубей? Га? — рассмеялся Боженко.

— Все понятно, папаша.

— А вот и Кабула! Ты где запропал? Приехал за приказом, а сам где ходишь? — спрашивал батько, хотя он сам подал тайный знак Кабуле удалиться на минуту, чтоб поговорить наедине с Денисом,

— Да я так, папаша, проветрился. Семечки у девок отобрал, да вот и лускаю. Может, хотите? — протянул он батьку горсть арбузных семечек.

— Да брось ты там! Когда семена лускать! Садись, смотри карту и малюй мени червоним олівцем^[42]: звидки^[43] ты пидешь от Ровно на Броды? Имей понятие — сам один с своим полком пойдешь на. то славное дело. Ну, да и я тебе у хвист броневиком причеплюсь, «гвалтом» пособлять буду. Вот я тут по зализнице на Радзивиллов завтра поеду. Как поведешь полк? Доложь мне обстоятельства — численность, довольствие, одежда, вооружение. Артиллерию легкую имеешь в достаче? «Рочкисов» тебе пару даю. Гранатометчиков роту для атаки броневиков. На панство идешь, не на Петлюру, это знай и понимай: французское командование!. Сам Фоша у них сидит в штабе. Слыхал! Хвист набок! Не до шутки, Кабула! Чого ты иржешь, як жеребец: какой-нибудь? Сурьезное дело, а ты тут морду, как перед милкой, кривишь! Вот слушай толкового человека — и чтоб ты мне от Кочубея ни шагу. Я на то тебе и моргнул, чтобы ты вышел прогуляться, да тут про тебя в секретном порядке все и распытал у военкома вашего. А

ты думаешь, я тебе как, всецело доверяю? Я ж знаю, кто ты есть: выдержки у тебя немає.

Боженко постоянно добродушно журил Кабулу, и тот знал, что батько все это только для назидания, на всякий случай, ворчит, и поэтому не мог не улыбнуться на эту знакомую-презнакомую воркотню. Но видно было, что Денис отозвался о нем хорошо и батько доволен и недаром дает теперь Пятому полку ответственнейшее поручение идти на Львов, — шутки ли!

— Значит, мы первые, папаша, на Карпатах, будем? — спрашивает Кабула, задорно,

— А то как же! Ну, садись, брат, и кумекай тут с Кочубеем. Филя, ты до гостей чего-нибудь поутюжней! Коньяк французский добрый попался. Нате, хлопцы, ще и в дорогу по бутылке. Да не пейте одним духом, а то поспёте еще и прогавите мне большое дело.

Денис показал Кабуле на отдельном клочке бумаги расчет обходного удара на Луцк, на Млынов и на Берестечко и, поспорив с ним немного, предложил свой расчет батьку, перенося его тут же красной чертой и стрелками на карту.

— У тебя ж на Кременец Калинин пошел, значит мы только от Луцка устроим партизанский кавалерийский заслон и пойдем прямым маршем на Млынов и Берестечко, а ты с Дубна броневиком на Радзивиллов. Завтра к полудню в Хотине уже будет наша кавалерия,

— Толково, сынки! Правильная стратегия! А то была тут глиста штабная такая. Все путала, стервоза, и мне под нос карту спаскуджену ^[44] подносила. А я в той карте сам разбираюсь, хоть не так-то швидко ^[45]. Образование!.. Ну, вот вам по куску сала та по дви пачки тютюну турецького, чи то грецького, и штоб завтра быть кому из вас с кавалерией у Млынове. А Рыкун там или Бондарчук пусть идут на Луцк. Ну, прощайте, мне тут дела еще есть. А ну, гукай Калинина, вестовой.

— Я здесь, батьку! — шагнул в комнату ожидавший в писарской Калинин.

Денис и Кабула уже успели с ним поздороваться да перекинуться шуткой по поводу «сватовства».

— Они его тут без нас обженят, — ухмыльнулся Кабула. — Ну, да и пускай, абы голова здорова! Прощевай, Калинин. Доглядывай батька!

Все знали, что батько горюет безутешно по своей убитой жене.

Часто бойцы и командиры заставляли батька плачущим, склонившись над картой, над которой батько проводил все свое свободное время между боями.

Бывало, удалит батько всех, заявив, что он будет заниматься «стратегией», усядется над разостланной на столе трехверсткой с лупой в руке и чертит красным оливоцем свою «стратегию» — на завтра. Но, оглядевшись, что в комнате никого нет, батько тихонько достает из бокового кармана френча карточку Федосьи Мартыновны и, поставив ее на карту, одним глазом глядит на трехверстку, а другим (прижмуренным) на свою любимую, которой больше нет на свете, — один взгляд на нее, другой на карту. И вдруг батько начинает тяжело дышать, и частые капли слез дробно стучат по трехверстке. Филя заглядывает в комнату или входит Калинин... и батько мигом прячет фотографию под карту и смахивает рукавом слезы с лица и с карты, грозно поглядывая на вошедшего внезапно бойца.

— Чего без спросу явился? Я же говорил — стратегией занят. Проклятое стекло, — батько показывает на лупу, — аж слезу выбивает. Не карта, а мелкота-комашня замест сел-городов. Ладно, так обойдемся... Ты местность здесь разведал, Калинин?

— Разведал, отец, — отвечает Калинин на вопрос батька, считая неудобным сочувствовать его тайному горю.

Но тревога за то, что это незалеченное горе батька отвлекает его от «стратегии», дала повод бойцам искать исцеления для батька. Вот почему и посватали бойцы батьку в жены красавицу девушку.

БРОДЫ

Весь поход, проделанный таращанцами после батькового горя, от Изяславля — Шепетовки до Ровно и Дубно, отличался такой напряженной стремительностью, которая была даже для таращанцев непривычной.

Таращанская бригада вырвалась этой стремительностью из линии общего фронта дивизии — Новоград-Волыньск — Старо-Константинов — Проскуров — и шла уже клином, рискуя все время попасть под фланговый удар: от Ковеля и Луцка, а также от Львова были бело-поляки, а слева, от Кременца — Тарнопля, петлюровцы. В тылу орудовали банды Струка, Волоха, Орлика, Зеленого, Жежеля, Шепеля, Ангела и совсем недавно появившегося со стороны Коростеня Соколовского.

Движение таращанцев вперед без оглядки начинало беспокоить штаб дивизии и самого Щорса. И хоть Щорс еще не оставил плана прорваться через Галицию к Венгрии, он все же укрощал Боженко и писал ему о том, чтобы, взявши Дубно и Ровно, батько ни в коем случае не выдвигался пока дальше в западном направлении— на Львов и Ковель, а согласно общему приказу, разработанному дивизией, создав заслон со стороны Луцка, повернул бы основные свои полки на проскуровское направление и вышел в Кременце на соединение с богунской бригадой, гребенковцами и червоными казаками. Эта осторожность Щорса вызывалась соображениями общей стратегии революционных армий.

Батько и сам отлично понимал опасность дальнейшего устремления клином.

Но сразу оставить задуманный план он не мог. Однако ж, чтобы оградить себя от упреков Щорса, способ нашелся легкий и обычный — проделать этот рейд на Львов силами новых ровенских и дубенских партизан, влитых в недоформированный еще Пятый полк.

Кабула и Денис, едучи в поезде до Ровно, обменялись этим рассуждением о батьковом расчете и решили, что батьков риск надо оправдать.

— Все ж наполовину людей мы заберем с собой. Бондарчуку выступать на Луцк, а Рыкун пойдет с нами...

Батько на броневике подъехал до Рудни и, остановившись на изгибе линии, у железнодорожной будки, начал пристреливать местность, оставляя вне обстрела левую сторону, откуда ждал он появления своих. Он курил трубочку и, объяснив знаками связному, что и как надо делать

(сквозь непрерывный грохот четырех орудий слов все равно не было слышно), принялся рассматривать местность в бинокль. Бинокль имел особое значение для батька; пользуясь им, он часто находил уже в поле наилучшее решение боевой задачи. Батько всегда, когда имел возможность, рассчитывал и расчерчивал по карте план предстоящего боя, как умел. Но все это больше нужно было ему для успокоения души, а на самом деле как часто летело к черту все расчерченное в плане и написанное в приказе. И батько, зная это по собственному опыту, предупреждал своих командиров:

— Приказ ложится лишь в основу твоих действий, и если ты будешь слепо подчиняться ему, не будешь иметь собственных рассуждений и собственной ответственности, то лучше и не называйся командиром. Я спрошу с тебя за то, что ты не создавал собственного приказа во время боя.

Выше всего в бою батько ценил инициативу, находчивость и решимость. Одну лишь лихость он не ценил вовсе.

— Умирать и всякий дурак умрет, а ты мне цел останься, людей сохрани и врага победи, вот тогда ты и будешь командир!

И сейчас, оглядывая в бинокль незнакомую местность и ожидая от нее всяких неожиданностей и фокусов, батько вдруг почему-то подумал, глядя в сторону Млынова, что не с этой стороны появится Кочубей или Кабула, а с обратной — с той, что вот уже час как находится под жесточайшим обстрелом артиллерии.

— А ну, прекрати огонь! — махнул батько условно рукой, как бы притушивая ею огонь. — Слушай, кум Антон, а ведь чего мы, собственно, снаряды портим? Никакого черта кругом нету. Белополяка не то что в Радзивиллове, а, пожалуй, и в Бродах нет. Он сейчас уже во Львове молится в костеле, чтоб красные черта не подсмолили ему зад. Давай швидко — тихо, без единого выстрела, на Радзивиллов. Есть у меня такая догадка, что не будь Кочубей Денисом, если он не подбил Кабулу наставить мне, старому, носа. И в то время как я тут гоняю артиллерией уток по болоту, они кохают радзинилловских панянок и пьют с ними галицийский мед..

— Крута, швидче, Гаврило!.. — крикнул он добродушно машинисту и, усевшись на башне, стал оглядывать местность уже не в бинокль, а из-под ладони.

Каково же было его изумление, когда к нему по крутому скату брони по чугунной лесенке влез сам Денис Кочубей и расхохотался.

— Фу ты, дьявол! — отплюнулся батько. — Чуюло сердце! Знал я, что ты штукарь партизан, ну на такую шутку не надеялся! Откуда ж ты взялся,

бисова дытына!

— Да я ж в той будке сидел, возле которой ты полчаса стоял, занятый стрельбой из-за прикрытия; с разведкой связистов сидел — ждал, что ты будешь делать. Ты двинулся. Ну, я и решил выкинуть штуку, так как ты действительно, отец, прав — и поляков в Радзивиллове нету.

— Вот чертова холера, ломай тебя с колена! А ты когда ж в Радзивиллов съездил?.. На чертовом помеле, что ли, или эроплан достал?

— А зачем же мне ездить на черте, когда я тут с полевым телефоном. Кабула по телефону сейчас сообщил, что занял Радзивиллов без боя: шляхта удрала.

— Ну вас к чертовой матери! — рассердился не на шутку батько. — Свяжись с партизаньем, обязательно они тебе чего-нибудь нагородят! Сколько разов перцу подсыпали. Поворачивай назад машину! — кричал батько машинисту в рупор.

— Да она ж не повертывается! — острил оттуда машинист, подслушавший командирский разговор и тоже склонный к шуткам по адресу батька.

— Что я вам, бисовы сыны, тут на смех, что ли? А ну, Кочубей слётывай, откеда взялся! И явись ко мне сегодня вечером с докладом. Ну, если будет не до смеху, то с тобой поговорю, как издевался ты над стариком!

Денис вдруг посерьезнел и, взяв батька под локоть, крикнул ему в ухо:

— Не гневайся, отец, крой на Радзивиллов, сегодня мы и Броды возьмем. Вон Рыкунова кавалерия из лесу выходит. Дай салют, отец, хлопцы знамя поднимают!

Боженко посмотрел в ту сторону, крикнул, задумался и, махнув рукой, с досадою ответил:

— Ну и командуй сам, раз ты тут все дело смекаешь. Наплясался я около вашего брата, чтоб мною еще и командовали!

И батько упрямо уселся на бронебашню и закурил трубочку, а Денис принял команду.

Броды были взяты.

Громы утреннего артиллерийского обстрела, произведенного бронепоездом Боженко, нагнали такую панику на белополяков, что они в своем бегстве от Радзивиллова не опамятовались и у Бродов, и Кабула с Рыкуном со своими четырьмя партизанскими эскадронами прямо на спинах бегущих влетели в Броды. Представители города во главе с ксендзом вышли навстречу «красным дьяблам», прося их помиловать мирное население. Матрос Рыкун на чистом галицийском диалекте объявил

ксендзу и делегатам, что большевики не воюют с безоружными и не бьют лежачих. И что делать какие бы то ни было неприятности взятому городу красные войска не собираются. Но пусть отводят войскам поскорее квартиры и кормят проголодавшихся в большом походе людей, а за порядок в городе будет беспокоиться советская власть — хозяин украинской земли.

Спокойный ответ командира был так мало похож на неистовое движение кавалерии, как с неба прыгнувшей на Броды, что делегация еще больше была обескуражена. И проходивший по городу, чтоб размять косточки после целого дня, проведенного на бронебашне, Боженко говорил, смеясь, Денису:

— Не так снился этот день шляхетным панам! Ну, признаюсь, и мне он как приснился. Голубок, так мы через неделю будем в Будапеште! Ну, я на ночь съезжу в Дубно и поговорю оттуда с Миколою Щорсом. Сдается мне, что и Калинин уже в Кременце. Только моему сердцу что-то беспокоит: чтоб не ударила опять нас эта стерва ножом в спину. Не может того быть, чтоб не было у них войска! Заворачивай, Кочубей, разведку на все боки!

Батько уехал на броневике, приказав Денису к нему явиться через два дня для доклада и разработки дальнейшего плана похода. И похода на Львов приказал не развивать до особого приказа — до согласования со Щорсом.

СТОП МАШИНАМ

Через три дня Денис выехал в Дубно по вызову батька. Вызов был лаконичен, и, судя по этому, можно было догадываться, что дальнейшее развертывание боев в направлении на Львов приостанавливалось.

Денис вновь и вновь перебирал в воображении все возможности развертывания дальнейшего похода. Он вспомнил переписку свою с галичанами, которую вел две недели тому назад из штаба Щорса, и рыжего Левицкого. И сейчас ему вдруг показалось, что, пожалуй, вся переписка галичан была провокационной. Галичане там или не галичане, но повстанческий штаб в Галичине просто хотел, во-первых, вызнать намерения армии на ближайшее время, а во-вторых, втянуть армию в неподготовленный ее командирами, но заранее спровоцированный врагами народа поход в Галичину. Все это были козни Антанты.

Догадки Щорса в этом отношении оправдались. Да, это была совершенно явно выраженная и тщательно разработанная в штабе интервентов провокация, и следы ее вели прямо в галицийский повстанком. Вот тут-то и зарыта собака — почему дальнейший поход в Галичину был сейчас нецелесообразен, во всяком случае до выяснения настоящей физиономии штаба повстанкома, и до выяснения физиономии «рыжего» Левицкого.

«...Не тот ли это самый Андрей Левицкий, что приглашал оккупантов на Украину после Брестского мира?» — напрягал свою память Денис.

Денис входил к батьку с твердым решением — ни в коем случае на свой риск не предпринимать дальнейшего углубления рейдового похода.

— Добрую припарку имею от Щорса из-за тебя, Кочубей! — начал с места в карьер Боженко.

Денис не нашелся бы, что ему ответить, если бы не принятое в дороге решение противостоять походу. Он промолчал, выжидая дальнейшего развертывания батькиной «дипломатии».

— Грозится разоружить Пятый полк в случае неоставления нами Бродов. Требуется отступление на исходную дубенскую линию...

— Не огорчайся, Василий Назарович, — успокаивал батька-Кочубей. — Щорс прав. Но не только доводы стратегического порядка, которыми он, очевидно, руководился при этом — выровнять фронт на проскуровском направлении и не подставлять дивизию под возможность флангового удара, это, конечно, веский довод, но это куда бы еще ни шло,

может, мы и устояли бы при уменье маневрировать, — но у него есть и другие, еще более веские, политические доводы.

Батько ошалел от неожиданности.

Он даже повернулся в кресле и положил на стол только что раскуренную трубку, изобразив на своем лице недоумение и иронию.

Как? Денис, на которого он только и мог рассчитывать в эту минуту в споре со Щорсом по данному вопросу, Денис, знаток галицийских дел, каким знавал его сам Щорс, Денис теперь не реагирует на батькины уколы его самолюбия и сразу слагает оружие! И чье же оружие? Главное, не свое, а его, батькино, оружие!

Батько не выдержал. Он встал из-за стола, топнул ногою и, стукнув по столу кулаком, сказал:

— Такого «партизанского» оборота не ожидал!

Батько этой фразой выдавал себя. Ведь он только делал вид, что он ни при чем, что, мол, вся история с Бродами — Денисова партизанская выходка, которую батьку приходится унять и замять перед Щорсом. Но батьку уже было не до лукавства. У него хватило теперь лукавства лишь на то, чтобы зацепить Дениса кличкой «партизан».

— Не волнуйся, Василий Назарович, я тебе кое-что расскажу.

— Теперь расскажешь? А что ж ты до сих пор думал? Игратья, что ли, будем на фронте?

— Тут ты прав, — согласился смущенный наконец Денис, — но не всякое яблоко созревает до осени и не всякая мысль родится в бездействии.

— Ну ладно. Выкладывай свои яблоки вот сюда! — Батько стукнул ладонью по столу и, закурив трубочку, сделал несколько шагов по комнате. Это означало, что батько нервничает и начинает серьезный разговор. Раскуренная трубка означала переход к решительному действию.

И Денис рассказал ему все, что передумал за это время и что вызывало его сомнения. Батько слушал и дымил, набивая трубку за трубкой и угощая Дениса крепким табаком из кисета.

Рассуждения Дениса понравились старику. Он постепенно стал успокаиваться. Особенно дошел до батька самый главный довод Дениса: он рассказал ему о том, что слышал, будто Троцкий предлагал оставить Восточный фронт против Колчака якобы для того, чтобы бросить восточную армию сюда, на запад.

— Прогавили^[46], — сказал батько. — Все понятно, братец. Котелок твой прицеплен на месте, и спасибо за чистую правду, товарищ Кочубей. Мы не авантюристы и не партизаны — армия. Политика, стратегия, тактика — спокойствие, браток! Какие это понятия для моего характера! Святое

дело! Все понимаю и подозрения свои сымаю, а я их завсегда имел.

— Какие подозрения, отец? Ну, ну, выкладывай, что еще за подозрения у тебя? — смеялся Денис.

— Щорс тебя отзывает, — бацнул, как бросил гранату, Боженко.

Денис вздрогнул от неожиданного известия. Он не сразу вспомнил, что Щорс лишь временно отпустил его к таращанцам, для формирования Пятого полка.

Денис за месяц похода сжился с новой обстановкой и совсем было позабыл об этом условии. Однако хорошо, что об этом помнил Щорс: вот и представляется случай прямо, в упор рассмотреть из штаба всю обстановку и прямо в упор разрешить свои сомнения у Щорса и посоветоваться с ним.

— Нет, это неожиданно для меня, батько, хоть мы со Щорсом об этом и договаривались ранее. Но заговора тут нету, это ты брось. А сейчас мой выезд в штаб, как ты сам понимаешь, как нельзя более кстати.

— Вот то-то и оно: как нельзя более кстати! А Броды кто ж будет тут разжевывать? Когда это Боженко отступал? Га?

— Опять «партизаны», а не Боженко, — улыбнулся Денис, намекая батьку на им же придуманный способ объяснения перед штабом своего не предусмотренного приказом дивизии наступления, «на случай чего». — Вот тебе и случаи: все предусмотрено тобой заранее,

СВАТОВСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В дверь постучали, и вошел Филя.

— Товарищ комбриг, тут до вас делегация от пожилого сословия, — доложил он. — Бабуся с дидусей что-то такое мелют, что — не доберу, про якусь-то вашу обиду. На вас обижаются и хотят с вами говорить. Дуже давно дожидаются, да я не докладывал, — Филя кивнул в сторону Дениса. — Дило од усих секретное.

— Якого черта ты мелешь, вовча пастка! Секретов у меня от товарищей командиров и военкомов и от усего Советского Союзу нет, окроме стратегии. Зови дилигацию!

Вошли двое старичков.

— Прошем пана! — начал дедушка.

— Прошем пана! — повторила бабушка.

— Та я ж не пан, — попытался батько вступить в дискуссию с «делегацией», но махнул рукой, потому что делегация замахала на него разом четырьмя руками.

— Сидайте! Сидайте и говорить докладнийше та покороче!

«Делегация» села на один табурет. Кроме одного свободного табурета, в комнате батька все было завалено походными вещами: седлами, амуницией и прочим. Батько — или, вернее, Филя — считал неизбежным завалить квартиру амуницией, так как батько любил самолично задаривать боевыми трофеями бойцов во время стоянок на месте.

Но старички были щупленькие и отлично поместились на одном широком табурете. А так как они сильно жестикулировали, им приходилось поочередно подниматься с места для высказывания и затем, пятясь, садиться, приговаривая другу другу всякий раз при толчке: «Прошем пана!», «Пшепрашем пани!»

Батько, глядя на них и ничего не понимая, кроме этого «прошем пана» да еще того, что старички чем-то взволнованны, не мог, при всей суровости, не улыбнуться.

Но в чем же было дело?

Денис успел понять, что, во-первых, речь идет о какой-то нанесенной старикам кровной обиде («обида кревна»), во-вторых, каким-то образом эту кровную обиду их семейству наносил, нанес или намеревался нанести батько. В-третьих, «делегаты» просили, чтобы кто-то на ком-то женился.

После долгих встречных вопросов Денису удалось установить путем

главным образом междометий, мимики, жестикуляции, что батько Боженко... должен жениться на их дочери.

Батько уже и сам, следя за вопросами Дениса, начинал понимать, о чем идет речь. Он задал ехидный вопрос:

— Та де ж та наречена? Як же я на ней оженюсь, коли я ии в вичи не бачив? Може, вона ряба, як холера, або стара, як мегера?

— Такой красуни немає ни в Варшаве, ни в Москові, та ни во Львові, ни в Парижу, — выхваляли старики свою дочку.

И тут Денис вдруг вспомнил ту сцену со сватовством, в первый день своего приезда в Дубно, и сказал батьку:

— Должно быть, речь идет о той красуне, что тебе хлопцы сватали, что ты от офицеров отбил.

— Та я ж ни не сватав! — сказал батько.

Он вдруг поднялся из-за стола и крикнул:

— Филя! Позвать мне из-под ареста тих проклятых сватов!

А стариков он спросил:

— Где дочь ваша?

— Вдома, пане маршал. Коли б ваша армия в Дубно не ворвалась — не була б наша доня дома. Замордовали б ни паны офицеры и на смих кинули.

— Так идить же скажить ий, що я на ний не женюся. Бо я вже старый. Но як хоче ваша донька при нашем войске буты, то хай буде. Или при нашем штабе — за хозяйку. Хай буде и биля мене!

Дедушка и бабушка низко поклонились и попытались даже поцеловать руку у «маршала». Но Боженко отстранился.

Денис видел, что батько прячет гнев, и знал уже, как этот гнев может разрядиться. Он понимал, что батько хочет грудью защитить честь Красной Армии, что никакой женитьбы ни на какой красавице ему, конечно, не надо. Денис вспоминал сцену уговоров, когда партизаны просили батька жениться и забыть свое горе. Сцена была трогательна, хоть и наивна. Батько держал этих людей под стражей целую неделю.

Батько сидел, глубоко задумавшись, в своем кресле и курил сигару. Денис боялся вмешаться в его мысли и вызвать лишний прилив раздражения. Так прошло еще несколько минут. Батько начал глубоко дышать и вдруг закрыл лицо ладонями и махнул Денису рукой. Денис вышел.

Были поздние сумерки. У крыльца стояли, понуриив голову, Филя и эскадронный — любимец батька казак Казанок, выполнявший функции коменданта, старинный, еще октябрьский дружок Дениса.

Денис, уходя от Боженко, понял, что тот идет на хитрость ради

спокойствия и уверенности в нем бойцов и для того и берет Гандзю за хозяйку.

— Береги, Казанок, батька, — сказал Денис,

ЖЕНИТЬБА

Кабула отступил до Радзивиллова и приехал за инструкциями к батьку в Дубно. Он подошел к батьковой штаб-квартире, к знакомому маленькому домику в две комнаты, и, отворив дверь в писарскую, удивился. Писаря спали, склонившись на столы и положив головы на локти. А на полу вдоль стенок сидели ординарцы и тоже спали.

«Что они, угорели, что ли?» — подумал Кабула и втянул поглубже носом воздух.

«Что, если и батько угорел?» С беспокойством Кабула отворил дверь в комнату батька и удивился еще больше. Филя спал, растянувшись на кушетке; на полу стояла опустошенная коньячная бутылка с французской этикеткой. «Шепетовская трофея, — подумал Кабула. — Но где же батько? И что сей сон значит, черт подери!.. Что за сонное царство такое? Что за очарование нашло на целый штаб? Должно, перепились, чертовы чертопханы! А батько, должно, куда-нибудь выехал. Уж не ко мне ли на Радзивиллов? А то куда ж еще? Вот будет досада, коли разметнулись!»

Кабула протянул Филю плетью изо всей силы, с оттяжкой, как это делал батько, когда приходил в возмущение от какой-нибудь шкоды. И Филя подскочил, как мячик, — он, можно сказать, прямо взлетел на воздух и с ловкостью гимнаста на лету перешел из горизонтального в вертикальное положение. Он стоял перед Кабулой во фронт, ни жив ни мертв, спросонья еще не разобравши, кто стоит перед ним, или, точнее, перед кем он стоит. Филя глазам своим не мог поверить, когда сонное очарование рассеялось и увидел он Кабулу, вместо батька, и змейкой вьющуюся плетью в его руке.

— Ты что ж это, чертов сын? — кричал между тем Кабула. — Кого ты из себя представляешь — спящую красавицу или жеребца чертовой бабушки, что дрыхнешь тут вместе со всем штабом, потерявши из виду и папашу и все чисто на свете?!

— Не могу я вас понимать, — отвечал Филя, употребляя оскорбительное «вы» вместо «ты». — И должен довести я до вашего сведения, что папаша вчерась женимшись.

— Женился?! Да ты что, в уме, чертово отродье! На ком же он женился?

— Женился, хоть не крестился, ну обовязково она примет православную веру спустя время, потому что хоть бога нет, но, между

прочим, она — полячка, — выпалил Филя.

— Да не мели ты, рыжее опудало^[47], чертова мельница, мне спьяну того гороху! Где батько, говорю тебе? Бо я тебя еще не так огрею!

— Не имеете никакого права, — отступил на шаг назад Филя и поднял с полу свою длинную гусарскую саблю, надеваемую им лишь, в торжественных случаях. — Отлетайте от меня на исходную позицию, товарищ Кабула, и хоть вы теперь «товарищ комполка», ну, должен я вам напомнить, что как вместе мы с вами коней пасли, то вместе и помирать будем. Доставайте вашу саблю, и будем рубаться, как настоящие бойцы и граждане!

— Ну, я вижу, Филя, ты насосался, верно, не иначе как на чьей-то свадьбе. И по роже я по твоей вижу, что в великом ты горе, и — возможно быть — папаша оженился, бо никак иначе я не пойму, откуда из тебя получается такой кандибобер! Ну, так веди меня к нему — холостому чи женатому, — только веди швидче, бо горит мое сердце тяжелым сочувствием тому новому горю! — не знал, смеяться ему или печалиться Кабула.

Филя сочувственно поглядел на омраченного Кабулу грустными глазами и, вздохнув, стал опоясывать саблю и подбирать чуб под лихую фуражку-мелкодонку казацкого образца.

Писаря в соседней комнате проснулись от громкого разговора, еще не поняв хорошенько, что за шум. Уж не батько ли явился? Писаря стали усердно шелестеть бумагами и сортировать приказы, явно путая их хуже прежнего. Ординарцы; разбуженные ударом писарского сапога в бок, тоже подтянули пояса и стали у дверей в окаменении в ожидании батьковых распоряжений, а часовой вышел наружу и стал «во фрунт», как полагается. Так что Филя и Кабула продефилировали, как знатные гости, сквозь этот подтянутый строи.

Молча, приосанившись, шли Филя с Кабулой к батьку.

«Уж не с тоски ли по поводу отступления, — подумал Кабула, — оженился батько на польке?»

Но вот подошли они к дому, у которого Филя остановился и показал перстом на завешенные окна:

— Здесь теперь батькина квартира.

Дом, у которого они остановились, выглядел приветливо и важно — поважнее окружающих его и многих других дубенских домов. Он был хоть и одноэтажный и незатейливой архитектуры, но на высоком фундаменте, с большими окнами. А на всех тех окнах были густоузорные тюлевые занавески, с летающими ласточками, вытканными среди узорных пальм, и

сквозь них виднелись кое-где на окнах клетки с канарейками или со щеглами.

В доме было тихо. Только за углом шагал таращанец, охранявший бабкин покой.

Увидев Кабулу и Филю, часовой мотнул головой и на вопрос Филя отвечал:

— По первому требованию велено будить. Стучи в энто окошко!

Но Филя не решился или побрезговал: ревности Филя не было границ. Он поглядел на Кабулу и махнул ему рукой: мол, стучи, если тебе требуется. Кабула тоже задумался. Батько его не вызывал, и приехал он самовольно, не по вызову. Разбудишь — встанет не с той ноги, осердится старик. И вдруг Кабула сам рассердился — на то, что усомнился на минуту в своем батьке. «Да что, ему какая-нибудь полячка дороже, что ли, воинской чести и большевистской заботы? Да что он за такой в самом деле Стенька Разин: «одну ночку проезжался, сам на утро бабой стал»! Что?.. Батько. бабой стал?.. Распрочертов вздор!»

И Кабула со всей силы постучал в оконную раму кулаком.

Окно мигом распахнулось, и батько в расстегнутой сорочке, блестя медвежьей шерстью на груди, с заспанным видом, появился в окне.

— А-а! Кабула! Здоров! — заулыбался, как бы только пробуждаясь, батько, позевывая, растирая ладонью волосатую грудь и подставляя ее солнцу.

Но вдруг, видно, он опомнился и окончательно проснулся.

— Ты что ж, чертов сын? Может, Радзивиллов сдал?

Чего здесь? — раскипелся батько. — Каки таки дела, что ты утречком меня будишь? Что, ты подождать не мог?

Кабула выразительно посмотрел на солнце: оно стояло уже довольно высоко. И батько сразу переменял тон с сурового распекательного, на добрый:

— Постой, зараз выйду!

Слышно было на улице, как батько что-то гудел и в ответ раздавался женский спокойный голос, говоривший на непонятном языке. Кабула отошел от окна из щепетильности, чтобы не видеть, и не слышать, и не верить в чудное происшествие.

Батько появился через пять минут и, ткнув Кабуле руку, сказал:

— Ударим у фланга, бо вже не можно довше стояты да тупаты на одном мисти. Маю повидомлення^[48] вид Щорса, що дамо останнее генеральное. Ты що — готовый?

Кабула кивнул головой и покосился гордона батька.

«ИНСПЕКЦИЯ»

Батько Боженко вовремя оставил свою «хватуру», и Кабула вовремя разбудил писарей. Начштаба, запыхавшись, бежал навстречу, сообщая, что явилась инспекция из центра.

— Кака такая инспекция? Что ей требуется?

— По всем статьям, и, кажется, лично от Троцкого, товарищ комбриг, — рапортовал, козыряя при каждом ответе, начштаба из бывших офицеров, которого батько держал для всякой «пишущей надобности». — По кавалерии, по артиллерии и по инфантерии...

— И по хватуре? — ослышался батько или сделал вид, что ослышался. — А на кой ляд им моя хватура? — Батько рассердился. — Что ты дым на меня напускаешь? Гнать тую инспекцию к чертовой матери! Липа мне еще — по хватуре! Кому такое дело касается до меня? Кто прислал? Подвойский? Так напиши ему, что довольно знает он Боженко... Да чего там писать? Нет надобности, нечего писать!

И батько шел спешно к штабу, уже взбешенный.

Батько вошел в штабное помещение.

— Инспекция? Откуда? — едва поздоровавшись, задавал батько вопросы окружавшим его приезжим инспекторам.

На стене висела во всю стену приколотая трехверстка.

— Вот я вас проинспектирую, чертова липа! Показывайте мне на карте, где имеется центр фронта? В Москве? Ну, а у нас — в Бердичеве? Какая армия противника и в каком месте противостоит нам? Украинская? Врете! Да мы ж сами украинцы. Контрреволюционная — вот что! Какую мы воину ведем? Переменнопозиционную? Маневренную? Партизанскую? Все врете! Революционную! Где находится позиция моей бригады? Долго я еще буду стоять на этом месте? Не знаете! Кем же подписаны ваши мандаты, интересуюсь? Вапетисом? Троцким? А долго ли еще будут они сидеть, те мацетисы-вацетисы, на том месте? Скажите им обоим, что здесь дураков нет, что они сюда дураков засылают. Инспектировать будете на фронте, все равно в нашей стратегии ни хрена не понимаете! Вот посмотрю я — годны вы до бою али нет. Антилерию знаете? — Батько нарочно коверкал слова из презрения к инспекции. — Что такое «гочкис»?.. Что такое прямая наводка, знаете? Ну, пойдем до пушки. И если вы мне промажете прямой наводкой по видимой мишени, то я не промажу вас по шее. Бойтесь? А кого вы приехали, инспектировать? Что я без промаху бью

Петлюру три тысячи километров и еще буду бить разную белую сволочь, аж до самого окиана? Хватерою моею интересуетесь? Моя хватера — боевое поле! А ну ж напиши на мандатах такую мою резолюцию: «За политической и военной неграмотностью присланных по инспекции отказать и более ко мне подобной хреновины не засылать». Дай я подпишу.

Инспекция, состоящая из десяти человек, стояла, трепеща, желая только того, чтоб им вернули поскорей мандаты с какой угодно надписью.

Им многое снилось еще в дороге — страшновато было ехать к Боженко, — но такой трясухи и те сны не нагоняли.

— Вот, черт, видишь, испортил! — ругался батько, поставив чернильную кляксу на одном из мандатов. — А вообще — наплевать! Кому еще отвечать буду? Поедут без мандатов... Впрочем, нет, стой! Товарищ Кабула, захватишь их на фронт под Радзивиллов. Да сделать им всевозможные испытания по всем статьям, как в мандате: по кавалерии, по артиллерии и... — Боженко расхохотался, — по хватере. Понял? И если чего не исполнят, доложь мне.

— Есть! — отчеканил Кабула.

— Ну, смывайтесь отседова, швидко! — И батько грозно посмотрел на инспекцию и махнул плеткой.

Инспектора задом-задом двинулись было к дверям,

— Стой! Стой! — закричал батько, вглядываясь в одного из них. — А ну-ка, ты вот, останься, что-то я тебя примечаю! Остальные выйдите вон! Приставить до тех караул! А ну, сидай, собачья душа. Це ж, може, не ты командував розстрилом арсенальцев? Це ж, може, не ты мене, слаборучка, не дострелив? Так я ж тебя, сука, розирву!

Батько вытащил свой огромный парабеллум и приставил его к побелевшему лбу опознанного вдруг палача.

— Жалко мели, що на всяку собаку ще трибунал требуется! — вздохнул батько, со времени городнянского случая со шпионом воздерживавшийся от собственноручных расстрелов. — На такого пса трибунал требуется! Га? Тьфу! Узяти його вид мене, щоб я не хвилювався. Да сегодня ж мени зибрати трибунал, а пиясля постановки того суду цього жеребца ясаморучно расстреляю... Оце ж той самий катюга^[49], що мене катував... Дак от що то за «инспекция на хватере»!

Батько тяжело отдышался.

— А ну ж, давайте мени Щорса до проводу! Ох, Микола, Микола, чье мое сердце, що це вже та сама мара ззаду йде, що вид ней не одибьешься... Що ж то у нас за штабы, що ж то у нас за Июда сыдыть там у главковерхах? Давно, давно мени ота мордяка дьявольска не нравится, и нем а мени

спокою, покеда та псяюха^[50] буде над нами каверзуваты. А ну, здымлтть його портрета.

И батько, вышедши в комнату начштаба, над столом которого висел портрет Троцкого, сорвал его со стены и разорвал в клочья.

— До Ленина пиши мени листа! — крикнул он начштабу.

Начштаба стоял бледный и не смел пошевелиться.

— Боишься? — поглядел на него батька. — Своих жалиешь? Не буду я вас жалити, бо у вас гадюче жало и на нас жало у вас немає. Сидай, Кабула, и пиши мени листа до Ленина.

«Дорогой отец наш, Владимир Ильич. Хоть я сам стар человек, но как ты есть наш Вождь и отец революции, то и зову тебя отцом, умеете со всем народом. Не хватает моего дыхания, и душит мою грудь люта ненависть, бо ненавижу я тех главковерхов, що засилают до фронта нашего, как тую чуму, старих палачей царских, и крутят вони нас и не дают дыхаты, бо мы их ненавидимо. Усе, что есть одежды на нас, — то наша боевая трофея: сами подоставали. И корм, и фураж, и снабжение имеем только свое — кровью добытое в бою. Ну, мы на то не жалимся, потому что сами творим революцию и забираемо у панив свое добро. Того добра на нас хватит. И только прошу у Вас, дорогой Владимир Ильич, вместо того подозренного до нас человека главковерхом назначить нашего пролетария — хотя б Клима Ворошилова из Луганска або ж товарища Сталина, бо никто из нас не буде слухаться изменнических приказов об отступлении, потому что непонятно нам — какая такая есть тая стратегия, когда народ рвется до бою и добывает кровью свою землю от угнетателей и нам не дают ее ослобонить. Великодушно извиняюсь перед Вами за всю ту сказанную правду-матку, но больше нам ждаты невыносимо. Ждем Ваших указаний, любимый наш Вождь и отец. Комбриг Таращанский Боженко».

Продиктовав письмо Ленину, батько позвал политрука Чумака и сказал:

— Ты имеешь понятие о бойцах политически?

— В каком смысле, товарищ комбриг? Думаю, что я знаю своих бойцов.

— Верного человека мне надо, чтобы до Ленина послать, письмо отвезти.

Чумак на минуту задумался, кивнул головой и вышел.

У дверей стоял красноармеец.

— А ты с чем до меня, товарищ боец? — обратился батько к стоящему.

— Слышал ваш разговор, товарищ комбриг, и есть у меня собственное желание то письмо до Ленина доставить.

Батько посмотрел на серьезное лицо молодого бойца и улыбнулся, ласково прищурившись.

— Хочется самого Ленина повидать, брат, га? Ну ладно. Поедешь. И когда повидаете его, то скажи, что мне страсть как охота с ним повидаться. Так и скажи ему. — Батько Боженко встал, говоря эти слова. — Если бы не боевое положение и если бы не нужен я был тут при бою, то доехал бы я до него сам и поговорил с ним душа на душу. Да скажи ему, что оружиею ту, саблю золотую, не сдает Боженко врагу, а вскорости добьем мы Петлюру. и будем бить остальных белых генералов — поможем Дону и Донбассу... Гм.».

Батько кашлянул и задумался.

— Тут я написал о том. Ну, ты должен доложить ему и такое дело. Самоучно до всего дойдем. Народу украинському свобода нужна, и от себя он даст командиров и произведет их в достаче. Вон у Щорса своя академия — то с наших товарищей бойцов. А краше всего, если б сам он приехал до нас. Да ему некогда, знаю... — задумался батько. — Страна большая... Пусть же своих, от самого себя, людей присылает... А сам откеда?

— Городнянский я, отец.

— А-а! — протянул Боженко. — Щорсов землячок! Значит, поговоришь с Лениным? Партейный? Ну, на, расписывайся мне тут. — Батько достал из кармана маленькую книжечку с особо важными документами и дал бойцу расписаться на пустой странице. — Пиши: «Письмо до Ленина взял. Отдам только в собственные руки тому вождю». Свое фамилие...

И батько, вручив пакет, опустил в задумчивости на кресло и склонился над столом, видимо обуреваемый волнением и какой-то неотступной заботой.

Когда через полчаса явился политрук Чумак, он застал батька в той же позе и, остановившись у двери, осторожно кашлянул.

Батько поднял голову и узнал Чумака, махнул рукой.

— Уже отправив, спасибо, не треба. Скажи писарям, хай зовуть командиров па военный совет.

БАТЬКОВ СОВЕТ

— Товарищи командиры! — обратился батько ко всем собравшимся. — Я позвал вас для того, чтоб обмиркуваты^[51] про военни боеви наши дела, бо гадаю, що мало кому на сердци спокойно и богато, хто — не тильки з бойцов, но и з нас — не може сказати, що и для чого робиться на нашем фронти... Товарищи... — вздохнуд Боженко, — не я и не вы в тому вынни^[52], що те, що берем, знов кидаемо. Це бой, а не играшки^[53], людская кровь — не играшки! Ну, моя думка была така, що де-хто з нами грається. Ну, не штаб дивизии, бо там Щорс, — уси знают Щорса, що це ж наш любимый товарищ, наш Микола, которого мы знаем, що вин не зрадить. А щось робиться и звидки воно так, що мы шлы, шлы, як полагається, и дийшлы аж до Карпат, що вже ось Венгрию видно. И вже он Кабула доходив, до Львова адже вин у Бродах, а Калинин до Тарнополю, — коли на тоби: «Повертай, бригада»! А де ж те полки — славный Богунський, Новгород-Северський, Нежинський? Чи то вже нам за всех справляться? Що взяли — прочхали, кинули, мот пропили... ге... гм...

Батько закашлялся от волнения и стал набивать трубочку, намереваясь приступить к главному. Он еще раз откашлялся и вдруг сказал:

— Измена в тылу у нас! Засылают до нас шпионов, да не как-нибудь, а под видом «инспекции»... А ну ж, привести мени сюды того живодера, що сегодня «прибыл из центру». Приведите мени ту стару суку, ту стервозу — ось я его, ката, тут при людях допытаю и тут-то зробимо трибунал. Может, вы слыхали, що я порвал потрета, то я объявляю, що порвал, и до тех пор не верю я тому «главковерту», аж поки сам Ленин не отпишет ответ. Чи так я кажу, чи ни? Що роблю, то кажу, ото моя правда-матка. Бо я большевик, и ще мени голову на плечах пид колесами не одризло.

— Не сумневайся, отец, все понятно. О чем тебе сумлеваться? — отозвался Кабула. — Мы тебя понимать должны, как ты нас понимаешь.

В это время ввели того самого «инспектора», в котором узнал батько сегодня утром своего прошлогоднего палача.

— Га? — произнес батько. — Стоять смирно! — крикнул он в гневе приведенному «инспектору», оглядывавшемуся в растерянности по сторонам. — Хто ты такой, пес, признавайся! Призвище? Бондаренко? А зараз, по «мандату»? Гавриленко? Чим був до революции?

— Жандармский ротмистр.

— А в гетьмана?

— Главный комендант киевской варты.
— Арсенальцев убивав?
— Убивав.
— Розстрилював?
— Розстрилював.
— Лысу гору памятаешь?
— Памятаю.
— А мене не згадуешь?
— Ни, не згадую.
— Запаморочило?..^[54] хто тобі, гадюка, у морду жовтого писку кинув, ты того не памятаешь?
— Ни.
— А скільки разив ты на Лысу гору на розстрил возив революционеров? Мовчишь? Скільки людей ты розстриляв, руда собака?.. Без числа? Ну, а до мене який пес и за для чого тебе послав? Що це за пляшка? ^[55] — спросил батько, вынимая из кармана маленький пузырек. — Чия то мертва голова на ций пляшци? Твоя чи моя, гад? Хто тебе, пытаю, сюди надсилав? Главком? Який главком? Глаголев?
— Ни, не Глаголев.
— А хто такой Глаголев? Теж жандарюка, як ты?
— Нет, он партийный.
— Партийный? А зачем вин тебе сюда надослав?
— О том написано в мандате.
— Мовчи мени про мандата, гад, бо я тобі заткну глотку, стерво!.. Хто тобі и для чого дав оцю пляшку?
— Замначштаба главкома Басков.
— Пыши, писарь, все те, що чуешь, все пыши, бо це иде трибунал... А нащо, кажи мени видразу^[56], вин дав тобі цю пляшку?
— Для вашей смерти.
— Эге, для моей? — сказал батько, и страшная улыбка исказила его лицо. — Не вгадав... для твоей... Скажи пому на тим свити, як зустринетесь, ироды, у дьявола на засидании. Покоштуешь^[57] сам, голубчик, цией выпивки... Кажи, стерво: хто такой Басков?
— Жандармский полковник, мой бывший начальник, А теперь он пользуется доверием Троцкого.
— От який у нас тыл, бодай йому болячка! — сказал батько, тяжело вздохнувши. — Пышы, писарь, усе пыши. Выведить його до вязници, бо в нас е други дила.

Батяко с презрением махнул рукой и отвернулся.

— Выходь! — крикнул часовой, и жандарма увели.

— Трибунал... допытать мени туя стерву, щоб все чисто сказав вин, щоб я завтра знав усе чисто, а нам тут не до того. Е боеви дила. Бачылы, командиры, що робыться? Усе понятно?

— Понятно, — отвечали командиры.

— А ну, позвонить мени до Щорса, позвить його до проводу, я ему сделаю доклад. Хай знае. Не бывать тому, щоб мы срывали фронта! Хай почистят штаб главкома, а тоди командуют — повертаты. Вин, мабуть, повсюду хоче «повертаты» — отой «главковерт»? Какое твое слово, товарищ комполка Калинин? Каково положение па твоём фронте?..

— Я не со всем согласен, товарищ комбриг. Что тыл надо почистить — правильно. Что в штабе главкома и повсюду в армии враги имеются — верно. Но фронт, отец, наша ответственность. Рассыпан, растянут он и клином врезался до отказа, а враг концентрирует сильный удар под Проскуровом. Я считаю, что надо доложить обо всем Щорсу. Не думаю, чтобы для Щорса оказалось особенно неожиданным то, что мы здесь видели. Но приказ о движении на Проскуров подписан Щорсом, и это дело фронта, а не тыла.

— Молодец, Калинин, люблю, когда правду кто смело говорит. А вы что ж молчите? А ну ты, Кабула, какое имеешь мнение?

— Я, отец, имею такое мнение: генеральное сражение дадим там, где оно приспее. Под Проскуровом? Ну, дадим под Проскуровом. Уходить от родины далеко сейчас нельзя.

— Верно сказал, сынок: кругом враги петлю накидают. Эх ты, тряся твоей матери, распроклятая зрада! Верно, командиры, надо давать генеральное сражение.

В это время батяка позвали к проводу, Щорс его ждал на телеграфе в Житомире.

— Арестовал инспекцию главкома, — докладывал батяко Щорсу. — Предаю суду трибунала и расстреляю.

— Пошли ко мне, — говорил Щорс.

— Не могу: в дороге устроят побег, будет как с Зеленым. Дозволь расстрелять на месте.

— Не допросив подробностей, не расстреливай, шифровкой передай мне суть допроса. Без моей санкции ничего не делай.

— Слушаюсь твоего приказа, но сержусь на тебя, что ты меня, старого, учишь.

— Разработай свою часть приказа, Василий Назарович: твое движение,

заметь, с правого фланга на левый. Сам буду ко времени боя. Если не приеду, командовать будешь ты.

— Благодарю за доверие. Очень хотел повстречаться с тобою. Гляди, Микола, за шпионством: кусучие мухи по осени. Укусят они нас с тобою.

— Прощай, до побачення.

ГАНДЗЯ

Боженко пришел домой поздно. Полька Гандзя, поселившаяся в штабе батька, давно приготовив обед, развлекалась тем, что обучала капельмейстера Кивина польскому языку и за каждое неправильно произнесенное слово дергала его за ус, по принятому им самим условию. Зато, если он произносил его правильно, Гандзя давала ему орех. Кивин был весельчак, и эта игра с веселой молодой женщиной доставляла ему удовольствие. Он так хохотал, что Филя, несколько раз заглядывавший на новую «хватуру» батька по хозяйским делам — насчет обеда и прочего батькового довольствия, — начинал уже завидовать его, Кивина, положению. Однако завидовать, может, и не стоило, так как Кивин ошибался больше, чем угадывал, и больше нащипан был, чем наделен орехами.

Батько шел домой в сопровождении Кабулы, который должен был немедленно, в ночь, отправиться к своему полку и «потыху», как приказывал батько, сняться с позиции и пойти на Кременец — на смену Калинину. Калинин же из Кременца направлялся на Ямполь. Сам батько из Дубно избрал путь на Острог и Шепетовку.

Подойдя к квартире, батько услышал звонкий девичий смех Гандзи и чье-то завыванье. Это воспроизводил, уже теперь в наказание за ошибки в польском произношении, звучание разных инструментов капельмейстер Кивин.

— Весело у тебя в штабе стало, отец, — кивнул Кабула.

— А тебя завидки берут, хлопче? Думаешь, старый здурив, та с горести оженился? Эх ты, дурна голова! Коли так думаешь, то худо знаешь ты своего батька. Ну, давай заходи на минуту, той и побачишь, яка у меня донька завелась. Зато чисто-мыто и весело стало.

Когда вошел батько, Гандзя бросилась ему навстречу. Она что-то лопотала по-польски, чего батько не понимал, и показывала на растерявшегося Кивина, который в увлечении игры совсем было позабыл, что он в чужой квартире, да еще в квартире грозного батька. Он стоял, взяв руки по швам, но постепенно под суровым взглядом батька руки его начинали шевелиться не то в такт его безмолвным объяснениям, которых он не смел произнести, не то это были привычные для него отбивания тактов, которые, быть может, делал он и во сне.

— Ты как сюда затесался? — спросил его батько, принимая суровый

вид, но едва сдерживая смех при виде растерянности Кивина.

— Та це я, тату, та це я! — лопотала полячка, таща батька за рукав к столу, на котором стоял остывший уже обед, накрытый чистой салфеткой.

— Ну, сидайте, гости, выпьем по чарци, — пригласил батько гостей — Кивина и Кабулу.

— Може, кто з вас, хлопцы, и оженится на моей дони после нашей победы? Бачь, яка вона весела птаха. А ще що добре — немає страха.

БОЙ ПОД ПРОСКУРОВОМ

— Жаркий денечек, товарищ Никитенко!

Никитенко, командир батареи, смотрит в бинокль и отвечает наводчику басом:

— Погреемся, Козлов. Гляди, руки не обожги. Поглядывай там! Трубка... закладай. Угол... Огонь!.. Трубка... Угол... Огонь!.. Из четырех, как из двенадцати, как говорит батько. Очередь. Бомбой. Пали. Огонь! Огонь! Огонь! Шрапнель! Трубка... Угол... Огонь!..

Пехота подползла, укрываясь в жите. Первые ряды уже переползли в ложбину, где в прикрытии стояло восемь орудий батареи Никитенко. Ряды неразмыкающейся пехотной цепи проходили у самых орудий, покрикивая:

— Эй, жарь, братки, не затихай, а то пули больно секутся!

— Крой, огневое прикрытие, для разнесчастной пехоты! Не жалея снарядов, зараз в штыки пойдем!

— Здоров, Козел! Поддай пару! Да прощевай на всяк случай, авось, может, больше не увидимся, — смеялся боец.

— А ты не отдавай черту душу прежде времени, — смеялся в ответ Козел, поднося снаряды к орудию. — Она у тебя, брат, не доходная — никто и свечки не поставит.

— Гей, богуня гудет. Кашеева-бессмертного батальон... Видать по чубам и по расшивке. Вишь ты, в бой идут с красными бантами, принарядились, бьгдто на параде.

— Эге, наша Тараща еще побантистей!

Пехота подползла к вершине холма у Черного Острова. Под холмом, по ту сторону, лежали окопавшиеся цепи галицийской пехоты.

— Знову зустрічаємось, приятелі галичане, бо ми вас вже і тут і там зустрічали. От і зустрілись. Скидай штаны!..

— Ура! — прокатилось по всей линии.

Никитенко, пристрелявшись загодя, сыпанул еще последний разок «из четырех, как из двенадцати» по окопам галичан.

Сержупанники зашевелились и стали выбегать из окопов, как ошпаренные кипятком клопы из щелей.

Заслон из отборных галицийских стрелков был смят одним батальоном богунцев. Два резервных батальона, направлявшиеся на Аркадинцы в обход Буга, получили неожиданную возможность перейти Буг у Черного

Острова. Перейдя мост, богунцы двинулись на Редко-дубы, чтобы под прикрытием бронепоезда наступать с запада на Проскуров.

Эскадронам таращанцев было приказано ударить по Аркадинцам и установить связь с Нежинским полком, идущим из Летичева на Межибужье.

Галицийская кавалерия, заметив обход пехоты к Черному Острову, прорвалась к Аркадинцам, имея задачу обойти с тыла перегруппировавшуюся красную пехоту и сбить ее при переходе через мост. Этот рейд был ловко рассчитан галичанами.

Денис, стоя рядом с Кабулой на железнодорожной насыпи и оглядывая в бинокль местность, заметил вдали движение кавалерии. И еще прежде чем командовавший боем на этом участке Калинин, получивший новый приказ о развороте таращанцев на Аркадинцы, успел предупредить о движении кавалерии, Денис с Кабулой сами решили ударить во фланг появившейся на горизонте галицийской коннице. Эскадроны стояли в прикрытии в лесу, под холмами. Подав команду к атаке, Денис и Кабула помчались к лесу, взяв по эскадрону. Они вышли из лесу двумя просеками на широкую поляну, к которой в это время подходила галицийская кавалерия. Надо было перехватить галичан в поле, не дав им прикрыться лесом. Галичане сбочили к лесу, думая замаскироваться.

— Вертай в лес и выходи им по боку, вон тою балкой, а я их тут встречу, — крикнул Кабула Денису.

Но Денису не терпелось тотчас же броситься на галичан.

Не обратив внимания на слова Кабулы, будто не расслышав их, Денис полуобернулся к эскадрону, свистнул и, выхватив саблю, понесся вперед.

Галичане, на мгновение ошеломленные неожиданностью, остановились.

Кабула, задержавшись из-за того, что первым вырвался Денис, выждав минуту, помчался вслед за ним. Кабула летел со своим эскадронам чуть-чуть наискосок, создавая этим впечатление обхода. Ворвавшись на полном ходу в середину конной колонны галичан, он как бы разрубил ее пополам и сделал разворот лавой, окружая противника с тыла.

А Денис налетел на первую колонну в грудь, не дав ей опомниться и даже вынуть сабли для отражения атаки. Он, как в рубке лозы, рубанул по всаднику направо, потом налево и в тот же момент ударился конем о коня переднего всадника и сбил его с седла силой разбега.

Упавший на землю галичанин поднял кверху руку, и Денис вдруг узнал в нем своего старого «приятеля», есаула Овчаренко, при помощи которого — обманывая некогда Паляя в Конотопе — в декабре прошлого года

разоружил он генералов Иванова и Семенова в Город-не. Однако, разгадав план Кочубея, Овчаренко бежал внезапно и увел с собой целый эшелон оружия, которое не успел в быстроте маневра отгрузить партизанам Кочубей. Это был тот самый Овчаренко, что сдался батьку целой бригадой в Новоград-Волынске и изменил вскоре.

Не забыл ему Денис ни того, ни этого.

Овчаренко тоже узнал Дениса и крикнул:

— Гей, пане атамане, не рубайте меня, я ж Овчаренко!

— Вижу тебя, пес в овечьей шкуре, — охнул Денис и, срывая занесенный удар и просвистев саблей над самой головой есаула, крикнул: — Вот тут ты мне и попался, чертова ворона. Заарканьте мне его живого, да чтоб был он цел! Слыхали? — бросил он кавалеристам.

Заблестали над головами «стрильцив» острые сабли таращанцев.

— Що, иуды! Ще раз зустрілися? Пожартували, псяюхи! Положились на шляхту тай дали маху? — кричали таращанцы, помня недавних предателей и рубя их беспощадно.

БАТЬКО

— Что там к свисту пули — к штыку можно привыкнуть: ткнул в пузо, ногой отпихнул, вынул и пошел. Снова ткнул, пнул, вынул и пошел.

— «Ткнул, пнул...» Вот храбрец ты какой! — передразнил другой боец, только что перед тем рассказывавший, что он «пули меж пальцев свободно про-пуцает».

— Подниму это я руку и пальцем шевелю, брат, а они что пчелки возле дыму: знай вокруг пальца сами вьются... И опять же сожму я их это в кулак и отброшу... отдаля себя...

— Было, брат, и мне такое дело. Разинул я это рот, зевнуть захотел. Глядь — будто в рот тебе кто камушек положил или орех. Плюнул в кулак, а в кулаке пуля. Должно, что шла на излете.

— Да бросьте трепаться, чертовы скрипачи! Чего зубы заговариваете?

— Что ж! Мы как есть пуле зубы заговариваем: ведь покуда человек говорит, известно, потоле он и живой есть. А как замолчит...

И вдруг только что пошутивший боец откинулся навзничь и замолк.

— Вот и дотрепался, — горестно сказал тот, что усовещивал товарищей, и подошел к убитому.

— И как есть же в рот ему, стерва, попала. Бывает же такое совпадение...

Разговор этот происходил в засаде на стыке двух полков — Таращанского и Богунского. Убитый был связист, таращанец. И теперь вопрос связи несколько усложнялся.

— Я что-то ихнего брата, таращанцев, не пойму. Говорят, командир у них, «папаша Боженко», плетью своих бойцов оглаживает, а они его сверх того крепче еще любят. Говорят: «Папаша у нас — доброта»...

— Опять завели бабские брехни. Ну, к чему оно? Вот я, скажем, того батька знаю, как родного, был у него сам, еще при нейтральной зоне, так это отец — во! Дух, а не человек! Последним своим с бойцом поделится. Чи тебе... опять зажужжало. Ложись, не хапан ртом пулю, помолчи малость, — поперхнешься, она на язык липнет!

— Сам скрипишь, а другим — «помолчи»! Так совсем поспнем небось — живых не поймают. Пуцай уж лучше мертвого: все одно насмерть издеваться будут, как сымут.

— Тебе допрежь всего язык отрежут, бо у тебя он, как привязанный, одно — звонит. А кто ж живым врагу сдается, дура?

— Ну, я скажу про того «папашу». Чи тебе сапог нет — даст сапоги, а сам в лыковых лаптях ходит. «У мене, говорит, ревматизма, ноги дышать хочуть». Чи тебе жениться надо, чи дома мамаша приболела, чи там куркули твоих сирот забижают... «На тебе, говорит, миколаевскими деньгами сто рублей, да керенскими тыщу, да петлюровскими полтыщу — для кулачья, еще верующего в пана або в гетмана, — поезжай домой на целую неделю. Отгуляй, с девкой своей обвенчайся, або мамашу заспокой и назад до меня повертайся, как до отца. Да не один мне вертайся, а веди до меня опять же новых сынков, бо бойцов за социализм мне нужно для Красной Армии поболе». Ну, я ему за те речи пообещал целую роту привести — и привел..» Сколько, ты думаешь?.. Пятьдесят пять, брат, человек. Он и говорит мне, папаша таращанской... Стон! Кто идет?

— Свои идут, — откликнулся кто-то из-за кустов, и говоривший узнал по голосу того, о ком только что рассказывал.

— Что ж вы, чертяки, связи не шлете? Плетей, что ли, захотели? Где связист?

— Отец, папаша дорогой, закрыл свои очи товарищ Пинчук! Вот он лежит под шинелью, пулю проглотнул... Мы ж тут как раз советуемся — кому до вас идти с донесением. Вот я, как старый таращанец, и хотел сигануть до вас, а тут как есть вы и предъявились... Да нагибайтесь — тут пуля землю роет, что твоя сошка, вишь, все кругом исковыряно. Отойдите, товарищ Боженко, вон за ту прикрытию, за ту могилку. Я туда с вами отойду и доклад в точности отрапортую, как по карте.

— А, это ты, Мелехтей? Вот не узнал тебя одразу. Чего ж ты не в моей части? Га?

— Да вы ж меня до Щорса сами откомандировали еще на первом походе со всем взводом, що я привел до вас, как по тому времени у Богунии было бойцов в недостатке, а у вас, можно сказать, перевыполнение. Ну, где служить не служить — все одно Красная Армия. Как товарищ Щорс и прочие товарищи, как Михута наш, или там Кащеев-бессмертный, все они большевистского мнения. А мы по народности все в революционной армии состоим...

— Вот что, товарищ Мелехтей: ничего мне не надо, сам я все вижу. Сиди тут, и если оттуда пойдут наступать — на тебе вот эту трубу, — потруби, голубчик, то я тебя услышу. А более пока ничего не требуется.

Батько нырнул в кусты так же неожиданно, как и появился. А через минуту Мелехтей и его товарищ по дозору, новгород-северец Боволя, услышали топот. Это батько с Казанком, проверивши секрет, помчались к своим полкам, повернутым неожиданно на Межибужье.

Батько получил сообщение о том, что богунцы у Черного Острова прорвались дальше через Буг по мосту под прикрытием огня броневика, подошедшего со стороны Деражни, но галицийская кавалерия в свою очередь вырвалась в рейд между Деражней и Богдановской, на участке Нежинского полка, оставившего позиции и ушедшего назад к Деражне.

Первоначальная диспозиция боя была сломлена этим позорным бегством нежинцев с ответственного участка.

Это был тот неудачный момент боя, которым воспользовалось петлюровское командование, выиграв время на перегруппировке наших войск. Положение спасли лишь отчасти своим кавалерийским маневром Денис и Кабула. Прорвавшаяся в незащищенный участок кавалерия галичан была задержана ими: частью изрублена и частью взята в плен, а те, что успели повернуть назад, помчались к Шумовицам, выйдя навстречу рейдировавшей через Фельдштин в обход Проскурову бригаде червонных казаков, и попали под их сабли. Вся Двадцатая кавалерийская бригада галичан была уничтожена, а две пехотные дивизии смяты и отогнаны у Черного Острова богунцами.

Но если б не предательство нежинцев, вышедшие из Бара новгород-северцы заняли бы Новую Ушицу, и при поддержке их флангового наступления был бы взят не только Проскуров, как намечал Щорс, но и Каменец-Подольск. Слух о бегстве нежинцев и о прорыве галичан заставил богунцев, дравшихся уже на подступах к Проскурову, вновь отступить к Черному Острову.

Лишь тут, узнав о ликвидации рейда галичан тара-щанской кавалерией и о том, что положение на остальном нежинском участке восстановлено, богунцы вновь перешли Буг и стали наступать на Проскуров.

Начинало темнеть, шел сильный грозовой дождь, и утомленные бойцы не могли закрепить за собой город.

Между тем эта ночь и решила все в исходе боя. Петлюра подтянул около шестидесяти тысяч войска, то есть пустил здесь в дело абсолютно все свои резервы, состоящие главным образом из галичан, которые способны были драться с дерзостью отчаяния, и пообещал им за разгром красных отбить Галичину от легионеров.

Он бесстыдно лгал им, потому что уже давно дал слово Антанте действовать против большевиков заодно с белополяками и уступал им Галичину за помощь в этой борьбе; так продавался он направо и налево.

Но пока шестьдесят тысяч галичан, вытесненных пилсудчиками за пределы родины, дрались тут за провокатора, продавшего их заранее Польше.

Красной Армии не удалось закрепить за собой Проскуров. Опасаясь нового прорыва, Щорс приказал своим полкам отступить на исходные позиции.

Это было ударом для Щорса.

То, что нежинцы не выстояли под Проскуровом, вызвало необходимость выравнивания фронта и втягивания обратно выдвинутого клина, то есть отказ от немедленного похода на Галицию. К тому моменту и главный центр галицийского восстания был ликвидирован. Повстанческое движение против белополяков было спровоцировано вмешательством Петлюры, его сговором с боротьбистским повстанкомом и тем сломлено.

Денису не терпелось поскорее поговорить со Щорсом. После боя он немедля выехал на Житомир.

В Бердичеве, вылезши из вагона, он на платформе наткнулся на Щорса, возвращавшегося в штаб дивизии.

— Едешь? — спросил Щорс, увидев Дениса.

— Еду, — отвечал Денис.

— Я сейчас отсюда на Житомир машиной. Со мной только дивизионный комиссар Бугаевский, возьмем и тебя.

Вскоре подошел Бугаевский и, поздоровавшись с Денисом, сказал:

— Убеди хоть ты его ехать поездом. Тут Соколовский орудует по шоссе, и за нами, конечно, будет слежка. Не дури, Николай, едем поездом. Пойми, что ты — Щорс.

Но Щорс дорожил каждой минутой. Таким напряженным Денис еще никогда не видел Щорса и понимал его: эти дни решали — победа или поражение. Под Проскуровом Щорс в первый раз потерпел поражение. Но дело было не в самолюбии Щорса, а в срыве всего стратегического плана.

Денис сказал Бугаевскому:

— Он все равно поедет. Мы все трое — пулеметчики. На машине пулеметы имеются?

— Два есть.

— Еще бы три десятка гранат Новицкого — и никакая банда перед нами не устоит.

Бугаевский все-таки тайком от Щорса позвонил в Житомир курсантам щорсовской школы и сообщил, что Щорс выехал по Житомирскому шоссе.

Щорс, отдавши последние распоряжения коменданту, уселся рядом с любимым своим «максиком»,

Сумерки начали сгущаться. На пятидесятом километре Бугаевский,

державший бинокль не отрывая от глаз, толкнул шофера и шепнул:

— Давай полную скорость!

Он оглянулся на Щорса и Дениса и вынул гранату. Щорс кивнул: мол, вижу — и, сбив фуражку на затылок, стал прилаживать ленту.

Денис положил свой кавалерийский «люйс» на изготовку и примостил на колени запасные диски. Машина пошла полной скоростью. Впереди на шоссе густо маячили человеческие темные фигуры, делавшие перебежку. Бугаевский приподнялся и поднял гранату. Вдруг он обернулся и крикнул:

— Не стреляй, Николай! Свои!

Люди расступились, пропуская машину, бросая вверх бескозырки.

Когда проехали с полкилометра и шофер сбавил ход, Бугаевский обернулся и объяснил Щорсу:

— Молодцы твои курсанты. Я им звонил два часа назад. Это они.

— Что ж ты наделал? Я чуть было не дернул курок, — отвечал Щорс, побледнев. — И не простил бы я себе никогда этого несчастья.

— Что же ты не предупредил? — спрашивал он Бугаевского уже за ужином, поздней ночью, после заседания командования в штабе.

— Я не ожидал, что они за два часа очутятся ниже Кодни. Я решил предупредить тебя после Кодни... А теперь поговорим насчет реванша, — продолжал Бугаевский. — Ты говоришь, бой будет под Проскуровом, раз «они» того захотели? Я буду с тобой спорить: под Проскуровом боя давать не следует.

— Ну конечно, конечно, — улыбаясь, сказал Щорс. — Это было сказано для вражьего уха... На тот случай, если оно было поблизости.

Щорс встал на стул коленками, по своей манере рассматривать на столе карту, и начал втыкать тут и там булавки с красными флажками.

— Куда запропала Сорок пятая? — ворчал Щорс. — Да, кстати, — обернулся он, — ведь тебе, Денис, выезжать надо в Киев. Завтра встретишься с Рыжим, как ты его окрестил, и поедешь с ним... Выясни, в чем там дело с галицийским повстанком.

ЛЕВИЦКИЙ

— Честное слово, Денис, лети-ка поскорее в Галицию, — настаивал Бугаевский. — Надо это кончать.

Он знал от Щорса о предложении Дениса связаться с восставшими против белополяков галичанами и перебросить оружие через Карпаты.

— Да ведь восстание предано, — печально сказал Денис. — Это уже известно.

— В чем же зарыта собака? — спросил Бугаевский.

— В Рыжем, — отвечал Денис.

Бугаевский, переглянувшись со Щорсом, спросил:

— В Левицком?

Щорс кивнул утвердительно головой.

Бугаевский насторожился.

— Это, братцы, требует объяснений.

— Щорс дает мне в спутники этого Рыжего.

— Левицкого... — поправил Бугаевский.

— Да, его. И у меня есть предположение, что это и есть тот самый Левицкий, что подписал в Бресте договор со стороны Рады и звал оккупантов на Украину.

Бугаевский слушал, положив подбородок на эфес сабли, упёртой в пол. Когда Денис кончил, он поднял голову, чуть выдвинул из ножен саблю и с силой всунул ее обратно.

— Дело серьезное, — сказал он. — А почему же в самом деле, Николай, нужно посылать с Денисом Левицкого?

— А как же ты без него обойдешься? Ведь он галичанин, сам член повстанкома в Галичине. Через него мы, собственно, и имели всю информацию и явки.

— Которая вся провокационна, — отрезал Денис.

— Помолчи, Денис, — удержал его Бугаевский, — дай сказать Щорсу.

— Похоже, что Денис прав, и похоже, что вся информация провокационная, если судить в особенности по тому делу с бригадой галичан, перешедшей на нашу сторону в Межиричах и изменившей в Новоград-Волынской, — проволынила и обманула. Я тогда же заподозрил Левицкого. Это он нам их гарантировал и вел с ними от штаба переговоры, да и многое другое, о чем я еще не могу уверенно говорить. Задание по этому вопросу я дал кому следует, но пока веских улик не имею. Поэтому я

предлагаю Денису ехать с ним в Киев.

— Вот после этого заявления я готов ехать, — заявил Кочубей. — Ведь все равно по плану нам надо ехать в Киев: мне — достать самолет, а ему, как члену повстанкома, за явками. Какие же ему надо явки, когда он сам оттуда? Вот я и поеду и посмотрю; меня интересуют не только галицийские, но и киевские явки этого «повстанкома». Может быть, этот «повстанком» имеет двойное задание?

— Двuruшническое, ты хочешь сказать? — спросил Бугаевский.

— Похоже.

— Поезжай, — положил Щорс руку на плечо Денису. — Поезжай, Кочубей! Ты доглядишь.

Утром Денис вышел в парк. Навстречу по аллее шел человек. Денис направился к нему, думая, что это идет Рыжий. Каково же было его изумление, когда в идущем он узнал полкового песенника, старинного своего пестуна, Грицька Душку.

— Откуда взялся? — спросил Денис, здороваясь.

— Прослышал о вас, что собрались в Галичину. Без меня, я считаю, невозможно: вот я и прикомандировался сюда, чтобы лететь с вами через Карпатские горы — некуда полагается.

— Откуда ж дознался, когда это секрет?

— Знаю, что секрет, я по секрету и узнал у батька Боженко. Да не совсем так у батька, а прямо у Кабулы.

— Так ты и ври.

— Нас не бросишь, — проворчал Душка.

— Что ж ты военную дисциплину нарушаешь?

— Никак нет, Денис Васильевич, мы с прямого согласия товарища Кабулы: имеем откомандирование, полный аттестат и денежный паек. Товарищ Кабула сердечно беспокоится.

— Ну, что ж теперь делать! Поезжай со мной до Киева, а там видно будет. Только заметь: я еду с одним таким Рыжим, так ты поезжай как бы сам по себе. Понятно?

— Все понятно, — шевельнул усом все понимающий с первого слова «Душа».

— А деньги есть?

— Имеются.

— На тебе еще немного. А теперь иди прямо на станцию, жди поезда и примечай меня. Ты один?

— Да нет, там еще двое наших на станции... я — как разведчик.

— А-а, я так и знал, — протянул Денис.

В КИЕВЕ

Вагон, в котором ехали Денис с Рыжим, был битком набит красноармейцами. Рыжий, очевидно обозленный тоном превосходства, принятым Денисом по отношению к нему, занял со своей стороны тоже вызывающую позицию. Не ответив на несколько обращенных к нему Денисом вопросов, на последний, уже раздраженный вопрос: мол, не оглох ли он, — Рыжий зло бросил:

— Принципово по-русски не разговляю.

А напротив них, ни глазом не моргнув, ни усом не шевельнув, окаменевший в созерцании, как степная скифская баба, сидел, обычно живой и задорный непоседа, Грицько Душка, наблюдая малейшее движение Рыжего.

Того вскоре стал беспокоить этот каменный, вперенный в него взгляд. Денис едва сдерживал улыбку.

Вокруг них шумел народ. И, прислушиваясь к голосам бойцов, Денис думал:

«Черта сделают подлецы и провокаторы с этим буйным морем народа! В таком котле все черти всмятку сварятся!»

И один из бойцов, как бы подслушав его мысль, вдруг сказал, стукнув себя по груди кулаком:

— У моих грудях столько ненависти, что только зыкну, так кругом стервадохнет!

Вот и крутые обрывы Киева видны в окошко.

По воспоминаниям, для Дениса Киев — недавно враждебный город: здесь год тому назад гетманчуки его водили на расстрел. И хоть по случайным обстоятельствам ему не пришлось в последнем походе дойти до Киева с богунцами и тарашанцами и брать его лихой саблей, но он знает от своих товарищей, как сдавшийся без боя город долго еще жалил, словно змея, в спину красных бойцов. «Много еще в этом городе недобитков, много, — подумал Денис, — еще будут долго жалить!»

— Ну, до видаймось^[58], шановний товарищ, — раскланивался Рыжий с Денисом, намереваясь немедля улизнуть из вагона.

— Куда же это вы? Можно и не торопиться, пусть люди выйдут, — отвечал спокойно Денис.

— Я гадаю — наши завданья зараз рижни^[59], — разводил руками Рыжий.

— Нет, я с вами, — отвечал решительно Денис.

— А чего там вам тра?

— Мандат у нас общий и задание общее, — отвечал Денис.

— Це ще не факт, — отвечал Рыжий, намекая на свою особую роль.

— Факта я действительно еще не вижу, — отвечал Денис, шагая рядом с Рыжим и давая ему понять, что он его от себя не отпустит.

Рыжий пожал плечами и направился к трамваю.

Сел в вагон и Денис, а в следующий, прицепной, — Душка.

— Це божевильство! — не выдержав характера, раздраженный неотступностью Кочубея, буркнул Рыжий.

Они прошли на Братскую улицу, и Рыжий завернул в особняк.

Войдя в вестибюль, Рыжий и тут хотел улизнуть, оставив Дениса ждать в приемной, но Денис растворил дверь скорее, чем Рыжий успел опомниться, и очутился прямо перед Гнатом Михайличенко.

Михайличенко, бледный, сидел у письменного стола в кресле, обложенный подушками. Он держал у рта платок и кашлял в него кровью. Его окружали лидеры боротьбистов — Любченко, Гринько, Яловый, Блакитный.

Это был клуб идеологов национализма под флагом штаба революционеров. Появление неизвестного многим Кочубея и вслед за ним всполошенного Рыжего, из-за спины Дениса делавшего предостерегающие знаки, произвело в собрании замешательство.

— Вы Гнат Михайличенко? — обратился Кочубей.

— Так, це я, — впиваясь испытующими, лихорадочными глазами чахоточного в глаза Дениса, отвечал тот. — А чим я вам потрібный?

— Та це ж Денис Кочубей, — притворно нежным голосом объяснил Блакитный Гнату. — Це ж мий однокашник по клясам, черниговский партизан. А що ж до нас тебе завело, брате? — обратился он к Денису.

— Я имею вопрос исключительно к Михайличенко, — отвечал Денис. — Я от Щорса, от начдива Сорок четвертой, которая прорывалась к вам на помощь в Галичину и с которой вы связали галицийские части через повстанком. Ответьте мне на несколько вопросов.

Гнат улыбнулся и кивнул головой.

— В чьих руках было движение в Галичине? Какова была численность повстанцев? Какова была ваша связь с галицийскими частями Петлюры? И каково их отношение к полякам? А затем — что делается там теперь?

Рыжий, стоя за спиной Гната, что-то чертил в блокноте, и, прежде чем Гнат собрался ответить Денису, он передал Гнату записку.

Гнат бегло взглянул и хотел отвечать Денису.

— Та у него ж прострелени легени^[60], ему говорити не можно, — волновался Блакитный.

— Я задаю вопросы бойцу на поле боя, — резко ответил им Денис.

— А мы не передаемо своего прапора в чужие руки! — взбеленился Блакитный, и все кругом зашумели. А Рыжий бегал по комнате и разводил руками. — Та ми ж можемо випроводити тебе звидци просто за таки речи! — восклицал, захлебываясь, Блакитный.

— Если даже Михайличенко не ответит, я все ж тем самым получу нужный мне ответ, — невозмутимо сказал Кочубей.

— От ще напасть! Долой его!

Гнат махнул рукой, требуя молчания, и медленно, с трудом ответил Денису:

— Повстанком возглавлял я — и я отвечаю за все перед пославшей меня нашею боротьбистской партией. Повстання зломано. Я визволений з плена вашими ж богунцами под Проскуровом во взятом ими обозе. Повстання зломано надовго, и мы посылаем туда своих людей. И вас в это дело не привлекаем больше.

Лишь теперь Денис почувствовал, в какое змеиное гнездо он попал. И, кивнув одному только Михайличенко, он вышел...

Денис направил Душку к Щорсу с письмом, в котором сообщал все, что узнал от Гната, и просил, чтобы Щорс со своей стороны дал знать кому следует через Бугаевского о провокационной «самостийнической» работе боротьбистов в отношении Галичины и, в частности, о роли их представителя, Левицкого.

Но надо было попытаться все-таки достать самолет. Может быть, еще можно связаться с Галичиной.

И он направился в Совнарком, помещавшийся в гостинице «Континенталь».

.. Денис быстро поднимается по роскошным лестницам, поворачивает в длинный коридор и бежит по ковру.

«Броситься бы через карпатские протоки навстречу Кабуле, идущему с Бродов на Львов, и Калинину, идущему на Тарнополь», — думается ему.

Денис в приемной Совнаркома. Он тяжело дышит.

Патлатая, накрашенная секретарша смотрит на него сонными, удивленными глазами. Денис показывает свой мандат и требует аудиенции.

— Сегодня нет приема, — отвечает секретарша, пробегая глазами мандат. — Откуда вы, товарищ? Вероятно, с фронта? К вам плохо доходят газеты или вы не читаете их вовсе и не знаете, что уже изобретен, например, велосипед?

Секретарша подает ему газету.

Денис читает на первой странице сообщение о падении Советской республики в Венгрии и резко бросает газету.

РАЗОРУЖЕНИЕ НЕЖИНЦЕВ

В тот день, как уехал Кочубей в Киев, к Житомиру подошел эшелон с Нежинским полком, затребованным Щорсом с фронта.

Полк не конвоировался: командиры его были отозваны раньше и преданы суду за измену под Проскуровом. Полк получил приказ стать в Житомире на отдых и переформирование.

Настроение нежинцев было неважное. Что такое, мол, случилось? «Ну и что ж с того, что ушли с боевого участка? Не всякому помирать желательно. Сильно поднапер Петлюра, а мы повоевали сколько хотели, да и бросили. А коли на отдых приглашают, то это нам очень даже желательно. Отсюда можно будет и домой на побывку заскочить, а при случае и вовсе дома остаться. Бо отвоевали мы свою территорию — и довольны. А для чего воевать нам на Воляни да еще и далее? Может, Щорс опять какой-нибудь поход надумает — мы об том не знаем...»

Провокаторы, видно, немало постарались для обработки неустойчивых нежинцев.

Все, кто узнавал по пути, что «плывут» на Житомир «eroи нежинцы», непременно обращались к ним с выражением презрения и негодования.

Какой-нибудь проходящий по перрону станции боец отворял двери их теплушек, которые они со стыда закрывали на станциях, и вступал в словесный поединок с целым вагоном вооруженных до зубов, и разъяренных нежинцев.

— Эй, вы, шатия! На богомолье отправляетесь, до святых мощей киевских? Едете домой на мамину кашу? Огурцы солить надумали нежинские? Нежность ваша повсюду известна... бабам без вас не управиться? Ах вы, проскуды! Предатели. Сколько из-за вашего хамства нашего брата пострадало, об этом у вас печенка не свербит, плитуны несчастные. Да вы ж с пулемета стрелять, кажут, не умеете: лопаткой очи закрывши, прицелку делаете, Петлюре зад показываете. Ну, даже он на вас обижается, что с таким супротивником и ему срамота воевать.

Нежинцам нечего было отвечать на эти заслуженные упреки и насмешки, и все, кто посовестливее, понимали всю правоту этих упреков и молчали, с грохотом закрывая дверь теплушки, а кто понаглей — старались, как могли, отругиваться.

Уже вдали виднелся Житомир, и нежинцы начали волноваться.

Вдруг эшелон стал сбавлять ход. Паровоз дал тревожные гудки и

остановился в чистом поле. Нежинцы высыпали на насыпь, крича машинисту:

— Что ты стал в чистом поле? Давай ходу!

Но навстречу шел паровоз с прицепным тендерам и несколькими вагонами.

Поезд остановился в нескольких саженях от эшелона. С паровоза спрыгнуло десятка три-четыре человек. Впереди шел что-то очень знакомый человек.

Уж не Щорс ли сам? Похоже, что он. Так и есть, начдив Щорс! Тот самый отважный богунский командир, чья слава с первых же дней его боевых действий стала легендой партизан, а сейчас превратилась в легенду армии.

— Назад, к эшелону! По вагонам! — закричал Щорс, подходя к сгрудившейся на насыпи толпе. Под правой рукой держал он ручной пулемет «люйс».

— Как раз тебе — назад! — дерзко отвечали выступившие вперед заводилы. — Ты кто такой? Что за приказ явился? Очищай путь, давай ход на Житомир!

— Я — Щорс, и не видать вам ни Житомира, ни отдыха, ни боя, если не будете слушать того, что я вам прикажу.

— Ух ты, какой герой! Тащи сюда пулеметы! — крикнул один из нежинцев.

Щорс переложил гранату в левую руку и из нагана на месте уложил бандита.

— Если кто шевельнется, взорву всех! — крикнул он, перекладывая гранату в правую руку. — По вагонам!

Нежинцы оторопели.

За плечами у Щорса стояло сорок человек курсантов, вышедших против полка, в котором было около трех тысяч человек. Но такова была моральная сила Щорса и его курсантов, сила правды и справедливости, что нежинцы, еще кое-где помалу побуркивая, стали залезать в вагоны, волоча за собой вытащенные уже пулеметы.

— Пулеметы не трогать! Сдавать оружие!

Щорс махнул рукой, и ло насыпи потянулась цепочка вооруженных ручными пулеметами курсантов. Цепь с пулеметами построилась против эшелона. Паровоз от нежинского эшелона был отцеплен. Другая цепочка курсантов, вооруженных гранатами, подошла к эшелону еще раньше вместе со Щорсом.

— Выходите, складывайте оружие и стройтесь по ротам, —

скомандовал Щорс нежинцам.

Нежинцы сразу, первым действием Щорса сбитые с наглого тона, хоть медленно и неохотно, вылезали из вагонов, складывали оружие, отходили вниз, под насыпь и начинали строиться.

Они не знали еще хорошенько, что же Щорс им готовит и какая участь ждет их.

И когда они построились все до одного и курсанты Щорса обошли опустошенные вагоны и разомкнутые интервалами ряды обезоруженного полка, проверяя исполнение приказа о сдаче оружия, Щорс обратился к замершему строю нежинцев:

— Стыдно вам, нежинцы! У вас за плечами подвиги тысяча девятьсот восемнадцатого года! Вы ведь знаете свою вину. Но сознаете ли вы всю подлость и позор того, что вами совершено и в чем заключалось ваше предательство? Понимаете ли вы, за что я вас разоружаю?

— Сознаем!.. Понимаем!.. Знаем!..

— Однако ж я думаю, что не может того быть, чтобы три тысячи бойцов, прошедших вместе с нашими полками доблестный путь победы от нейтральной зоны через всю Украину, чтобы все вы оказались трусами, подлецами и изменниками родины и свободы. Я знаю, что среди вас спрятались провокаторы: кулачье, петлюровская агентура, сволочь. Выбросьте немедленно вон из ваших рядов всех тех, кто внушал вам мысль оставить боевой участок и кто провоцирует сейчас. Выбросьте гадов из своих рядов!

— Выбрасывай гадов! Или мы не нежинцы? Довольно того позора! Вот они!

Вытолкнутые из рядов, стояли семеро подлецов с обезображенными смертельным страхом лицами, с трясущимися, подгибающимися коленками.

— Они? Ошибки нет? Все здесь? — спросил Щорс.

— Они! Все! — в один голос отвечали нежинцы.

— Расстрелять! — приказал Щорс.

ОТРАВЛЕНИЕ

Еще перед проскуровским сражением батько понимал (в особенности с момента ареста и расстрела «инспекции»), что над армией (и над ним самим) нависла угроза. Он чувствовал это так, как человек, идущий ночью после дождя по темным улицам, чувствует необходимость ступать осторожно, потому что всюду можно наткнуться на лужу или грязную колдобину. И, всегда носивший ранее в себе чувство победителя и непобедимого человека, который не только с презрением и бесстрашием смотрел в лицо опасности и смерти, но рассмеялся бы самой мысли об опасности, если бы она пришла ему в голову (хоть он и видел ежедневно кругом опасность и смерть), теперь он не мог отвязаться от мысли, особенно оставаясь наедине, что эта угроза постоянна, как неизбежность попасть в лужу ночью после дождя, и что кругом него как бы мокро.

«М о к р о...» — как-то пришло это определение своего состояния ему в голову. И он не доискивался даже, путем каких рассуждений или ассоциации пришло к нему это определяющее состояние окружающего слово, он принял его как определение собственного ощущения.

Батько стал осторожен и недоверчив. Он ворчал и бранил Филю больше, чем когда-нибудь прежде. Прежняя воркотня батька была ласковой и добродушной; и даже когда применял батько плеть в гневе, и тогда это его живое добродушие не покидало его и залечивало боль у тех, кому от него попадало. Сейчас, в этом состоянии, батько не мог уже применять даже плети, и она висела по привычке на его руке, как издохшая. И воркотня батька теперешняя расценивалась Филей (отлично различавшим настроение батька — нынешнее от прежнего) как зло. И происхождение этого «зла» приписывал Филя Гандзе, забравшей в свои руки все батькино «хозяйство», то есть взявшей на себя прежние функции Филя. Филя смотрел теперь только за конями, амуницией или за трофеями. При передаче их коменданту Филя вел сам своеобразную их регистрацию и все, «окромя барахла», оружие и амуницию, оставлял при штабе, то есть при батьковой квартире, для того чтобы он распорядился им сам — но не без участия Филиных советов.

Филя относился к Гандзе — из ревности — весьма подозрительно и постоянно нюхал и пробовал «страву» батька, то есть обед, который она сама готовила, и вообще всюду совал свой нос, вступая с нею по всякому поводу в пререкания, но не смея все же ругать ее в лицо, так как было

очевидно, что батько не даст ее в обиду.

«Зло» батька, по мнению Фили, шло от «нее».

«И где же ты на мою голову, распроклятущая, попалась?.. — ругал он ее, декламируя свои сетования с лирическим подвыванием, как это делают всегда люди, чувствующие свое бессилие или неправоту и желающие придать больше убедительности своим словам. — С какого самасшествия пришлось та урода до батькиного сердца, ни при чем она тут!»

— Да ты не жалкуй, Филя, — говорил ему рассудительный боец, слыша его жалобы. — Во-первых, как был батько, так он и есть батько — командир нашей бригады и красный командир. Во-вторых, какое значение имеет баба при боевом положении? Еще при доме — ну, она может там под себя забрать человека, как говорится, по редкости. Вот, скажем, если бы ты, Филя, женился, то тебя баба под себя возьмет, бо, как видно, не имеешь ты, холера, характеру. И што ты на батька серчаешь без понятия, когда он и в горести своей смог пожалеть человека. И не наводи ты ни на кого журьбу свою чумную, бо плетей получишь, бо мы, бойцы-таращанцы, знаем своего батька и душу его разважаем, а ты со своей несознательностью на батька тою журьбою капаешь...

И Филя уходил, уводя под уздцы коней — Буцефала, Орла и Фонтана, — от водоносу которого обыкновенно и жаловался он, пристыженный доводами бойцов, но ни капли меж тем не успокоившись. Своеобразную ответственность за жизнь и за состояние батька он нес в своей душе — и тем глубже чувствовал это, чем меньше вызывал он сочувствие своими жалобами у бойцов.

— Верно-то, верно, что нельзя подрывать авторитет батька, но факт, что он изменился, даже похудел и осунулся. А должен быть при полной форме.

И Филя шел в кухню и пробовал батькину «стражу», изготовленную Гандзей, всякий раз думая: «Лучше я сдохну, чем она батька отравит...»

А батько между тем успокаивал и развлекал веселый, живой нрав Гандзи, которая всей душой хотела помогать своим освободителям и относилась к командиру, как к отцу. Мрачнел же и хмурился батько оттого, что он чувствовал какой-то разницей в командовании.

Он, естественно, еще преувеличивал это в результате, тех нескольких нанесенных ему травм, которые раскрывали картину неблагополучия в штабе командования, куда пролезали прямые враги, вроде расстрелянного «инспектора», привезшего с собой яд.

Предательство Нежинского полка... В результате этого и еще чего-то неизвестного — провал генерального сражения под Проскуровом...

Предательство галичан и подпольного ревкома в Галичине, о котором батько недавно дознался от приехавшего к нему с поручением от Щорса Грицька Душки... Падение Советской республики в Венгрии, подготовленное, вероятно, таким же предательством...

Нельзя не допустить — по одновременности или близости всех этих сплетенных между собой ударов, — что во всей этой «чертовщине» нет единой системы врага, единой системы его борьбы, единого, направленного на подрыв успехов Красной Армии маневра.

Вот отчего мрачнел и хмурился Боженко. И батько садился за карту с лупою в руке, и зарождался у него свой стратегический план, которым он пи с кем пока не делился. Только в одном разговоре с Калининым батько не вытерпел и сказал:

— Чував^[61] я, що Микола Александрович розробляє план генерального сражения. — И помолчал, косясь на Калинина: что тот ему скажет.

Калинин понял, что этой паузой батько задает ему вопрос — каково его мнение?

Калинин, окончивший когда-то военное кавалерийское училище, имел и опыт двух войн, которые провел он, не вынимая ноги из стремени. Причем опыт последних шести месяцев в походе революционной армии развил в нем его способности, требуя постоянной инициативы и находчивости и к тому же полной ответственности за свои действия.

Батько говорил:

— Треба взять Новоград-Волынськ. Артиллерию, огнеприпасы имеем в достаче. Патронов для винтовок куцо, мало. Саблею работай, Калинин, и штыком долбайся, ну щоб я завтра был в Новоград-Волынском! Мне сегодня нездоровится, катай сам!

Это «мне сегодня нездоровится» было частым — из хитрости! — присловьем батька, потому что все равно он был в бою всегда, при любых обстоятельствах, хоть его ноги постоянно мучил ревматизм и постоянно болели почки — «поясницу ломило», по выражению батька, приписывавшего и эту боль тоже ревматизму и лечившего ее тем же соленым растиранием.

«Мне нездоровится» означало, что батько поручает операцию Калининину и желает посмотреть на то, как разрешит он сам боевую задачу.

Батько ценил своих бойцов-командиров и зорко приглядывался к их способностям, всячески выдвигая и поощряя их.

Хоть он и не думал никогда вплотную об опасности для своей жизни в боях, однако ж старался создать в своих командирах надежных

заместителей себе. И, конечно, прежде всего видел он своих заместителей в полковых командирах (прежних батальонных еще с нейтральной зоны) — в Калинине и в Кабуле.

Кабулу, талантливого, веселого, отважного до лихости, батько любил, как сына. Он ревностно и ревниво следил за всяким его движением, за всяким его поступком. Даже за его обмундированием и конем.

Когда конь Кабулы захромал, обрезав ногу, батько тотчас же потребовал, чтобы коня предоставили Филе и доктору на досмотр и лечение, отдал командиру своего Буцефала, а сам пересел на любимого дончака Орла, которого берег. Когда Кабула явился как-то в красном бархатном галифе, сшитом из портьер графов Потоцких, батько тотчас же велел ему скинуть эту «барахлятину», не подходящую для командира, и выдал из своего запаса (Филин «золотой запас» для личных подарков от папаши бойцам) отрез прекраснейшего синего гусарского сукна.

— Пошей себе к завтрашнему дню костюм по полной форме, — сказал батько. — Да брейся ты мне почаще, чортово лыко! На бисового дидька тебе та борода? Какая ж дивчина такого ежа поцелует?

Калинина батько любил так же сердечно, но еще и высоко ставил его боевые и в особенности стратегические способности, хладнокровие и выдержку в бою.

Та быстрота, с которой Калинин разбирался в карте, и те прямые и быстрые решения, которые он принимал загодя и потом приводил их в действие с большой удачей и выгодой; его умение использовать все обстоятельства и не растеряться при любом положении; его сметливость, четкость и строгость к бойцу — строгость, которую по тем временам надо было применять умеючи, чтобы не нарушить каких-то особых, никем не писанных, но самих по себе сложившихся традиций народной армии, в которой большинство были добровольцы, народ гордый и самостоятельный, а подчас и капризный, — все эти качества выдвигали Калинина на первое место даже перед Кабулой, который что-что, а бойцов держать в строгости не умел. И в таких случаях (было и это несколько раз) попадало от Боженко и самому Кабуле.

Поэтому заданный Калинину сейчас батьком вопрос был великой для него лестью, и Калинин как-то сердцем чувал, что батько в нем готовит преемника себе и что вопрос и сейчас не столько в генеральном сражении и не в том, что Калинин думает о нем, а в другом — именно в том, что этим вопросом батько предуведомлял Калинина о своем к нему отношении как к человеку, которому одному лишь он может доверить то, что поручено ему самому, за что лежит ответственность на нем.

И Калинин, отвечая, что, мол, всякое сражение может стать генеральным и заранее предусмотреть и предвидеть его в маневровой войне трудно, спросил при этом, как батькино здоровье.

— А ты почему спрашиваешь про здоровье?.. Здоров... Мокро!

Батько, сказав это секретное свое слово, имевшее для него свое тайное значение и неожиданно для него самого вырвавшееся вслух, вдруг замолк и нахмурился.

«Мокро?.. Что мокро?..» — подумал Калинин и вдруг понял. Он понял по выражению батькового лица и по тому, как он смутился, сказав это, что означает это слово.

— Согласен с вами, Василий Назарович: вот именно «мокро», надо сушить.

— И я говорю — сушить надо! Не надо щадить Петлюру и всяку собаку! Рубай у пень гадов... в болото... нету на них пощады! Если фронт удержим, то и тыл остепенится. Вернемся — и там выведем всю падлюку. Утюжить, сушить надо, Калинин. Рубай у пень!.. — кончил батько и встал, давая понять, что он сказал все. — А ты насчет карты, поглядай, дывысь!

Побачимо, що Микола розробить, то, може, и мы свою стратегию додамо... Понял?

— Понял, Василий Назарович.

— Я ж не кажу насупротив того, бо мы ще той стратегии не бачым. Ну, на кого б там ни вдарити: чи направо, чи налево, но вдарити треба «з четырех, як из двенадцати»! Угу!..

И батько отложил трубочку в сторону, достал бутылку коньяку и предложил Калинин у перед уходом:

— А ну ж, на, выпей, и я выпью, щось аж пече, — погладил он себя по груди и по животу. Он выпил глоток коньяку и вдруг охнул, схватился за живот и упал,

Калинин так и остался с невыпитым стаканом в руке. Он швырнул его на пол и бросился к батьку.

На шум и возню в комнату вбежала Гандзя. Она наклонилась к Боженко и, подняв его голову обеими руками, стала глядеть в его затуманенные болью глаза, Пена показалась на запекшихся губах батька.

— Воды!.. Воды!.. — кричала Гандзя Калинин у. — Ни, ни, нех не пье, лыйте на глову!.. Млека! Млека!.. — И она, передав голову батька Калинин у, бросилась в кухню. Вернувшись, она расцепила зубы батька и влила ему в запекшийся рот стакан молока. Он с жадностью выпил его.

— Держи!.. Держи!.. — кричала Гандзя Калинин у и, выбежав, принесла целый кувшин.

В это время явился и Филя. Вместе они уложили батька на диван и стали поить его молоком.

— Отравила, стерва, — показал Филя Калинину на Гандзю, — а теперь молоком отпаиваешь?.. Убью!..

— Стой! Не тронь... — сказал Калинин. — Бутылка была запечатана. Батько сломал сургуч, я сам видел. Иди зови доктора, а я тут побуду.

Когда Филя вышел, Калинин подошел к бутылке и, взяв ее в руки, протянул Гандзе.

— Выпей!

Она посмотрела испуганными глазами и спросила:

— Отрута?.. ^[62]

— Ты?.. — спросил Калинин, строго глядя ей прямо в глаза.

— Не вем! Як бога кохам, не вем... — Она побледнела и затрепетала всем телом.

— Пей! — повторил Калинин и достал из кобуры маузер.

В это время батько открыл глаза и повернулся к Калинину. Он хотел что-то сказать, губы его пошевелились, но сказать он ничего не мог и только покачал головой. Однако Калинин понял по болезненному выражению напряженных, покрасневших глаз батька, что он просит не трогать Гандзю.

Калинин засунул маузер в кобуру и подошел к батьку. Батько отрицательно замотал головой. Тогда Гандзя упала на колени перед батьком и, заплакав, опустила ему голову на грудь. Батько нашел в себе силы положить ей руку на голову, и она прижалась щекой к этой руке.

— Не вем, не вем! — повторяла она и мотала головой. — Як бога кохам, не вем!..

В это время Филя вернулся с врачом. Полковой врач, лечивший батька от ревматизма какою-то самодельной солевой мазью (и ею же от поясницы), был простым ветеринаром и исполнял обязанности врача при Таращанской бригаде потому, что отлично справлялся с конскими болезнями: пускал колям кровь из уха и хвоста, ставил пиявки, был отличным костоправом и хирургом; исправно резал пораненные ноги и руки бойцам и загонял раздробленные кости в лубки. В общем это был неважный, но храбрый эскулап, и бойцы были им довольны.

Подойдя к батьку, он заставил его раскрыть рот, вытянул клещами язык и тщательно осмотрел его. Потом потребовал бутылку, из которой напился батько, и, понюхав, объявил:

— Царская водка ^[63]. Отравили, — и строго поглядел на Гандзю. — Ты

отравила?..

Гандзя покачала головой, и батько повел в ее сторону глазами и замотал головой.

— Да ты посмотри пульс, чертова голова! — сказал ему Калинин. — А кто отравил, это мы и без тебя същем. Ты сделай так, чтобы батько заговорил. Может, он сам скажет.

Батько, услышав слова Калинина, утвердительно мотнул головой.

— Молока, — сказал эскулап. — Побольше молока.

— Млека... — расслышала Гандзя и выбежала из комнаты.

Филя кинулся за нею и выхватил из рук кувшин с молоком.

— Может, ты и в молоко царской водки налила, гадюка? — сказал он ей гневно.

Гандзя расплакалась и, вернувшись в комнату, опять упала возле кушетки батька на колени, с жалостью глядя на него.

Филя, отпив из кувшина молока и выждав — немного (нет ли чего в молоке), налил его в чашку, которую тоже тщательно осмотрел, обнюхал и вытер полотенцем. И только после этого, поднес ее батьку.

Но батько отрицательно покачал головой, с усилием поднял вновь руку, положил ее на голову Гандзи и повел в ее сторону глазами. Она поняла его и, взяв чашку из рук Фили, поднесла ее ко рту батька. Он выпил несколько глотков с жадностью, и в глазах его появилось выражение благодарности. Все присутствующие поняли, что этим движением батько дает понять им, что он абсолютно доверяет Гандзе и что не в ней надо видеть отравительницу.

Батько метался в жару и стонал от боли всю ночь, но говорить не мог — слова не получались, несмотря на все усилия. Язык был обожжен. Гандзя и Филя неотлучно находились при нем. Когда плакала Гандзя, Филя говорил:

— Не тревожь ты папашу, глупая дура, бо они спят!

Но иногда слеза прошибала и Филю при виде батьковых страданий. Тогда Гандзя в свою очередь подходила к нему и сердито вытирала ему физиономию своею шалью, говоря:

— Дурне, дурне!

Так в ту ночь невольно сдружились у батькиной постели два непримиримых (дотоле) недруга... Ночью несколько раз приходили доктор и Калинин, дежуривший в передней комнате. Приходили и другие, командиры, узнавшие страшную весть; и чтобы они не беспокоили батька, Калинин посадил Политрука Чумака в передней комнате, чтобы он давал объяснения о состоянии здоровья батька, а сам ушел на телеграф.

За ночь перебивал в квартире батька чуть ли не весь Четвертый полк. Кабула с Пятым полком находился в Изяславле, и Калинин сообщил ему, что батько серьезно заболел. Он также сообщил об этом Щорсу в Житомир, прося его, если возможно, приехать. Шифровкой он дополнительно сообщил им обоим о том, что батько отравлен и умирает.

Щорс отвечал, что положение в Житомире напряженное, но он постарается выехать.

Вообще Калинин принял на себя командование бригадой — как было заранее условлено на случай болезни Боженко, — строго-настрого приказав всем знающим истинную причину болезни батька, то есть Филе, Гандзе, доктору и Чумаку, не разглашать этого до приезда Щорса. Бойцам было сказано, что батько заболел брюшником.

Щорсу Калинин сообщил шифровкой, что батько отравлен, по-видимому, «царской водкой», что он потерял дар речи и что положение его, по его мнению, безнадежное; что подозрение об отравлении батька падает на близких к нему людей, но пока ничего не выяснено, ведется следствие; он просил Щорса при выезде захватить с собой лучших врачей для консилиума.

К утру батько, измученный болью и рвотой, наконец, забылся и уснул. Уснула, увидев, что Боженко спит, и Гандзя у его ног, уснул и Филя.

Калинин, зайдя с доктором на рассвете, застал в комнате Боженко эту странную картину. Но вдруг, видно потревоженный скрипом отворяемых дверей, батько проснулся и поманил к себе Калинина.

— Я, видать, помру, — с трудом сказал. — Отвези меня к Щорсу в Житомир.

— Хорошо, — сказал Калинин, радуясь, что батько наконец заговорил.

— Слухай сюды, — притянул батько к себе Калинина слабой рукой. — Хочу я бачити Кабулу. Написав?

— Написал, — ответил Калинин.

А потом батько, как бы вспоминая что-то важное, задумался, и слабая рука его вдруг упала на голову уснувшей возле него Гандзи.

— Не чнпайте мени ни, — сказал батько, — бо то не вона, цей французський коньяк ще з Шепетивки. Выльйте увесь. Не вона... Видправ ии до родных у Дубно та виддай у приданое вид мене моих грошей тысячу карбованцев — бильш у мене ничего нема.

Гандзя проснулась и вскрикнула от радости, услышав батькин голос. Батько обнял ее, прижал голову и сказал:

— Дитина моя, немовлятко, бо я й не знаю, про що ти тут щебетала. Прощай, бо вже ми не побачимось. Выизжай, пока я живий, щоб не було

тоби лиха. Дивись же, Калинин: за ней ти мени ответишь, щоб не зробили шкоди з невинной людини, бо я вас поубиваю! — вдруг сверкнул батько и снова свалился без памяти, устав от напряжения.

Он говорил все это с тяжелыми паузами, и Калинин видел, насколько существенно было все, сказанное батьком, и чего стоило ему напряжение этой речи.

— Филя, слышал? — спросил Калинин. — Надо отвезти ее до Дубно и тысячу рублей выдать из батьковых личных денег. Ты знаешь, где эти деньги?

Филя достал деньги и выдал их Калинину, но ехать с Гандзей до Дубно наотрез отказался.

— Я от папаши ни шагу! Батько умирает, а я тую стерву повезу? — начал он по привычке снова ругать Гандзю, забыв, что в эту ночь, плача вдвоем у смертного ложа батька, они помирились.

— Вези, тебе батько приказал везти.

— Вези, Филя!.. — вдруг неожиданно раздался голос Боженко, разбуженного жарким спором,

Филя заплакал.

— Хотя не вмирайте без меня, папаша, эх, не вмирайте!..

— Та не реви ты, немов та корова!.. — разгневался на него батько. — Що ж то ты мене живого ховаешь?^[64] Мы ще повоюем... аж до Карпат!.. Не для того я и видсилаю вид себе, а для того, що миж боями — не тепер, так завтра, — щоб не пропала вона миж нами. Не до баб.

Гандзя ничего не понимала еще, когда Филя начал укладывать в сумки ее платья, Калинин протянул ей деньги, и, посмотрев на батька в недоумении, вдруг она поняла.

— Йидь, Гандзю, до отца до матери, там тоби краще буде, ніж миж нами. Ще довго нам битися. А що ти маешь тут без мене робиты? Йидь, не плачь!..

Но Гандзя плакала, и отбрасывала деньги, и ехать не хотела. Она обнимала ноги батька и рыдала.

Что было с нею делать? И Гандзя осталась в Таращанском полку, сделавшись в конце концов умелой санитаркой.

После этой сцены отказа Гандзи оставить умирающего батька и ехать домой у Калинина уже не оставалось и тени сомнения в том, что она не виновата, что яд подсунут другой рукой, и надо эту руку поймать.

Калинин уже догадывался, чья это рука.

Кабула примчался и привез с собой изяславльського доктора, который, выслушав и осмотрев батька, сказал, что есть еще надежда, что он

останется жив, потому что организм у него невероятно крепок, да и, очевидно, яд был подмешан в коньяк не в смертельной дозе, но что вообще сейчас определить, каким именно ядом был отравлен батько, нельзя, потому что бутылка, из которой он был выпит, опрокинулась в суматохе, но что яд был, вероятно, очень силен, что возить человека в таком состоянии куда бы то ни было сумасшествие; нужен покой и уход; пока давать пить одно молоко, и лучше всего кислое; а дня через два будет видно: если батько не умрет, то, значит, организм победил и, может, еще он и останется жить.

Но батько требовал наперекор всем уговорам, чтобы его немедленно везли в Житомир «до Щорса».

— Щорс сам сюда приедет, — уверяли его Калинин и Кабула.

— Ему нельзя, я знаю, — твердил батько. — Хочу бачить Николая. Грузите меня в поезд и везите до Щорса, бо я ж знаю, що вмираю.

И пришлось послушаться батька, тем более что и Щорс передал из Житомира, что он может выехать только завтра.

— Везите батька в Бердичев, а я выеду вам навстречу и, может быть, застаю его живого и поговорю с ним.

Отравленного батька надо было спешно увозить в Житомир, и Калинин с Кабулой бросали скорбный жребий: кому из них сопровождать батька, а кому оставаться с войсками... Жребий оставаться вытянул Калинин, ехать с батьком — Кабула.

Батька положили на мягкие, сделанные из пик и бурок, носилки и понесли до вокзала его бойцы, сменяя друг друга. Весь полк, пеший и конный, артиллерия следовали за ним, но на расстоянии, чтобы не создавать впечатления похорон.

А прибыв на вокзал, выстроились все бойцы полка и салютовали батьку в дорогу.

И плакали все бойцы поголовно, чувствуя, что батько отправляется в смертную дорогу, хоть и старался он держаться бодро: несколько раз приподнимался он на носилках и грозил кому-то рукою, и проклинал врагов, и снова, обессиленный, падал в свою колыску^[65], сделанную из пик и бурок.

И когда он приподнимался на своих носилках, Кабула, ехавший рядом, вскидывал руку с саблей и бойцы останавливались, прислушиваясь, что скажет батько.

— Проклинаю того проклятого нашего врага, что губит свободу и бьет, подлец, нас в спину, что не смеет стать перед нами прямо лицом, чтобы мы его не заплевали пулями, чтоб не порубили мы его образины...

проклинаю зраду!.. — кричал батько и грозился врагу кулаком. — Завещаю вам, бойцы, довести бой до конца, до победы, и помнить меня, как я водил вас. За Лениным, сынки, за Лениным!

Батько забывался, путая прошлое с настоящим. Но вдруг прояснилось перед ним настоящее, и он опять приподнимался на носилках и кричал:

— Кто сказал, что мы окружены?.. Неправда! Кто сказал, что не вырваться нам и пропасть?.. Брехня! Мы окружили того гада и задушим его в боевом зажатии... Задушите его, того гада, своими руками, бойцы!.. Задавите вы мне того гада, что все вьётся под ногами... Растопчите его!.. Бейте его!.. До бок?... до бою... бейте его!.. Рубайте его на капусту!.. — кричал батько.

Кабула подъезжал к нему и просил:

— Заспокойтесь, батько, заспокойтесь: все ми зробимо и вам доложим завтра, а сегодня лягайте... [66] не тревожьтесь... — Кабула наклонялся. — Це ж я, Кабула, кажу вам, Василий Назарович.

Батько смотрел на Кабулу долгим, воспаленным от напряжения боевой страсти взглядом и говорил:

— Зробить мени так, як я сказав, Кабула!..

— Зробым!.. — отвечал Кабула...

И батько падал на носилки. И бойцы несли его дальше.

Так до самой станции несли бойцы Боженко, и скоро нагнали их все, кто хотел сопровождать батька, весь полк. И все — и кавалерия и артиллерия — слушали прощальные речи, последние завещания легендарного своего командира.

СМЕРТЬ БАТЬКА БОЖЕНКО

Поезд с больным батьком Боженко прибывал на станцию Бердичев. Во все время пути батько находился в полусознательном состоянии и изредка стонал. И тогда в этих столах для тех, кто сидел над ним — для Кабулы, Душки и других, — различимы были скорее проклятия, чем жалобы, у этих стонов была интонация гнева. Это были нечеловеческие стоны и жалобы. Кабула не знал до сих пор, что такое нервы. Он не знал и того, что у него жалостливое сердце. Но при этих столах батька он познал впервые то возбуждение и то сострадание, которым разрядкой мог быть только беспредельный гнев.

— Как... батька, вот эту скалу, эту каменную глыбу, обожгли так, что она стонет?..

Уже однажды, правда, Кабула слышал стоны этой глыбы. Это было полтора месяца назад в Шепетовке, когда пришло известие о гибели его жены. Батько стонал и мучился и тогда.

Но тогда его жалобы были членораздельными, жалостными словами, и эти жалостные и гневные слова как бы сами имели болеутоляющее значение: они имели человеческий смысл, хоть и были похожи на бред, и казалось, что исцеление вот-вот наступит.

Но сейчас здесь это бессловесное, гневное стенанье страдающего не только от физической боли человека, но страдающего больше всего от сознания бессилия своего вырваться из этой связанности, слабости и утолить свою скорбь, и свой гнев, и свою ненависть, — вот что было страшнее всего.

Какой же завет скажет батька, скажет воплощенная человечья былина эта, скованная из героизма и великого мужества, умирая в великих муках?

И больше всего Кабуле хотелось услышать от умирающего батька это освобождающее заветное последнее слово.

И думал Кабула, что если батько не произнесет его и умрет в этой немоте сейчас, то и сам он, Кабула, не в состоянии будет до самой смерти своей (быть может, и скорой) в непрекращающихся жестоких боях произнести, найти выраженный в слове гнев. Но батько сказал это слово,

Щорс дожидался поезда, везущего батька, в Бердичеве уже два часа, выехав ему навстречу из Житомира с четырьмя врачами, из которых двое были хирургами, вызванными из Киева. Кто знает, почему Щорсу казалось необходимым вмешательство хирургии, хотя здесь имело место вовсе не

ранение, а отравление. Ему хотелось верить, что батька можно еще спасти операцией,

Щорс ходил по платформе, заложив руки за спину, своей обычной легкой и бодрой походкой.

Самая внешность Щорса — легкость и ритмичность движения его фигуры, за которой разгадывалась кипучая энергия, прямота и смелость, и лицо его с мягкими и вместе строгими чертами — прямым носом, правильно поставленными глазами с широким и ясным разрезом, волевыми губами и подбородком, — все в нем свидетельствовало о воле и целеустремленности.

Встретив Щорса, трудно было отвести от него взгляд: он притягивал к себе какой-то особенной значительностью и тем, что называется обаятельностью.

И два киевских профессора-хирурга, прохаживаясь со Щорсом по перрону и разглядывая с любопытством своего собеседника, знаменитого бойца украинской Красной Армии, о котором слышали они столько легенд, никак не могли представить себе, что этот прославленный командир еще два года тому назад был простым военным фельдшером и прапорщиком.

Перед ними был образец нового человека, с новой культурой, с новыми человеческими качествами.

— Совсем не похож он на рубаку, — говорил один из хирургов — Полторацкий, когда Щорс отошел от них, услышав звонки, чтобы посмотреть, не приближается ли поезд с умирающим другом.

— Поезд с батьком Боженко подходит, товарищ комдив!.. — крикнул, подбегая, комендант станции,

Щорс вдруг заволновался. Нервная волна, как душем, окатила его и передалась остальным. Он побледнел, и вслед за тем на щеках у него выступил яркий румянец. Брови его твердо сошлись, и вдруг он стал тем Щорсом, которого знали люди в бою: весь из воли и напряжения.

— Ну, пойдём, — сказал Щорс, — батько приехал.

Батько лежал в лазаретной качалке, поставленной посреди салон-вагона. Глаза его были полуоткрыты. Он уже был извещен полчаса тому назад, когда вдруг внезапно пришел в сознание — за все время восьмичасовой езды от Шепетовки, — что в Бердичеве ждет его Щорс и что поезд подходит к Бердичеву.

Название Бердичева вызвало у батька больные ассоциации, и он, видимо обрадовавшись встрече со Щорсом, которой он так жаждал, все же помрачнел, и выражение лица его стало неопределенным, хотя и как бы успокоенным, не таким, каким оно было во время бреда — в течение всего

пути, когда он страшно стонал, напоминая Кабуле разгневанного раненого льва.

Но в этой успокоенности была скорее усталость: горькие и жесткие складки залегли между бровями и по щекам, страшно осунувшимся. Так он лежал, не закрывая глаз, почти все эти полчаса.

Но, когда поезд стал тормозить и остановился, лицо батька вновь стало оживать, опять приобрело волевые черты, и он с усилием кашлянул и взглядом потребовал утереть ему губы. Он даже высвободил руку и пытался сам отереть вспотевшее лицо.

Кабула помочил полотенце в воде с уксусом и освежил ему лицо. Батько благодарно посмотрел на него, но ничего не сказал: он, видимо, берег силы для Щорса. А говорить ему было очень трудно.

Поезд дрогнул и остановился.

Щорс шел скорыми шагами вдоль состава, издали увидав вышедшего на ступеньки вагона Кабулу, махавшего ему рукой. Он вспрыгнул на ступеньки, не дождавшись остановки поезда, поддержанный Кабулой, и вошел в вагон, оставив врачей и на минуту даже позабыв о них.

Батько, увидев входящего Щорса, сделал попытку приподняться на локте, но Щорс, подходя, махнул ему рукой, и Кабула быстро подошел к батьку, желая помочь ему поудобнее повернуться к Щорсу.

— Здравствуй, Василий Назарович, дорогой!..

— Здоров, браток... здоров, Микола!.. — Старик крепко, сколько мог, поцеловал Щорса, прижав его к себе слабой рукой.

— Ну, как ты?.. Не журишь, будем жить мы с тобой! Я подниму тебя на ноги!

— Задави ты тую гидоту, Микола... задави... — сказал батько и замолк, любовно оглядывая стройного Щорса, присевшего возле него на табурете. — Генеральное давай... — сказал он тихо, как будто передавал последнюю свою мечту.

— Дадим! — сказал Щорс. — А сейчас давай устроим генеральное твоей болезни. Я привез докторов для консилиума.

Батько махнул рукой.

— Вези меня, Микола, до себе, до Житомира, бо не хочу я вмерти в дорози, там я буду вмирати.

Щорс вдруг понял со всей ясностью то, что было на самом деле.

В первый момент известия об отравлении Боженко он принял эту весть во всей ее жестокости и непоправимости. Но с тех пор как он узнал, что батько живет, говорит и что он едет сам к нему, хоть и больной, надежда на лучший исход, свойственная всем людям, постепенно стала овладевать им.

— Ну, едем... — сказал Щорс. — Отвезу тебя к себе, Василий Назарович, отвезу тебя в Житомир. «Спасибо за честь», — хотелось сказать ему, но он не сказал этого, чтобы не подчеркивать того, что было так скорбно.

— Спасибо!.. — сказал батько.

Щорс кивнул головой Кабуле, и тот вышел, чтобы дать сигнал к отправлению. Он пригласил врачей зайти в вагон к умирающему.

Боженко заметил вошедших и спросил Щорса:

— Дохтура?..

— Да, — сказал Щорс. — Может, пусть все-таки они осмотрят тебя.

Но батько махнул рукой и потерял сознание.

Врачи ушли. В салон-вагоне, чтобы не утомлять батька, остались лишь Щорс, Кабула, Полторацкий да санитар.

Батько открыл глаза, глубоко выдохнул воздух и сразу обратился к Щорсу, как будто он все время обморока преодолевал какие-то препятствия и наконец вырвался к другу:

— Расскажи мени, Микола, як на фронте и де буде генеральное сражение?..

И Щорс, ни на минуту не впадая в тон жалостливой няньки или сиделки у постели умирающего, но в том обычном тоне, в каком он всегда делился и советовался с боевым своим товарищем о своих замыслах, рассказал ему все.

Вдруг батько приподнялся, лицо его стало грозным, и он прокричал:

— Тепер... слухай сюди, Микола... не перебивай!.. Зроби так, як я скажу!..

Кабула подбежал, поддержал батька под руки и поправил ему подушку, почувствовав вдруг, что батько умирает и это последняя его речь, во время которой он не хочет лежать.

— Поховай мене в Житомири на бульвари... де той Пушкин... — Батько остановился.

Полторацкий поднес ему какую-то микстуру, но батько отстранил ее и продолжал:

— Той великий поэт: он там на площі... там... Придуть ти контры-собаки... придуть и викинуть мене з могилы... будуть знуцаться з мого трупу... Нехай! Бо побачуть люди, уси побачуть и заплачуть... бо им буде жаль... з того знуцання... И пидуть вони раптом уси, и твои бойцы ударять, Микола, з усией силы и ро-зибьють наших врагов насмерть, бо того знуцання не стерпит нихто... Ото ж я и мертвый згожуся до бою!..

Он посмотрел темнеющим взором на Щорса и нал на его руки.

Мучительная агония борющегося со смертью богатырского тела длилась несколько минут.

И все время Кабула со страхом прислушивался к хрипению в батьковой груди, почти с ужасом думая, что вот-вот он услышит опять тот нечленораздельный, нечеловеческий стон, который он слышал несколько раз в пути и который заставлял его сердце напрягаться так, что Кабула боялся, что оно разорвется.

Но батько затих, тело его распрямилось и стало длиннее, гораздо длиннее обычного, как показалось Кабуле.

— Смерть... — сказал Щорс. — Прощай, батько!..

— Да, смерть, — сказал Полторацкий и, отвернувшись, заплакал.

Заплакал и Кабула. У Щорса тоже сверкнула и покатилась по щеке слеза.

А поезд мчался к Житомиру.

И еще три часа провел Щорс, сидя у изголовья умершего и думая о том великом завете, который оставил ему боевой товарищ. И не мог он думать ни о чем ином, кроме всего того, что помнил об этом несравненном человеке, с которым так много у него связано было боевых и человеческих дел, и казалось, что не год провели они вместе, на одном фронте, но прожили целую жизнь неразлучно — и вот разлучились...

Но нет, батько и мертвый остался живым, и мертвый он едет в бой за Житомир.

«И долго, — подумал Щорс, — будет он воевать за родину, этот богатырь, вечный Илья Муромец, рождаемый народом в лихую годину для защиты от обид и неправд, от врага и набегчика, — сказочный богатырь, несломимая сила русской земли».

Кусок живого сердца вырвала у Щорса эта смерть, и Соль в нем не утихала.

ПОХОРОНЫ

Траурные трубы протрубили по Житомиру о смерти батька. Но не мертвый — хоть и бездыханный — подъехал он к нему. Положенный на лафет, от самого вокзала проехал он по улице к штабу, как знамя, зовущее к бою.

И встретившие и сопровождавшие его богунцы, Щорсовы курсанты и новгород-северцы шли суровые и торжественные под штыкам, и звякнули прикладом о мостовую, и стали разом все на караул, когда остановился траурный лафет на Пушкинском бульваре.

И вышел Щорс вперед и склонил над батьком боевое богунское красное знамя, данное самим Лениным в 1918 году.

Поклонился тем знаменем Щорс батьку в прощальном поклоне и сказал:

— Товарищи бойцы, славные богунцы, таращанцы и новгород-северцы... Потеряли мы в борьбе с контрреволюцией одного из славных товарищей — знаменитого командира!.. Слышите вы за Житомиром канонаду? Слышите, как рвется враг в наш родной город? Он знает, трижды проклятый, кого мы сейчас хороним. Он знает, трижды проклятый, что здесь на время задержались мы, чтобы отдать честь боевому командиру. Так знайте же завещание батька: «Не отдавайте мне почета пустым салютом, а отдайте мне. почет боевым салютом, боевым артиллерийским ударом — из четырех, как из двенадцати, — да так, чтобы меньше на несколько сотен стало тех подлюг и изменников от одного салюта!» Так просил нас батько — не тратить ни одного патрона и ни одного снаряда в воздух, салютуя ему на прощанье, а прямо в сердце врага направить тот салют. Выполним, товарищи, этот завет бойца... Многое хочется сказать об этом человеке, но нет времени у нас на то. И, может быть, мы, когда отвоюемся, а может, те, кого здесь нет, но кто знал батька, как мы, — его верные таращанцы, те, кто уцелеет в бою, — расскажут о нем все, что хочется сейчас нам сказать здесь. Слушайте вы, весь народ украинский. Мы, уходящие в бой, полны мести за эту потерю... может, не вернемся... Так слушайте же вы и передайте от поколения к поколению завет бойца: «И бездыханный хочу принимать участие в сражении за свободу народа и буду в бою с вами мертвый». И теперь, товарищи, пока будут опускать гроб в могилу с траурным маршем, — вперед! На врага, до полной победы! За мною! Прощай, батько!.. Не прошу тебя мирно лежать: все равно ты

окажешься с нами в бою,

Щорс подошел к батьку, крепко поцеловал в уста своего боевого друга и сказал:

— Прими этот поцелуй от всей Красной Армии.

И снова заиграли трубы знаменитого капельмейстера-таращанца Кивина, следовавшего за батьком со всем оркестром, соединившись с трубами богунцев.

Это заиграли «Интернационал» те трубы, которые сопровождали батька в бой и трубили этот гимн после победы, когда возвращались таращанцы с поля сражения.

И под звуки тех труб пошли в бой богунцы и новгород-северцы, ведомые Щорсом.

А между тем Кабула осторожно опускал на веревках красный гроб батька рядом с памятником великому поэту, обращенному к батьковой могиле задумчивым лицом.

Спускал Кабула тот гроб в могилу и не плакал: он слышал последние слова батька и знал, что сбудутся эти слова. Его привычное к бою ухо улавливало по долетающим звукам разрывов за Житомиром, что приближается бой к городу, — и не улежит батько долго в земле, а, как сказал он в последней пророческой речи своей, встанет, чтоб биться и мертвым с врагом.

Выроют его из земли, но и рубанет же их батько мертвый так, что посыплется кругом сотни их голов! И потому сровнял с землею место похорон Кабула и не насыпал могильного холма: засекретил он батька от срага, уложил то место свежим дерном.

А сам он не смел долее оставаться: имел он приказ Щорса немедленно отправиться в полк и повернуть полк в тыл неприятелю, на Новоград-Волынь. Уже дал боевое распоряжение Кабула своему помощнику Рыкуну соединиться с полком Калинина и двинуть между речками Смолкою и Случью на Рогачев, чтобы прийти на помощь окружаемому неприятелем Житомиру.

Нет, не плакал Кабула над батьковой могилей. И тот львиный рев, что остался в его ушах от стонов батька, разрастался в его груди, превращаясь в неистощимую гневную силу.

Трудно было ехать Кабуле в вагоне, слыша отдаленный приближающийся к Житомиру грохот боя, но не имел он права вернуться и тотчас ввязаться в него. Поседали виски Кабулы от этого гнева, и скрутил он плеть из воловьих жил так, что разорвалась, распалась она на куски, как

ветошка.

И принялся точить Кабула на оселке саблю.

Посходились к нему и другие ехавшие с ним в вагоне бойцы и тоже принялись точить сабли.

«Ой, жив он, жив, ой, жив же ж, жив!» — высвистывали сабли. И знал Кабула, что батько жив, не умер, и заговорит его душа гневными беспощадными боями с отравившим его врагом.

«Ой, жив, я жив, не згинув, жив!». — пела уже десятая сабля бойца на Кабулином оселке.

БЕССМЕРТНЫЙ БАТЬКО

А Щорс ворвался клином в неприятельские пени, разломил их неистовым ударом надвое, зашел врагу в тыл, развернулся на обе стороны, как поступал с кавалерией в рейде, хоть у него не было здесь кавалерии, за исключением дивизионной разведки, оставленной на всякий случай на фланге, чтобы прикрывать артиллерию.

Но инерция галлеровой шляхты, рвавшейся уже два дня к Житомиру и узнавшей, что в городе траур, была такова, что не успел еще Щорс ударить в спину неприятельской пехоте, а уж кавалерия неприятеля ворвалась в город и стала рыскать по городу и искать могилу красного вождя...

.. Повернулся батько в гробу и сказал из-под земли:

«А ну, подойдите, проклятые собаки, погляжу я на вас мертвыми глазами...»

Не батько повернулся в гробу, а вытряхнули его подлые осквернители из гроба: еще не успел и уснуть он как следует в смерти.

И пикой проббили ему пилсудчики мертвые глаза и привязали арканом за шею, волоча геройское тело по Житомиру, и, оторвав ему голову, забросили ту знаменитую голову в бездонный колодец, а тело порубали на куски и растащили по всему городу на пиках: там лежала рука, там нога, и казалось, что все боялись они, что срastутся богатырские члены; и всё охотились за ними шляхетские всадники, упражняясь пиками, и казалось, что с одним только мертвым примчались они сражаться.

О, если б задержался на тот час Кабула и увидел бы он это надругательство проклятой шляхты над героем, — один на один вступил бы он в сражение с целым конным полком, и немало голов отделил бы он отточенной до искры саблей и забросил бы их в колодец.

Но хоть и не увидел этого Кабула, мчавшийся к своему полку, а чуяло его сердце, что мертвый батько там где-то один воюет. И точил он саблю и клялся под неумолкаемый в его ушах стон, похожий на гнезный львиный рев, что нарубит он мелкой капусты из панских плеч с золотыми погонами.

— Пошинкую в капусту я ту стервоту! — выговаривал он, выглядывая в окошко и грозясь гневными глазами в сторону оставленного Житомира,

Но клялся в этом не только Кабула: все житомирские жители, видевшие издевательство над свежей могилой бойца, клялись — безоружные и никогда не мечтавшие воевать, — что вступят они в ряды красных войск, как только те вернутся.

И послали рабочие свою делегацию к Щорсу, чтобы отыскали его и сказали о том, что делается в Житомире. Но Щорс знал и без делегации, что делается в городе, и приказал он своей артиллерии вместе с кавалерийской разведкой, ворваться в Житомир и ударить вдоль улицы на картечь.

Попадали паны, как груши, на землю, когда, завидев въезжавшую в город артиллерию, понеслись от нее вдоль улиц, и в какую улицу ни помчатся — там и наткнутся на говорящие с ними огнем жерла пушек, давно приученных к смелому, кинжальному удару.

А кавалерийская разведка заехала с вокзала, и с гиком два полуэскадрона понеслись на врагов с тылу. И ни один не ушел живым из того конного уланского полка, что надругался над телом Боженко.

Пока артиллерия громила вражеских улан, Щорс всадил штык в зад петлюровской пехоте, и кричали петлюровцы, как лисы, попавшие в тенета, запутавшись среди ночи и не разбирая, где свои, где чужие, Зато красные бойцы не ошибались, — и в особенности беспощадно работали штыком щорсовцы-курсанты, впервые за все время трехмесячного учения выпущенные в бой.

На рассвете стоял Щорс над взрытой батькиной могилой возле памятника Пушкину на бульваре и говорил бойцам:

— Что ж, правду сказал батько — не улежалось ему в могиле, и мертвый пошел воевать он, как полагается народному герою.

И в тот же день набрал Щорс в Житомире новый батальон из добровольцев. И много было в том батальоне бородачей — рабочих и крестьян. И множество женщин предложили ему свои услуги для медицинского обслуживания, для хозяйственных и культурных целей дивизии.

Целая труппа актеров отдала себя в распоряжение дивизии, дав согласие выступать где угодно на фронте перед красными бойцами.

Так батько Боженко набирал добровольцев в Красную Армию — деятельный и после смерти. Нет, батько Боженко не умер.

А Кабула, услышав по приезде в Рогачев о нал ругательстве над батьком и о том, что Щорс вернул Житомир обратно, уничтожив всю наступавшую дивизию сичевиков и кавалерийскую бригаду пилсудчиков, прошел за неделю до самого Коростеня, разбил под Межиричами одним полком своим другую дивизию галичан и польскую кавалерию, предводимую Тютюнником, передавшимися Пилсудскому и набиравшим в Польше кавалерийские легионы. Эти легионеры бросились в атаку под

Межиричами, прицепив к плечам старинные жестяные крылья (употреблявшиеся польскими войсками еще в XVI веке), думая их видом и их дряблым звоном напугать красных бойцов. Опрокинул Кабула этих шутов-кавалеристов и послал побитые и помятые крылья как самые смехотворные трофеи в подарок командукру, написав, что он уничтожил «небесное войско».

Целый месяц длились гневные поминки по Боженко, и враг свирепел все более и давал задание своим засланным ранее в тыл атаманам бить в тылу беспощадно и казнить большевиков и бедноту, женщин и детей.

Началось жаркое время. Обе стороны бились смертным боем.

Красную Армию подстерегали предательство и измена. Разрыв и разъединение дивизий были не случайными.

Щорс никак не мог объяснить, что же, наконец, значит разнобой в приказах командования и куда же девались три дивизии южной группы Двенадцатой армии, которых не оказывалось в том месте, где надлежало им быть по диспозиции штарма. Все это было, конечно, не случайно.

ПРЕДАТЕЛИ И АВАНТЮРИСТЫ

В тот момент, когда Щорс с Бугаевским решали вопрос о разгроме Петлюры на украинской территории, чтобы развязать руки для удара по Деникину, уже двинувшемуся к Украине с Дона, в тот самый момент предатель Троцкий продолжал настаивать в Москве на необходимости развития западного похода и предлагал снять восточную армию, только что отогнавшую Колчака от Урала, на Западный фронт.

Ленин, опираясь на поддержку вернувшихся с Восточного фронта товарищей Сталина и Дзержинского, отстранил Троцкого от какого бы то ни было вмешательства в дела Восточного фронта.

Щорс и комиссар Бугаевский знали об этом решении.

Однако украинское командование, поддержанное только что побывавшим здесь Троцким, наводнившим при реформировании Укромии и штабы и командные посты «своими людьми», ничем не выявляло своей решимости свертывать поход на запад и своими приказами ставило Сорок четвертую дивизию в самое затруднительное положение, дергая ее то вперед, на запад, то назад.

В то время, когда Щорс едва сдерживал инерцию прежнего разбега полков, только что побывавших в Галичине, стремясь перевести движение с запада на север и, заманив Петлюру на себя в глубь территории, окружить и разбить его под Житомиром или под Бердичевом, — командование расстраивало его планы, требуя нового удара на Проскуров и Каменец-Подольск, не считаясь с фланговым обходом белополяков со стороны Коростеня и Ровно. В этот момент Бугаевский приказом главкома внезапно отзывался.

Незадолго до этого в одном из ночных разговоров Бугаевский раскрыл Щорсу картину происходящей борьбы и авантюризм Троцкого в его путаных стратегических планах. И Щорс, прислушиваясь к тому, что ему рассказывал комиссар, вдруг сказал:

— Я это давно подозревал. Я думаю, что это самое страшное, — начинается смертельная борьба с нами всех авантюристов в тылу. Теперь уже я знаю точно, что батька Боженко отравила вовсе не полячка, на которую стремились отвести подозрение, отравили батька «инспектора главкома», мстившие за расстрел Баскова и прочих жандармов.

— Так вот, Николай, ты остерегайся, — сказал Бугаевский. — Все это не случайно, конечно. Я потому и спорил с тобой против мысли дать новое

сражение под Проскуровом, с которой было ты носился сгоряча. Именно этого затягивания на запад будут добиваться прихвостни Троцкого. Мало сказать, что это ложный шаг, это — предательская авантюра. Будь готов ко всему. Но не беспокойся: там, в Москве, я это дело доложу кому следует, и ты не останешься здесь в одиночестве. Помянешь мое слово — они изобличат себя. И хвоста не утащат, мы отобьем этот гадов хвост. Он виден нам еще с Царицына.

Бугаевский не ошибался. Троцкий вскоре еще раз обнаружил свои авантюристические тенденции поданным им на утверждение Политбюро вредительским планом отражения Деникина. План этот был совершенно отвергнут.

СМЕНА КОМАНДОВАНИЯ

Но все это потребовало времени. А за эти полтора месяца и разыгралась трагедия Сорок четвертой дивизии.

Из двух последних приказов поарма и штарма Щорс знал о назначении нового командования и прибытии нового члена Реввоенсовета Маралова. Командармом был назначен бывший генерал Миронов.

Щорс понимал, к чему все это идет.

Он знал, что если до сих пор враги из штаба не решались снять его, то объяснялось это лишь его огромной популярностью в войсках. Знал, кроме того, что по поводу смерти батька Боженко по всей дивизии ползли слухи о том, что вовсе не полячка отравила батька, а «под эту марку» отравили батька «инспектора», присланные со специальной целью уничтожить Боженко и Щорса.

Народная молва способна «из былей делать сказки», однако ж бывает в этих сказках часто прозорливой.

Щорс сам неоднократно слышал, как со вздохом облегчения говорили у командукра о смерти батька.

— Вовремя умер старик — с такой полубандитской неотесанностью трудно было справляться. Он слушался лишь вас, но этого недостаточно. И все равно — рано или поздно — кончил бы он плохо...

Щорс, не стерпев подобной клеветы, вступился за доброе имя боевого товарища и наговорил достаточно резкостей, чтобы самому ему прошло это даром. Но снять Щорса с дивизии при данной обстановке было невозможно. Это понимал командукр. Понимал это и Щорс.

Отнять же защиту и опору перед Москвою, Сталиным и Ильичем — прежнего члена Реввоенсовета, сдружившегося со Щорсом и почти неотлучно, находившегося в дивизии, центральной боевой группе на юго-западном участке, — это означало лишить его моральной опоры и дать ему понять, что пора ему изменить тон и либо безоговорочно повиноваться бездарному командованию, все время противоречиво и непоследовательно путавшему карты боевых действий, либо уйти из дивизии.

Щорсу несколько раз в штабе предлагали отпуск и на его упрямый отказ качали головами и говорили: «Ведь вы же кашляете кровью».

У Щорса действительно был туберкулез, и иногда после сильного напряжения открывалось кровохарканье.

— Я хочу заставить кашлять кровью врагов, — отвечал Щорс, — и

меня не беспокоит мой кашель.

В отпуск Щорс идти не хотел, боевые задания он перевыполнял, далеко обгоняя робкие планы командукра, и единственной причиной для снятия его с дивизии могла быть провокация.

Приходили эти мысли в голову Щорсу, когда, оставаясь ночью один, он невольно суммировал свои впечатления. И часто являлась тогда перед ним величественная фигура умирающего Боженко и грозное предостережение.

«Берегись, Микола, руки предателей — отважных убивают в спину!..»

Щорсова спина не холодела, когда он думал об этом: в спину ли, в лоб ли, а смерть стережет его постоянно потому, что он постоянно в бою. Но не надо же быть и слепым.

Предостережения Дениса, предостережения батькой, наконец, предостережения Бугаевского — людей, близко к сердцу принимавших его судьбу, — нельзя было просто отстранить, отмахнуться от них.

ПРИЕЗД НОВОГО КОМАНДОВАНИЯ

Однажды утром Щорса разбудил телефонный звонок:

— На вокзале вас ожидает прибывшее командование армии. Явитесь немедленно с рапортом.

Щорс направился на вокзал.

Бугаевский поехал на вокзал вслед за Щорсом, узнав о приезде командования лишь через полчаса и досадуя на то, что комдив не разбудил его и взял на одного себя возможные неприятности.

Бугаевскому удобнее было поставить на вид приехавшим, что они о часе своего приезда не сообщили и этим создали взаимную неловкость.

Но делать было нечего. Щорс, конечно, понервничал, но все это пустяки. «Однако уезжать сегодня мне не следует, — думал Бугаевский. — Надо остаться, чтобы установить, насколько это будет возможно теперь, равновесие в отношениях между новым командованием армии и Щорсом. Это необходимо уж по одному тому, что малейшие разногласия могут привести к непоправимым осложнениям».

«Сейчас сообщаю обстановку, — думал Бугаевский. — Конечно, они теперь Щорсу дадут распеканку, чтобы установить свое превосходство и подчинить его. Он здесь один. Ну, братва не выдаст. Голова у него ясная, нервы крепкие. Но все же без меня ему будет трудновато...»

Он застал Щорса уже садящимся в машину, чтобы ехать обратно.

— Что ж ты меня не взял с собой? Напрасно. Не было бы лишней трепки нервов... На чем договорились?

— На завтра здесь назначено генеральное совещание штаба, я докладчик. Негласный суд и расправу думают учинить надо мной... Но ты не задерживайся, уезжай. Я им дам ответ сам, не беспокойся!

— Да я и не беспокоюсь. Но не уеду. Ты знаешь, на коростышевском направлении нажимает не то Соколовский, не то шляхта, не то галичане.

— Знаю, — отвечал Щорс. — Я послал туда нежинцев с батальоном Кащеева в помощь Богенгарду.

— Слышишь? Гвоздят артиллерией.

— Слышу...

— Ну, двигай!

Бугаевский прошел в салон-вагон командарма.

— Очень приятно, — цедил командарм, слушая упрек Бугаевского за то, что командарм не нашел нужным известить штаб дивизии о своем

прибытии в Житомир.

— Что очень приятно? — поднял брови Бугаевский.

— Очень приятно выслушивать ваши замечания. Ведь вам уже в сущности безразлично: вы уезжаете в Москву.

— Разрешите вам заметить, что мне и в Москве не будет безразлично то, что происходит здесь, — резко отвечал Бугаевский, сразу сбивая спесь с командарма. — И разрешите мне, а не Щорсу дать разъяснения новому командованию о положении на фронте.

— Вас ведь ничто к этому не обязывает; вы отчитаетесь в Москве перед Реввоенсоветом, а здесь будет отчитываться начдив Сорок четвертой.

— Дело не в том, чтобы мне отчитываться. Дело здесь не в исповедях, а в том, что вы обязаны это разъяснение принять от меня. Тем более, что я на этом настаиваю.

Маралов вмешался в разговор и вяло заявил:

— Это, конечно, не обязательно, но очевидно, что действия начдива были не совсем самостоятельными и бы хотите разложить ответственность на двух.

— Так же точно, как и вы будете разделять ее с командармом, — заявил Бугаевский.

— Хорошо, мы предоставим вам слово для доклада.

Тон сразу устанавливался полувраждебный, но Бугаевский не жалел об этом, потому что он решил повести дело начистоту и добиться внесения полной ясности в задачи фронта.

Сейчас, перед отъездом в Москву, надо было уяснить: во имя чего делались все изменения в командовании, в руководстве и какие именно новые принципы намерено установить новое командование.

Щорс, проверив свою сводку по дивизии, понимал, что в сущности ничего угрожающего нет ни на одном участке: демонстрация у Коростышева производится лишь для того, чтобы отвлечь командование дивизии от основной ее задачи у Житомира.

Обойти с тыла Житомир по направлению к Киеву — для врага значило подставить себя под фланговый удар.

Правда, резервы Щорса в Житомире были невелики: кроме курсантов и недавно расформированного и плохо укомплектованного Нежинского полка, были лишь батальон Кащеева, да Одиннадцатый полк Богенгарда, державшего заслон от Коростеня, да две отдельные пулеметные роты.

Щорс выдвинул на участок под Коростышев в помощь отошедшему полку Богенгарда Нежинский полк, придав ему батальон Кащеева и артиллерийский дивизион. Курсантов своих Щорс берег от всякого риска,

считая необходимым сохранить их до выпуска и при новом, неизбежном после ближайших решительных боев формировании дать всей дивизии новых, выращенных и воспитанных им самим в разгаре боев командиров из лучших и способных бойцов дивизии.

Как ни рвались в бой курсанты, Щорс укрощал их:

— Ждите, скоро вы мне понадобится для больших дел.

Утром следующего дня Щорс явился в салон-вагон по вызову командования для доклада.

Стуча стеклом по карте, развешенной в салон-вагоне командарма, он говорил:

— Мы в мешке?.. Но мешок, о котором вы говорите, завязан только провокационной путаницей заброшенных к нам в тыл со стороны Петлюры предателей и таинственным отсутствием трех дивизий вверенной вам армии. Вместо того чтобы накопить и сконцентрировать и дать сейчас генеральное сражение Петлюре, чтобы уничтожить этого противника и повернуть на юг к другому— Деникину, — мы все время растекаемся, как будто для нас и сейчас является задачей захват территории и поход на запад. Вот и результат этой стратегии: ни южная, ни западная армии ничем не связаны в своих действиях, и все предоставлено случаю. Имеет ли командование сейчас задачу объединить хотя бы свою армию для сокрушительного удара по врагу? Я еще не знаю вашего мнения. Но по крайней мере я не вижу этого из приказа командукра и думаю, что нет. Однако ж, высказав все это, я все же заверяю вас в том, что, если мне будет предоставлено право защищать свой план обхода и всех намеченных мной боевых операций, я развяжу этот мешок и закреплю за армией всю пройденную ранее и оставленную нами территорию.

— Вы начинаете с обвинения командованию, товарищ начдив, вместо того чтобы выслушать его сами.

— Извольте, я слушаю, — заявил Щорс, пристально глядя на командарма, у которого надулись жилы на висках от той неслыханной дерзости, какую позволил себе этот «партизанский выскочка, слывающий легендарным»,

В это время вошел Бугаевский.

— Так вот выслушайте же... — повторил, откашлявшись, бывший царский генерал. — «Поглощение территории» без способности закрепить ее за собой является исключительно вашей виной: это и есть та лихая партизанщина, которой мы прежде всего решили положить здесь конец. Идея завоевания Европы, «поход на Венгрию», — это и есть та порочная мечта, которую родила ваша дивизия.

— С больной головы на здоровую! — покраснел и встал Бугаевский, начав по обыкновению играть рукояткой казацкой своей сабли. — Перейдемте ближе к делу, у нас нет времени для болтовни.

Мионов, однако, не смутился, он продолжал с тем же наигранным апломбом:

— Венгрия улизнула, и ваша дивизия, вытянувшись слоновьим хоботом, застряла между белополяками с одной стороны и галичанами — с другой. Боюсь, что галичане скажут: лучше на милость пана, чем в пасть большевиков.

— К чему вы говорите все это? — опять не стерпел Бугаевский.

— Командование — и главковерх и командукр — предостерегали вас, сколько мне известно, от этой авантюры, — заявил Мионов.

— Это же провокация. Я требую от вас конкретных обвинений! — сказал Щорс командарму, вставая с места.

— Прошу выслушать, что говорит командарм. Я могу разоружить вас и снять с дивизии! — закричал Мионов.

— Это вряд ли! — возразил Щорс и встал, выпрямившись, дрожа от гнева.

Бугаевский решительно поднялся и крикнул Мионову:

— Требую от вас немедленно отказаться от гнусной клеветы на героическую дивизию и ее командира, гражданин командующий.

Щорс стоял среди вагона в расстегнутой гимнастерке, с лихорадочно раздумывавшимся лицом и горящими глазами. Синие глаза потемнели от расширившихся зрачков и казались черными. Он тяжело дышал.

Мионов поглядел на Маралова и, увидев, что его политический ватерпас сидит как в воду опущенный, вдруг переменяет тон.

— Все сказанное вызвано лишь вашим тоном, товарищ начдив, — обратился он к Щорсу. — Заметьте все же, что с моим прибытием сюда я несу ответственность за состояние фронта и этого участка. Мне известно, что на коростеньском участке неблагополучно. Галичане обходят вас с тыла при содействии белополяков, и, судя по артиллерийским разрывам, бой происходит у подступов к городу. Какие части вами выдвинуты в заслон и какие имеются на фронте?

— Разрешите мне отправиться на фронт и оставить вас. Я вам дам полный отчет после боя.

— Я рекомендую вам выставить в заслон вашу школу курсантов, лодырничавших здесь уже три месяца.

— Назначение школы предусмотрено для других целей, и курсантов я не выведу дальше караульной службы в городе. Я могу, однако ж, дать вам

ее в охрану...

Лицо командующего дернулось.

— Я требую выдвинуть школу на позицию.

— Школы я не дам и не вижу в том никакой нужды. Я сам поведу сражение и имею достаточные силы для любого отпора и нападения.

Щорс и Бугаевский вышли, оставив командование в полном расстройстве чувств.

— И какая же дрянь наехала!.. — сказал Бугаевский, выйдя из вагона.

— И этот препохабный рыжеусый кот — генерал-командующий! Ну кто ж ему поверит? Как можно выдвигать таких вот препохабных бывших тузов в командующие! Или уж свет клином сошелся и нет в большевистской партии военного сословия?

— Ничего! Дай только срок до Москвы добраться! — откликнулся Бугаевский.

Щорс заехал в школу. Дисциплинированные курсанты, как всегда, встретили его развернутым фронтом. Но в сдержанности их приветствий было столько рвущейся к любимому командиру сыновней сердечности, что Щорс постоянно заезжал к ним черпать новые силы.

Любая усталость пропадала у него при встрече со своим «детищем», как он называл школу. И он ездил к курсантам в те минуты, когда нуждался в такой поддержке.

Так заехал он к ним и сейчас.

— Товарищ Щорс, — обратился к нему один из смельчаков, — не выдерживаем мы звука орудий. Ведь бой в двадцати верстах. Соскучились мы по бою!

— Понимаю... да я и сам соскучился. Дисциплина, товарищи. От боя вам не уйти. Драться будем не позже, чем дня через три. Товарищ Карцелли, поручаю тебе замещать меня по гарнизону. Школа остается на караульной службе.

И он простился со своими любимцами.

В штабе Щорс давал распоряжения с такой же точностью, как всегда. Он быстро просмотрел донесения и сводки, накопившиеся за время его отсутствия, и дал распоряжение прибывшему с фронта от Богенгарда ординарцу заседлать лошадей.

В ожидании он остановился у карты, повешенной на стенку с недавно воткнутыми флажками последних своих тактических расчетов, и задумался.

Он вдруг понял, что если Сорок пятая, Пятьдесят восьмая и Сорок седьмая дивизии южной группы даже и подойдут, то теперь генеральное сражение надо будет давать не в Проскурове и не в Шепетовке, а в Бердичеве. И он, вспомнив весенний бердичевский бой, решил, что теперь бы он разрешил этот бой, как и тогда, артиллерией. Вошел Бугаевский.

— Едем? — спросил он.

— Едем, — отвечал Щорс.

— Ты что, опять искал место генерального боя? — пошутил Бугаевский.

Щорс вдруг обернулся к нему, как бы желая что-то возразить, но не сказал ничего. И, уже садясь на лошадь, сказал:

— Последний и решительный!..

— Что? — откликнулся Бугаевский из-за лошади, проверяя подпругу.

— Бой!.. — ответил Щорс и выехал со двора.

СМЕРТЬ ЩОРСА

Лето 1919 года было жаркое, не дождливое, в особенности август. Он весь был солнечно-золотой. И Щорс, любивший природу, возбужденный быстрой ездой, любовался окрестностями, открывавшимся перед ним простором полей, уже сжатых. Кое-где краснела стерня гречихи, отливающая кровавым рубином, а рядом янтарная стерня жита, ячменя или пшеницы, а вон лиловеют и листья еще не убранного бурака, а вон зеленеет и картошка.

Вся гамма красок, как бы разбросанных на палитре, лежала на полях, окаймленных синеватою вдаль, изумрудно-зеленою вблизи полосой лесов.

Щорс подхлестнул коня и помчался стрелой, оставляя далеко позади своих спутников. Ему хотелось до вечера повести бой.

Редкое, методическое покашливание артиллерии было все ближе, скоро стал слышен и пулемет. Звук в прозрачном августовском воздухе доносился с особой четкостью.

Впереди лежала деревня. Ординарец, связист Богенгарда, сопровождавший Щорса, догнал наконец его и крикнул:

— Товарищ Щорс, правее, за мной!.. Может, и в Белошицах та стерва окажется. Это Белошицы. А наши возле могильни с того боку, вон за линией, где сарай,

Но Щорс махнул рукой и помчался к деревне. Бугаевский догнал его.

— Не может быть, чтобы этой деревни Богенгард не занял, — сказал Щорс.

— А на кой черт тебе она нужна? Поворачивай за ординарцем, — сердито проворчал Бугаевский, и Щорс, смеясь, повернул коня и махнул ординарцу: веди, мол.

Тот вынесся вперед, сразу же прилег к конской гриве. Несколько пуль просвистели над их головами.

— Черт, может, и наши стреляют!.. Не надо было дразнить! Скакали к деревне, а потом повернули; ясно, решили, что вражеская разведка... Сейчас откроют преследование, — говорил на скаку Бугаевский, догоняя Щорса.

— Держи ближе к лесу, а то пристреляются...

— Да вот уже и наши цепи! — показал ординарец и спрыгнул с коня. — Тут слезайте, товарищ начдив, стрекочет сильно.

Действительно, пулемет не смолкал.

Богенгард, заметив из цепи подъехавших и спешившихся всадников, подбежал к ним и удивленно уставился на Щорса и Бугаевского.

— А вы зачем здесь?.. — спросил он Щорса. — Только что нежинцы пришли: сменили моих. Я отвел своих к Белошицам: оттуда лучше ударить по флангу. Пока тут останутся нежинцы. Ты как думаешь, Николай?..

— А где твоя артиллерия? — спросил Щорс.

— В лесу, — отвечал Богенгард. — Я пока ее не выношу на позицию. Точно не могу нащупать... Вот сейчас — откуда ни возьмись — из того сарая затрещал пулемет.

— Выноси артиллерию на опушку и выдолбай немедленно тот пулемет из сарая. Сейчас же пойдем в наступление.

— Я не решался, не разведав, народ тратить. Может, разведка даст о себе знать. Уже третья разведка пропадает. Место не очень приятное.

— Да, у тебя не очень удобная позиция. Ну, ничего, немного постреляем.

И Щорс направился к первой цепи, залегшей в стерне недалеко от железнодорожной насыпи.

— Здравствуйте, нежинцы! — сказал Щорс, проходя мимо цепей.

— Щорс!.. Щорс!.. — пронеслось по рядам,

— Здравствуйте, товарищ начдив! — откликнулось несколько голосов.

Богенгард послал ординарца к батарее с приказом выехать на открытую позицию и вернулся к Щорсу.

— Зачем было вам выезжать? Я бы очень просил вас вернуться в Житомир, Николай. Мы дорожим вами как руководителями, а не как бойцами, и совсем некстати вам было ехать сюда. Ну, ложись здесь, дальше ходить не следует. Слышишь?

Щорс осматривал местность в бинокль, приподнимаясь и становясь на колени. Цепь лежала на изгибе насыпи, изредка постреливая. Пулемет из сарая то затихал, то опять принимался строчить. Вот он опять затарахтел.

— Скоро ли артиллерия? — нервничал Щорс. — Видишь, там вылазка полезла на насыпь; он не зря нас тут задерживает, этот пулеметчик. Почему ты не занял ту околицу? — спрашивал Щорс Богенгарда.

В это время послышался близкий артиллерийский выстрел — и сразу разрыв. Сарай задымился от взрыва и рухнул. Щорс приподнялся во весь рост и крикнул:

— За мною, товарищи!.. Вперед!..

Раздалось несколько выстрелов, и вдруг... Щорс упал ничком на землю.

Богенгард глазам не верил, что упал Щорс. Не верила и цепь, и

глубокая тишина воцарилась на несколько минут, и остановились бойцы, как будто все затаило дыхание.

Бугаевский видел, как падал Щорс, и бросился к нему с левого фланга, от того места, где стояла только что подвезенная батарея. Он бежал, спотыкаясь и не разбирая того, что у него под ногами.

Добежав, он приподнял Щорса и посмотрел в его открытые, но уже угасающие глаза. Один глаз вдруг закрылся, а другой был еще открыт, и показалось Бугаевскому, что в нем еще горели мыслью укора последние мгновения, но и он закрылся. Алые губы Щорса, под мягкими усами, побелели и стали бескровными, и только розовая пена выбивалась на них пузырьками, как будто он еще дышал.

— Николай!.. Николай!.. — повторял Бугаевский, не желая верить случившемуся.

— Убит? — подбегая, спросил Кащеев.

И тут только, сам еще не понимая хорошенько, что он произносит:

— Убит, — опустив голову, ответил Бугаевский.

— Давай лафет, Богенгард... положим его на лафет!

И, поднявшись во весь рост, крикнул Бугаевский бойцам на все поле:

— Убит комдив!.. Щорс убит, товарищи... Отомстим за эту смерть!.. За мною, вперед!

И разом поднялись все цепи, как будто отодралась и поднялась серая корка земли и пошла. И по полю, как эхо, из уст в уста, от звена к звену пронеслось по цепи: «Убит комдив!..», «Щорс убит, товарищи!..», «Щорс убит! Убит Щорс!..»

— Не может того быть!

Нет, не могли бойцы поверить, что их чудесный командир мог быть убит, и на мгновение вся цепь, поднявшись, чтобы устремиться вслед за Щорсом вперед, застыла в немом оцепенении. Где застал человека этот крик, извещавший о гибели любимого боевого друга, там и остановился и застыл боец, будучи не в силах ни рассуждать, ни опровергать. Что-то было столь убийственное в этом тревожном, трагическом крике, что усомниться в правде страшного известия было нельзя. Но не хотели верить богунцы, Щорсовы братья, которых сам Щорс водил в сотнях боев в передней цепи — от Унечи до Житомира, — и пуля его не брала и бессмертным казался им герой Щорс. Нет, не могли бойцы поверить, что их чудесный командир мог быть убит, и на мгновение вся цепь застыла в оцепенении. Каждый боец чувствовал себя самым близким человеком по отношению к любимому командиру. Щорс — это магическое имя, этот живой лозунг героизма и стойкости во всех боях на этом фронте, Щорс, которого сама «пуля не

брала» и с которым не пропадешь, должен быть бессмертным, — так хотела верить легенда, как всякая легенда о народных богатырях.

Нет! Не может этого быть!..

И как бы опровергая это горестное известие, эту весть о смерти, двинулись живым порывом бойцы вперед, как будто все еще вел их и звал за собою сам живой Щорс, И двинулись порывом бойцы и побежали молча, выдвинув вперед винтовки с примкнутыми штыками.

И мимо бегущей цепи на лафете, запряженном Щорсовыми конями, промчалось, привязанное ремнями к лафету, тело героя.

— Провези его перед строем бойцов для прощанья, — сказал Богенгард Бугаевскому, ведя в бой нежинскую цепь.

Богенгард верхом догнал день и сменил Бугаевского, отдав ему коня.

— Поезжай сопровождать... — Ему надо было сказать «сопровождать Щорса» или «сопровождать тело Щорса», но он не мог выговорить — настолько было это больно и не хотелось еще раз назвать словами и этим уж как бы узаконить происшедшее и примирить себя с ним.

Бугаевский, разгоряченный боем и чуть забывшийся в бою, с деловой поспешностью, не споря с Богенгардом, сел на лошадь, с которой только что слез Богенгард, и стал было ему рассказывать, в каком направлении, по его мнению, надо повести цепь. Но, услышав «ура», он понял, что объяснять тут нечего, и Богенгард махнул рукой: что, мол, тут-то все понятно, а вот там, куда тебе надо ехать, там до сих пор ничего не попятно.

Лошадь нетерпеливо заржала и, топчась на месте, покосилась в ту сторону, откуда только что прискакала: видно, там остались ее друзья.

Выйдя из мгновенного оцепенения, Бугаевский дал шпоры и, ничего не ответив Богенгарду, ускакал. Он дал коню поводья, так как не знал, где, собственно, он находился и в какую сторону надо ехать, чтобы догнать Щорса.

«Догнать Щорса, — подумал он, — странное выражение!». Теперь его уже не нагонишь: он прямо шагнул за границу бессмертья, оставив в сознании тысяч любивших его и веривших ему людей свой бессмертный прекрасный образ героя. Он весь в движении — в устремленности к победе, — не менее неистовый и беспокойный, чем друг его батько Боженко, тоже недавно ушедший в бессмертие славы, с тем только отличием, что его трезвый и ясный ум никогда не затемнялся гневом. Нет, даже и в гневе и в яростной ненависти к врагу он, как поэт, сочиняющий ясные рифмы и находящий классическую форму и для гнева, создавал свои

тончайшие разработанные приказы, которые станут для историков достойным памятником партизанскому командиру, одному из первых стратегов революционной войны. Взявшись за руки, Щорс и Боженко рядом встанут на памятнике революции, выкованные из бронзы».

Конь примчал Бугаевского к той дороге, на которой стояла батарея. И у батареи, на лафете, запряженном конями Щорса и его конем, лежал покрытый шинелью и привязанный ремнями Щорс. Бугаевский взглянул на него сверху и подумал: «Какой же он прекрасный! Я даже и не замечал раньше, как он красив».

Лицо Щорса было действительно как будто высечено из мрамора...

Слезая с коня, комиссар почувствовал, как щека его стала совершенно мокрой от непроизвольно, беззвучно полившихся слез, которых он что-то с детства и не помнил.

И, подойдя к лафету, он поцеловал Щорса в лоб, перевязанный окровавленным платком. Богунцы быстро проходили мимо; увидев, что комиссар поцеловал Щорса в лоб и заплакал, не выдержали и тоже, быстрым шагом проходя мимо лафета, наклонялись и целовали комдива кто куда успел: кто в лоб, кто в губы, а кто и просто целовал шинель или ремни, стянувшие безжизненное тело. И на каждом лице оставалось мокроештао от слез; растертое пыльной рукой, оно становилось какой-то отметиной скорби. «Не дожил, ах, не дожил Николай до победы и не успел он дать свое генеральное сражение — свою мечту. Ну, мы дадим его!..»

— В бой, товарищи!.. Поспешите в бой!.. — крикнул Бугаевский, одушевляемый новым приступом скорби и гнева. — И никого не щадите из этих изменников!..

Щорс был положен на стол в большом штабном зале в бывшем дворце Голицына, увитый букетами и ветками осенних цветов. И боевые знамена клонились над ним — будто спящим, суровым и строгим, с ясным лицом.

Сменяемые каждые пятнадцать минут, стояли у гроба своего полководца курсанты его военной школы — его полевой академии. Весть о смерти Щорса каким-то странным образом обогнала прибытие Бугаевского, привезшего на почетном лафете тело героя. И весь Житомир всколыхнулся. Люди теснились у входа во двор штаба с цветами и лентами, и трудно было отбиться от желающих отдать ему последнюю честь прощанья. Курсанты распорядились всем. Первыми в почетный караул стали вместе с Бугаевским и Карцелли вновь прибывший командарм и член Реввоенсовета Маралов. Глядя на него, комиссар Бугаевский думал свою тайную думу, желая разрешить мучивший его вопрос: чего добивался Реввоенсовет,

посылая этого человека в спутники генералу Миронову, создавшему наиболее благоприятные условия для этой смерти, этой, быть может, тяжелейшей для- всей Украины утраты?

«Не это ли. вам было нужно?..» — невольно задавался он тревожащим его вопросом. И, проходя рядом с Мараловым после смены в карауле, Бугаевский сказал:

— Я возьму ваш салон-вагон для отправки тела Щорса. Моя же квартира и квартира Щорса в вашем распоряжении, — добавил он, вкладывая в это всю горечь вызова.

Лицо Маралова перекопилось при этих словах, но он ничего не ответил, а лишь наклонил голову в знак согласия.

ВЕСТЬ

Весть о гибели Щорса разнеслась с такой быстротой по армии и всюду по Украине, с какой не разносилась дотоле ни одна весть. Чем объяснить это? Да тем же, чем объясняется связанность живого с живым. Щорс был воплощением всего идеального в борьбе украинского народа за свободу. Он был устремлен так, что всяк, кто жаждал свободы, шел за ним. И не было в его личных действиях и одного поступка, который бы не отвечал справедливости и силе этой борьбы и этих идей. Народ всегда и везде умел оценивать явления по их истинной значимости, если они выходили из тени неизвестности и решались поставить себя при полном свете. Широчайшая известность Щорса в стране, совсем еще недавно всего лишь командира полка, потом — бригады, наконец — дивизии, объяснялась тем, что народ зорко и ревностно следил за теми, кто исполнял его волю к победе, и не забывал ни одной высокой заслуги служения ему, как и не прощал ни одной измены этому великому делу. Щорс был воплощением чистоты идей народа и его суровой и чистой морали, не говоря уже о том, что он был великий боец, великий организатор и стратег того времени. Люди проходили и проезжали через территории, занятые его войсками, и слышали о нем. Всякое большое доброе дело требует легенды и, вызвав ее из жизни, заставляет и ее — саму легенду — служить себе. Щорс служил легенде героизма, и она служила ему — герою.

И без всяких телеграфных проводов, хоть бы они и несли тяжкую весть о великой утрате, — на крыльях молвы облетела в одну ночь всю Украину весть о гибели Щорса. Щорса можно было похоронить в Житомире, но страшное надругательство над телом батька Боженко, разорванным на куски врагами, еще свежо сохранившееся в памяти, — ведь прошло только полтора месяца, — не позволяло решиться на это, тем более что и сейчас город находился почти в столь же угрожаемом положении. Щорса надо было увезти подальше и не рисковать тем, что враг произведет надругательство над его прахом.

Собственно, это было проявлением слабости и внезапно наступившей после смерти Щорса своеобразной депрессии.

Так ли хоронили батька Боженко, положенного в землю под разрывы чуть ли не над самой его могилой неприятельских снарядов? То был воинственный вызов сильной еще духом армии, у которой был такой вожак и такая надежная опора, как Щорс.

А теперь не было самого Щорса, и страшно казалось всем оставить его, мертвого, здесь как вызов. Могила Щорса не должна быть разрытой. Никто здесь не верил новому командованию, хоть никто и не говорил против него.

Не было такой военной неудачи, которую немедленно не ликвидировал бы Щорс, — он никогда не допускал, чтобы впечатление от неудачи успело бы хоть в малой мере повлиять на бойцов, и, отвечая на всякое поражение немедленным ответным ударом, восстанавливал равновесие и на поле сражения и в состоянии духа бойцов.

Даже курсанты, выведенные в бой после смерти Щорса, вернулись в Житомир для проводов комдива в дальний путь и, видимо, страдали в этом бездействии печали.

Житомир как бы поник, и стало повсюду тихо, как в комнате больного. Даже прохожие на улицах разговаривали тихо. И на всякий громкий разговор другие бы оглянулись, как на неуместный поступок. Только слышен был исполняемый знаменитым щорсовским оркестром моцартовский «Реквием» и грустные мелодии Шопена.

«Это перед грозой такая тишина», — мелькнуло в голове у Бугаевского. Но сам он был лишен возможности отвечать грозой на эту тишину. Он должен был ехать.

Гроб был установлен в салон-вагоне, а это, вероятно, был тот же самый салон-вагон, в котором полтора месяца тому назад скончался батько Боженко. У Бугаевского временами поднимался гнев, когда он вспоминал тот тон, который позволил себе по отношению к Щорсу бывший генерал, а ныне командующий, и комиссар думал: «Расскажу Ворошилову и Сталину расскажу! Такому положению нельзя оставаться: армия разложится под таким командованием. Единственная дивизия, которая вынесла на себе все, обезглавлена и отдана в руки обалдуям, или предателям, черт их разберет».

Щорса решено было везти в Почеп — на место организации Первого Богунского полка. Всем частям и всем войсковым соединениям был дан приказ сопровождать останки Щорса до вокзала.

Под звуки «Реквиема» двинулось это печальное шествие от голицынского дома, где помещался штаб, к вокзалу.

Не услышать бойцам больше того бодрящего боевого голоса, который всегда означал победу, который даже из поминок по батьку Боженко, вместо слез о великой утрате, создал бой и победу. Щорса оплакивал мягкий и ясный, как осенний воздух, Моцарт и гневный и взволнованный Шопен.

— Товарищи красноармейцы! Погиб на поле брани ваш славный и бесстрашный начальник, друг и товарищ Щ о р с! — говорил комиссар

Бугаевский. — Товарищи! Имя Щорса вас всегда воодушевляло к новым революционным подвигам. Полки, сформированные на нейтральной зоне во время гетманщины из маленьких отрядов, благодаря Щорсу выросли в стройную, неустрашимую революционную армию. Под предводительством его вы совершили великие подвиги. Идеал революции вас согревал, а имя Ленина воодушевляло. Щорс вел вас к великим победам над врагами революции. В каждом богунце, новгород-северде, нежинде и тарашанде живет дух славного Щорса. Сердце каждого из красноармейцев билось за него и вместе с ним. Он был не только великим бойцом, он был не только бесстрашным героем, он был не только революционером с железной силой воли, он был не только одним из талантливейших полководцев, — в красноармейской среде он был простым рабочим, добрым товарищем и верным и скромным другом. Смертью героя на революционном посту погиб наш любимый друг и товарищ Щорс. С верой в окончательную победу революции пал он. Он верил в революцию, верил и в нас. И ни один из нас не обманет надежд и последнего его чаяния. Но каждый будет стремиться осуществить его идеал — идеал коммунизма. Реет в воздухе над нашими головами дух героя, и слышен его мощный голос: «Братья, вперед, к новым победам во имя революции, во имя свободы! Она непобедима, она не погибнет!»

Двенадцатизалповым салютом ответили богунцы на речь комиссара Бугаевского, и поезд отошел от Житомира, весь увитый траурными и красными лентами. Далеко-далеко увозил он Щорса...

Не доезжая Мозыря, Бугаевский, сопровождавший тело Щорса, получил телеграмму от командования, за подписью Миронова и Маралова: «Верните состав в распоряжение командования немедленно». Что это значило, Бугаевский не понимал. Он ответил телеграммой-вопросом: «Чего вы хотите и что это значит?» Ответ он получил: «Повторяем: верните салон-вагон в распоряжение армии. Перенесите гроб в теплушку другого состава нужного вам направления». Бугаевский ответил: «Стыдитесь!»

Комиссар думал о том, что произошло. И он в сотый раз представлял себе картину боя, в котором погиб Щорс, вспоминая все подробности обстановки.

«Ясно, что командование имело непосредственную задачу убрать Щорса. А почему им надо было убрать его? — спрашивал себя Бугаевский, сосредоточенно прослеживая путь своих догадок. — Да очень просто. Он не с ним, не с главкомом, не с Троцким. Вот тут-то, очевидно, и зарыта собака, и называется эта собака контрре-волюцией». Он поднялся и взволнованно прошелся по вагону.

«Что же мне показалось? Что открывается? А вот что: последний разговор с командованием, с генералом Мироновым разговор!.. Не дошел Николай до Карпатских гор. Там паны пилсудчики топят галичан, бросая их в пропасть. Там и выродок Петлюра с «заморскими ухватками» приехал с антантовыми инструкциями. Все понятно. И везу я в гробу улику «того великого воровства», как говорят казаки. Много сыновей потерял народ в великом, деле своем, но на место их встают другие. Обещаю тебе, Николай... — подумал он, поглядев на гроб, — ничем не уронить твоей чести!» И, смахнув слезу, встал, глядя вдаль, на широкую степную землю, открывавшуюся за окном вагона и звавшую к защите.

ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ЩОРСА

Денис сидел на площади села Мена среди бойцов и советовался относительно переформирования отряда. Начдив Пятьдесят седьмой Макатош предлагал влить всю пехоту партизанского и коммунистического городнянского отряда в Пятьсот двенадцатый полк, а ему оставить только кавалерию, чтобы было на каждом фланге по особому кавалерийскому отряду: на левом полтавец Кицук, а на правом — Кочубей.

Бойцы пытались доказать ненужность и несостоятельность такого «раскола». Денис, сам не желавший этого «раскола» и не очень-то полагавшийся на дивизионного стратега, считал, однако, необходимым подчиниться дивизионному командованию.

— Не надо вносить партизанщину в армию: мы не в подполье в тылу врага, а на фронте.

— Да он же пьян в дым, той беспросыпный кугиль, той дивизионный.

— То, что пьян, это одна статья; может, мы его и отучим сегодня. Не в нем дело. Может, завтра будет командовать дивизией кто другой. Не пьяный же будет нам стратегию давать. А дело, повторяю, в единстве структуры.

— Ну, режь так, коли так по мерке требуется! — соглашались партизаны.

В это время подскакал Карпо Душка, с ходу спрыгнул с коня, подошел к Денису и, сняв шапку, низко опустив голову, сказал:

— Убит Щорс, Денис Васильевич!

— Что?! Да ты не мели! Что ты говоришь? — закричал Денис. — А ну, посмотри мне в глаза!

Карпо поднял голову и посмотрел Денису прямо в глаза. Мурашки пробежали по спине Дениса, и сомлевшая рука едва сняла картуз. Сняли шапки все остальные бойцы и застыли на месте.

Денис не помня себя вскочил на своего Кустика и помчался вместе с Душкой на вокзал. Сердце у него обливалось кровью от скорби и гнева.

На платформе он встретил начштаба Пятьдесят седьмой дивизии Зубова, старого товарища Щорса. Зубов шел по перрону, держа в руках газету с портретом Щорса в черной траурной кайме, и весь вид этого гиганта изображал какую-то растерянность. Он шел согнувшись.

— Боем будут поминки Щорсу, Зубов! — сказал Денис. — Боем воздадим врагам!

— В бой! Побьем их, гадов, к чертовой матери! — крикнул Зубов.

Через полчаса две тысячи копыт ударили о берег Десны и стали.

Новый боевой приказ получен. И, объезжая ряды по строю, Денис говорил охрипшим, усталым голосом:

— Братва! Я изучил положение. Фланги открыты. Я пойду своим маршрутом по флангу справа и знаю, что так будет правильно. Кицук пойдет слева кавалерией.

— Да ты не сумлевайся, — ответил кто-то из рядов, — раз так, так так. Об чем исповедаться?

Конникам не терпелось. Рвались в бой: помнили смерть Щорса и кипели гневом и местью к врагам.

— Ну, ребята, ладно, — подтянулся Денис, оглядев насупленные лица бойцов. — За мною, марш!

Конница пошла за Денисом, как шумящий кильватер идет за буйно пошедшим флагманом. Пыль, искрясь в рассветных косых лучах, золотую канвою зашила ушедшую конницу. Впереди бежала пешая разведка из знаменитых скороходов. Правда, она вышла раньше, но и теперь равнялась с идущей рысью конницей и не хотела отставать. Кныр бежал и говорил Денису:

— Спасибо, что поверили мне, теперь я себя оправдаю.

Денис, набирая партизан в Городне для последнего боя с врагом, взял из тюрьмы добровольцев. В том числе и Кныра, просидевшего восемь месяцев с момента своего предательства.

Денис оттеснил его прочь с дороги.

— Не путайся ты под копытами, расшибу!

И Кныр убежал далеко в поле по сжатой колючей стерне, смеясь и скаля свои белые зубы.

Вот и мост.

— Во имя овса и сена! — перекрестился Душка.

— Эх, братишечки, мост видать! — крикнул Кныр и снова побежал, как борзая, рядом с Денисовым конем.

— Точи ножи, кусай сабли! — тараторил он, но, видно, стал волноваться боевым волнением. Ноздри его раздулись.

Видно, почуяв волнение всадников, приосанившихся на седлах, и лошади стали водить ушами и раздувать ноздри. Денис посмотрел мельком на Кныра, который опять что-то тараторил, но уже не слышал, о чем тот говорил. Заметил лишь возбужденное лицо его и тотчас же забыл о нем, мгновенно собранный и сосредоточенный для одного-единственного дела, вернее — для одного-единственного движения, нужного в эту минуту.

Он почувствовал себя как бы слитым из того же материала, из которого сделаны пулеметные ленты, перекрестившие его грудь.

«Пуля меня не возьмет!» — почему-то подумал Денис.

Он выхватил шашку и понесся на мост во весь карьер. Лишь только вступило на мост двести всадников, с другого конца, появившись из-под обрыва, внезапно вступило столько же неприятельских конников в желтых околышах — дроздовцы.

Задорный их командир в красной черкеске драл голову коня на мундштуках.

Весело ехали белые умирать, и на это задорное веселье их гневно прихмурились партизаны и разом остановились, Стали, будто кореньями впились в землю, не сшибешь. Хоть под ногами был мост, а не земля, силу земли в себе почуяли хлеборобы.

Денису передалась с запахом конского пота эта земляная сила, идущая за ним, он тяжело осел на коне.

Неожиданный переход от быстрого движения, с каким красные въехали на мост, к медленному, сдержанному ходу убийственно подействовал на неприятеля, который в азарте разлетелся и ожидал встретить такой же азарт противника.

Не доезжая трех последних саженей до места поединка, неприятель тоже остановился. Тогда Денис, уловив момент, поднял саблю и двинул свои сотни, рубясь направо и налево.

Он не оглядывался назад, и не слышал, и не видел, что там — за ним. Так и проехал он, рубясь, на тот конец моста. Только там обернулся Денис и увидел, что он один... Очнулся он, уже качаясь между конями на натянутой бурке, и спросил:

— Победили?

— А конечно! — отвечал Душка.

— А конечно! — отвечал Евтушенко.

— Что у меня порублено? — спрашивал Денис, пробуя пошевелиться.

— Не много чего порублено, а больше того потоптано, — отвечал Душка. — Да ты не сумлевайся, выходишься!

«НАЕШЬ КИЕВ!»

Старые богунские командиры — Кашеев, Коняев, Михута, Роговец — положили сами между собой не сдавать врагу больше ни одной позиции и поклялись в том именем Щорса перед бойцами.

И связались богунцы и новгород-северцы с таращанцами, с Кабулой, Калининым и Хомиченко, проделавшими после смерти батька Боженко обратный путь с не менее жестокими боями против галичан и белополяков — от Дубно и Проскурова до Новоград-Волынского.

Кабула пошел на Лесовщину, в тыл галичанам, и тут, соединившись с Кашеевым, ударили они со всей силой привычной скорости удара под Фасовой, разбили целую дивизию, выдвинутую заслоном от Житомира, и погнали другую дивизию — сичевиков — до местечка Чернихов.

А на завтра ударили и по этой дивизии и ворвались снова в Житомир. Странно было богунцам и таращанцам, что через день откуда ни возьмись подошла к Житомиру Сорок пятая дивизия. Каким путем шла она и где она скрывалась, не обнаруженная красными разведками Щорса, искавшими ее в течение месяца, — так и нельзя было толком понять. По-видимому, шла она от Бердичева, не давая о себе знать.

Приказ Миронова, опаздывавший на целые сутки и фиксировавший уже то, что богунцы с таращанцами выполнили по личной инициативе своих командиров, гласил: «С целью оказать содействие пробивающейся южной группе — богунской бригаде перейти в общее наступление на Житомир».

Очевидно, новому командованию армии было известно и ранее местонахождение Сорок пятой, Пятьдесят восьмой и Сорок седьмой дивизий. Но почему же в прежних приказах эти дивизии не фигурировали вовсе, а тут вдруг появились на сцену?

Для настороженных по отношению к новому командованию богунских командиров это казалось странным. Однако же соединение с вновь прибывшими дивизиями, казалось, облегчало положение.

Противник, выбитый богунцами из Житомира, закрепился по реке Тетерев. Первый Богунский полк получил приказание выбить противника из укрепленных позиций и выйти на линию реки Гуйва.

Киев в это время был занят Деникиным.

Празднование годовщины рождения Богунского полка в первых числах сентября застало богунцев в Житомире. В театре была объявлена новая

постановка той самой труппы, которая отдала себя некогда, после смерти батяка Боженко и надругания над ним пилсудчиков, в распоряжение дивизии. Но спектакль не мог состояться, потому что богунцы были в этот день в таком боевом настроении, что, придя в театр, заявили своим командирам:

— Не тешьте нас, как маленьких детей! Не такое время, чтобы всякие сцены смотреть. Подымай занавес и объявляй митинг. Нас беспокоит судьба нашей родины, и мы помним завет Щорса: «Не успокаиваться до победы!» Даешь поход на Киев! — вот девиз нашей годовщины.

— Ни одного часу не останавливаться в преследовании врага, стремящегося отнять у нас завоеванную революцией свободу. Непреклонно преследовать его до победного конца. Так завещал нам наш дорогой, любимый командир Щорс. А что же теперь получается? Все, что мы завоевали в своем героическом походе — движением вперед, враг отнимает у нас за спиной. Мы отвоевали семь месяцев тому назад свою родную столицу Киев и освободили Заднепровье чуть не до самых Карпат, а пока мы здесь боремся с Петлюрой, там сдали Киев другому врагу — Деникину... Я не могу говорить, товарищи, у меня спирает дыхание в груди и слезы подступают к глотке, — говорил Кащеев.

— Щорс — наше знамя, и все, что говорил он и что завещал нам, мы должны выполнять и выполним, либо умрем все до единого, — иначе мы не вправе будем называться богунцами! — говорил Роговец.

— Ту территорию, которую прошли под командой наших славных командиров, Щорса и Боженко, мы не уступим врагу! — говорил Коняев.

— Киев взят Деникиным. Заберем его обратно немедленно, иначе мы не богунцы! Кащеев, Коняев, Роговец, Михута! Ведите нас на Киев! — кричали им бойцы.

Вслед за бойцами опять выступили командиры. Они сказали:

— Спасибо вам, товарищи бойцы, за то, что вы держите слово перед Щорсом. Вот и видно, что не умерли наши красные любимые герои — Щорс и Боженко! Их живые, kloчующие сердца колотятся в нашей груди, их ясные, смелые мысли живут в нас, подымаясь лютым гневом. Так продолжается жизнь героев и после их смерти. Так в борьбе живет родина, хоть и ежедневно несет она великие человеческие жертвы, потому что на место погибших героев родит она постоянно со щедростью десятки других, их сменяющих. Так живет История! Спасибо вам, бойцы и товарищи! Мы сами дали такое же слово, и наши мысли и желания сошлись, а командование использует нашу боевую волю и пошлет нас на Киев. И Киев мы возьмем у неприятеля и вернем родине ее вековую столицу, хотя бы и

стоило это всех наших жизней!

Заиграли траурный марш по Щорсу и Боженко, и спели «Интернационал», и выбросили знамя с надписью: «Даешь Киев!»

С образом Щорса перед глазами двинулись на завтра богунцы вперед — на Киев.

ЗАХАРИЙ КОЛБАСА

— А как ты думаешь, Захарка, — без орудия нам Киева вроде не взять? — говорил пулеметчик Касьян Левкович своему односельчанину, комроты Захарию Колбасе, поставившему себе задачу ворваться в Киев и занять нижнюю половину города до подхода полка.

Комбат Третьего батальона Михута получил это задание для всего батальона от Кащеева, но задержался у Ирпенского моста, давая возможность перегруппироваться всей Пятьдесят восьмой дивизии.

Быстрота натиска, развитая богунцами, была так велика, что удержать инерцию разбега было невозможно: бойцы рвались к Киеву. Рискованное поручение, данное Колбасе — «с одной девятой ротой взять Киев», — лежало на совести комбата Михуты.

Но Михута только смеялся, когда батальонный политрук, он же писарь — Хохуда, взявшись за простуженную и обвязанную красным бабьим шерстяным платком голову, взвыл:

— Неимоверное это дело — взять Киев Колбасе одной ротой!

— Да Колбаса ж сам неимоверный, пойми ты такое встречное обстоятельство!

— Ух ты, братцы мои, вот герой! — ухал один из слушателей, греясь у костра, разведенного прямо на полу в разбитой снарядами станционной будке.

— Герой-то герой, — говорил скептически Никита Фурс, бывший нежинский партизан, а теперь пулеметчик. — Да не сходятся у тебя, мой земляк и товарищ, гражданин комбат, концы с концами! Сумлеваюсь я, к примеру, и в том, как ты говоришь: бежал Колбаса из концлагеря в Тирольские горы и увел с собой триста человек и орудия, чего примерно можно от него ожидать. Ну только, когда ж он при том справился на кулацкой жене жениться, работая, как видно, батраком, и как тая кулацкая жена обратилась у красавицу девицу?

— Вот это поддел! — загоготали остальные, не осмеливавшиеся вступить в спор с образованным комбатом Михутой, таскавшим за собой в походе какие-то книжки с фантастическими картинками и при всяком удобном случае читавшим их, — да как! Читая, он подпрыгивал на месте и хохотал, хлопая себя по тощим коленкам, как будто бы то, что там, в книжках, происходило, было для него совершенно живым, подлинным.

— Товарищи, прислухайтесь! — крикнул, вбежав в будку, постовой. —

Артиллерия в сторону Борщаговки!

— Ну и что с того? — спросил сардонически Михута. — Возможно, что то наша артиллерия, и не иначе, как Колбаса орудует.

Он встал и вышел, прислушиваясь к далекому звуку артиллерийских выстрелов.

Михута не ошибался. Это была наша артиллерия. Захарий Колбаса задержал не успевшую отойти одну батарею артдивизиона Пятьдесят восьмой и повернул ее за своей ротой на Киев.

— Пока наша подойдет, пошлепайте мне малость по городу, а мы под ту вашу музыку и проскочим до Святошина, бо моя разведка доносит, что там у них целый артдивизион — семь пушек и полное довольствие снарядов. Цigarки тоже имеются, и вы малость перекурите, бо мы папирос вам достанем.

Артиллеристы согласились «пошлепать» по Киеву.

Под прикрытием огня этой батареи, которую Колбаса сразу же обучил стрелять по-богунски и по-таращански («из четырех, как из двенадцати»), Колбаса со своей отчаянной ротой ворвался в Святошино и взял все семь орудий и весь деникинский артиллерийский склад. Это были английские гаубицы. И теперь, пододвинув свою батарею к Святошину, Колбаса открыл из одиннадцати орудий такой ураганный огонь сначала по Киеву, а потом по мостам, что небу становилось жарко.

Киев никак не ожидал столь быстрого маневра красных, недавно отогнанных и разбитых под Бояркой и под Бородянкой. Деникинские разъезды доносили, что бои идут на Ирпене, что красные будут задержаны и дальше Ирпеня не пойдут, и вдруг среди ночи открылся ураганный огонь, дававший представление о том, что артиллерия уже на подступах к городу, а следовательно, пехота, должно быть, вступает в город. Ночная паника и суматоха смешали все. И свои же, мечущиеся по городу, принимались деникинцами за ворвавшиеся красные части— на улицах начался бой деникинцев между собой.

Командование и штабы спешили эвакуироваться. Вокзал уже находился под обстрелом тяжелой артиллерии, и не было никакой надежды вымчаться из города с поездами, стоявшими на запасных путях. Штабные и генеральские автомобили, экипажи и обозы бросились одновременно на Цепной мост, и тут-то вот и устроил из них Колбаса крошево.

Его разведка по телефону доносила из Киева о сложившейся обстановке.

— Лупи по Цепному, все генералы двинули туда! — кричал Колбасе охрипший голос полевого телефониста, киевлянина Гоциса, успевшего

провести телефон до центра города.

Колбаса с третьего выстрела пристрелялся по Цепному под одобрения Гоциса, корректировавшего стрельбу со своей киевской вышки.

В КИЕВЕ

А между тем Колбаса, не медля ни минуты и лишь послав тревожное донесение Михуте: «Взял Киев, подсобляйте», — ворвался со своей ротой на Подол.

Уже целую неделю, с тех пор как вышли из Житомира и оторвались от своих продовольственных баз и обозов, не имели бойцы махорки. А тут под носом Киев. Взятый так геройски, Киев должен же угостить бойцов табачком!

Было еще около девяти часов вечера, и некоторые магазины и киоски, что похрабрее, торговали. Появление богунцев на Подоле не вызвало изумления горожан. Уже в течение двух часов непрерывного артиллерийского обстрела весь Киев — от мала до велика — был уверен, что его заняли красные войска, к которым у населения было полное сочувствие.

Богунцы перекурили на бегу и двинулись под прикрытием Владимирской горки к Крещатику. Вдоль Крещатика шла беспорядочная стрельба: это сбитые с толку внезапною налета на город деникинцы все еще вели между собою бой.

Богунцы прилегли на Владимирской горке и стали наслаждаться зрелищем деникинского самоуничтожения, постреливая по проезжающей на Подол кавалерии и забрасывая гранатами пехоту. Пехота забаррикадировалась поперек Крещатика. Видно было по всему, что деникинцы, несмотря на двухчасовой бой между собой, все еще не собирались сдаваться.

«А что, если артиллерия вдруг снимется со Святошина, и что, если ее тайл обойдут и атакуют? Подоспеет ли вовремя Михута?» — думал Колбаса.

С артиллерией остался Касьян Левкович, на которого можно было положиться. Михуте был послан самый завзятый и бойкий разведчик — Сапитон. То, что можно сделать здесь с одной ротой ночью, в этой неразберихе и панике, возможно будет утром, при дневном свете. Пройдет час-другой, и деникинцы поймут наконец свою ошибку, если Колбаса не продолжит свою демонстрацию.

И Колбаса решил атаковать Крещатик с одной ротой. К моменту этой ночной атаки он был экипирован надежнейшим образом: чуть не на каждую пару бойцов приходился ручной пулемет все из тех же

святошинских трофеев.

С криками: «Ура!», «Да здравствует советская власть!», «За Щорса!», «За батька!» — бросилась рота на Крещатик, поливая улицу сплошным пулеметным дождем. Облился кровью Крещатик, получая новое боевое крещение.

Ни одна из десятка баррикад не устояла перед, этим неистовым порывом отчаянной, героической роты. Через Бессарабку, не останавливаясь и не задерживаясь, пробежали богунцы к Лысой горе, имея конечной задачей отбить Лукьяновскую тюрьму.

А артиллерия из Святошина не замолкала.

Колбаса прислушивался к ней опытным ухом и по направлению звука разрывов рассудил, что там уже имеется чье-то разумное руководство: очевидно, Михута подошел к Святошину. Прикинув в уме расчет расстояния, Колбаса уверился еще более в догадке.

«Должен прийти, коли не дурак!» — подумал он.

Михута же не медлил ни минуты, услышав звуки артиллерии в киевском направлении. То, что разрывов не было слышно, между тем как слышны были звуки выстрелов, давало ему возможность сделать правильный вывод: кто-то отсюда долбит Киев.

— А кому же долбить Киев, как не нашим? Значит, долбит Киев Колбаса.

— Обовъязково, что Колбаса берет Киев!

— Слушать мою команду, богунцы! Сниматься, строиться, шагом направо — марш бигом!

И бегом примчался к Святошину по звуку выстрелов Михута. На пути встретил его скакавший во весь дух на тяжелом артиллерийском коне Сапитон.

— Поспешай, поспешай, Михута... наши Киев взяли! Да закрепить нет возможности: город большущий!..

— Давай коня сюда, — взял его коня Михута, — ты и пешком, пацан, подбежишь! Фурс, передаю тебе строгое приказание: не сбавлять ходу... вперед с пулеметом! А я доспею на место, надо закрепить положение.

— Катай! — махнул Фурс и крикнул: — Не сбавляй ходу, богунцы, разуйся!

Он спросил на бегу Сапитона:

— Пистон, а скажи, пожалуйста: таки наши в Киеве?

— Вот тебе вопрос! А где ж нам и быть, богунцам? — ответил Сапитон.

Михута подоспел к артиллерии — и вовремя: Касьян понятия не имел,

куда ему стрелять теперь, потому что связь вдруг прекратилась, должно быть связистов прикололи, телефон Гоциса перестал работать.

Михута забежал на станцию и стал звонить в Киев, чтобы разведать что можно. Ему удалось связаться с деникинской базой и выведать, что бой на Крещатике закончен, красные заняли центр. К вокзалу из города до сих пор ходу нет. Он все время под перекрестным артиллерийским огнем. Запасные составы выведены из строя. Депо разбито снарядами. Главные силы («наши!») задерживают красных на Еврейском базаре, — любезно сообщали деникинцы.

— Значит, бей по Еврейскому базару, — командовал Михута. — Вот туда-то я и двину теперь свое наступление. Должно, что наши прошли вдоль Крещатика к Лукьяновке, не иначе как им туда дорога: политических освободить надо в первый черед.

А в то время Колбаса со своей ротой уже открывал ворота Лукьяновской тюрьмы, в которую деникинцы за две недели своего хозяйничанья в Киеве успели набросать около трех тысяч людей, и вооружал их, создавая свой собственный батальон.

Ему уже давно пора было стать во главе батальона, да не было случая: старые командиры в Богунском полку были на своих местах, а Захарий приехал с Денисом только в конце мая.

ВПЕРЕД, ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Михута ворвался со своим батальоном на Еврейский базар и опрокинул деникинцев снова к Крещатику, откуда бил отступивших Колбаса, уже имеющий полный, вооруженный «Лукияновский батальон» из только что освобожденных политических узников.

Деникинцы рассеялись по городу, спрятались в домах и принялись стрелять из окон. Началась упорная борьба за каждый угол, за каждый дом.

Деникинцы к этому времени поняли свою ночную, ошибку, поняли, что части Красной Армии, взявшие ночью город, немногочисленны, и решили отсиживаться и отбиваться.

Надо сказать, что в Киеве сосредоточивались отборнейшие офицерские части деникинской армии; сопротивление было упорное.

Каждую пядь земли, каждую щель, каждый квартал приходилось брать штыком под пулями.

Роговец прискакал верхом к Святошину со стороны полка, чтобы проверить правильность донесения разведки о взятии Киева одним батальоном.

Костя Левкович, за эти два дня превратившийся в заправского артиллериста, доложил ему, что Киев взят попервоначально одной Девятой ротой против четырех деникинских корпусов и сейчас, мол, батальон Михуты стремится закрепить за собой город.

Роговец, весело расхохотавшись, понесся в Киев в сопровождении конной разведки и, прискакав на площадь Богдана Хмельницкого, застал там богунцев, расположившихся на отдых. Роговец подъехал к пьедесталу памятника и, став чуть ниже Богдана, прокричал:

— Товарищи, вас обнимает Щорс, наш бессмертный товарищ! Ведь это он привел нас в Киев, и это он смотрит на вас сейчас гордыми глазами! Вы исполнили данную вами клятву: «Там, где ступал Щорс, там навсегда будет наша свободная советская украинская земля!» И Киев, столица древнерусской земли, взятая Щорсом, навеки будет нашей столицей. Мы ж, богунцы, сподвижники вот этого всадника, Богдана Хмеля, завещавшего как зеницу ока беречь единство братских народов — русских и украинцев... Вы деретесь, как тигры, и вы достойны зваться щорсовцами, так как это самое гордое звание для украинского бойца! Товарищи, передышка кончена. Враг может окружить нас. Пока подойдет полк, нам надо выйти на Брест-Литовское шоссе, чтобы не дать врагу

воспользоваться имеющимися там артиллерийскими складами...

Только в это время командование отдало полку опаздывавший на два дня приказ: «Взять Киев, занять мост через Днепр и выйти на Бровары».

Полк стал двигаться согласно приказу. Другие части богунской бригады не подоспели вовремя на помощь.

Противник успел обойти полк и сбить части, стоявшие в районе Святошина.

Пришлось отступить из города. С наступлением ночи полк стал, отстреливаясь, отходить. Противник стал бить по отступающим цепям залпами. Произошло некоторое замешательство, и полк разорвался на две части. Одна часть полка прорвалась через цепь противника, занявшего Святошино, а другая отступила влево, на местечко Борщаговку.

Последняя оказалась занятой знаменитым по своим погромам деникинским волчанским отрядом. Пользуясь ночной темнотой, богунцы с криком «ура» кинулись на волчанцев, которые от неожиданности бросились бежать, оставив богунцам четыре орудия, пулеметы и оседланных лошадей.

На рассвете деникинцы пытались снова захватить Борщаговку, но это им не удалось. Богунцы с боем вывезли оттуда все захваченное у волчанцев имущество, орудия, пулеметы и, выйдя на Киевское шоссе, укрепились на реке Ирпень, где застали уже первую часть Богунского полка во главе с командиром Кашеевым.

Когда вышли из этого боя и стали опять на Ирпене, командир Кашеев, принимая новый «Лукьяновский батальон» Колбасы и назначая его батальонным, сказал, разводя руками, хотя сам был герой из героев:

— Удивляюсь я, право, братцы, тому Колбасе. Да, истинное слово, удивляюсь! Видал я всякую смелость и находчивость, и имели мы много лихих побед за это время, что мы воюем, но должен вам признаться: это мог сделать только сам Николай Александрович, сам Щорс это мог сделать, да батько мог сделать. В первую же очередь, как только наберем на Черниговщине новый полк, сделаем Колбасу командиром полка, мало ему быть батальонным. Эх, не могу я говорить много. Такого дела еще не бывало, чтобы одна рота разбила, разогнала и покалечила четыре корпуса армии Деникина. Теперь мы знаем, как можно и как должно его бить, этого нового нашего врага!

...И шумел океан народного гнева, и неслись на конях Иваны, Степаны, Грицьки и Свириды — громить того врага, — в бой за свободу, за родину, за волю, за радость.

...И не померкнет дней тех слава.

notes

Примечания

1

Ныне — Щорс.

Добродий — господин, нечто вроде «ваше благородие».

Цвета украинского националистического флага. (Здесь и далее всюду примечания автора.)

Унеча — железнодорожная станция по бывшей Либаво-Ровенской железной дороге. Одно из пограничных мест во время «гетманщины» и оккупации на Украине, где был организован Щорсом 1-й Богунский полк.

5

Куркуль — кулак.

Гайдамаков.

Явир — луговая трава.

Млын — мельница.

Чобот — сапог.

Жарина — искра.

Холява — голенище.

Дуб — рыбацкий челн.

В.И.Ленин. Сочинения, т.28, стр.105, 106.

Каверзуе — издевается (производное от «каверза»).

Зрадники — изменники.

Жаргон: улепетывать.

Зрада — измена.

Зализница — железная дорога.

Лишь спустя два года (в 1921 году), когда Галака превратился в явного бандита и был разбит, от одного из пленных, его подручных, удалось дознаться, что в эту ночь обоз Браницкого был пропущен Галакою и ранение самого Галаки в ту ночь было симулировано. С этого момента и завязались у Галаки связи с пилсудчиками, результатом чего явилось его бандитское выступление весной 1921 года.

Вартовым — гетманским жандармом.

Кубло — по-украински гнездо, отсюда: скублить — угнездиться, насадить, основать.

Чумарочка — род бекеши, пальто в талию.

Петлюровцев так и звали «жовтяки», в отличие от деникинцев, прозывавшихся «беляками».

Заквитчани — убраны цветами и лентами.

Дыки — дикие, пугливые, стыдливые, застенчивые.

Дружина — жена.

Вырушать — выступать.

УзлISSяM — перелеском.

Поснидаем — позавтракаем.

Зякалысь — испугались.

Гав ловыш — ворон ловишь.

Влитку — летом.

Кош — полк.

«Солома» — импровизированный бронепоезд из укрепленных мешками с песком площадок пульмановских вагонов.

Винтовки — по сокращенному названию времен гражданской войны.

Тютюн — табак.

Из украинской народной думы "Про Марусю Богуславку".

Зупинил — сдержал.

Лжатыметь — будет лжать.

Гнuzдечка — узда, конское оголовье.

С гудзиками — с пуговицами.

Червоним олівцем — красным карандашом.

Звидки — откуда.

Спаскуджену — искаленную, испорченную.

Швидко — скоро.

Прогавили — проворонили (производное от гава — ворона).

Опудало — чучело.

Повидомлення — извещение.

Катюга — кат, палач.

Псяюха — украинское слово, производное от «песье ухо».

Обмиркуваты — обдумать, обсудить.

Тому вынни — тому виной.

Играшки — игрушки.

От слова «морока» (по-украински),

Пляшка — бутылка.

Видразу — сразу.

Покоштуешь — попробуешь, отведаешь.

До видаймось — до свиданья.

Рижни — разные.

Легени — легкие.

Чував — слышал.

Отрута — отрава (по-польски и по-украински).

63

Смесь азотной и соляной кислот.

Ховаешъ — хоронишь.

Колыска — люлька, колыбель.

Лягайте — ложитесь.